

ЗНАМЯ

ЖЕМЕСЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 76099



942

12

ЗНАМЯ

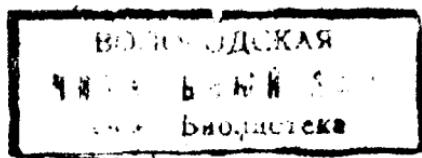
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е РАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

176099

ДЕКАБРЬ

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ



ОГИЗ

МОСКВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1942

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕННАДИЙ ФИШ — Контрудар, повесть	111
МИХАИЛ ГУСТЫЙ — Россия, стихи	111
СЕРГЕЙ МАРКОВ — В те дни..., стихи	112
ЛЕВ КАССИЛЬ — Вдова корабля, рассказ	113
ИЛЬЯ СЕЛЬЗИНСКИЙ — 30 секунд, стихи	12
ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ — Капитан Сиверцев, рассказ	12

ПУБЛИЦИСТИКА

Генерал-лейтенант Е. ШИЛОВСКИЙ — Разгром немцев под Москвой	12
Й. ЗВАВИЧ — Возвращение и гибель Фрица Тодта	13

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р. МИЛЛЕР-БУДНИЦКАЯ — Книги изгнаников	14
В. АЛЕКСАНДРОВ — История и география	15
Н. МАЦУЕВ — Литература о защите отечества	15

Редакция: Вс. Вишневский, А. Л. Исбах, В. Лебедев-Кумач, В. Луговской
Г. Михайлова (отв. секретарь), А. Новиков-Прибой, М. Соколовский,
Л. Тимофеев

Подписано к печати 11/XII 192 г. А61347. 10 печ. л. 14 уч.-авт.
В печ. л. 59 600 зн. Тираж 30 000 экз. Цена 5 руб. Зак. 7

18-я типография треста «Полиграфкнига», Москва, Шубинский пер., 10.

ГЕННАДИЙ ФИШ

КОНТРУДАР

Повесть

Глава первая

САМОЛЕТ ИДЕТ НАД ЛЕСАМИ

Гудение мотора заглушало голос. Разговаривать было трудно, да и по хотелось, и тесный тысячью самых разнообразных мыслей и чувств старший политрук Борис Кралишин, отвернув серебристо-серую занавеску, пристально глядел в тусклое окошко самолета.

Самолет, прижимаемый к земле низкими свинцовыми тучами, шел над самым лесом, казалось, что вот-вот он начнет своими лыжами сбивать ма-кушки островерхих елок.

Насколько доставал глаз — вокруг стояли темные хвойные леса и лишь изредка толпились деревья опустошенных лиственных рощ.

Самолет шел от штаба Северной армии к Энску.

«И Энск, и Энск тоже!» — с тоской думал Кралишин.

Старинный город Энск, важный железнодорожный узел, ключ обороны дальних подступов к Ленинграду, сегодня почюю был взят врагом. Пемецкая танковая бригада и две моторизованных дивизии отборной баварской пехоты с налета ворвались в город, а за ними шла дивизия, срочно переброшенная из Франции.

Части нашей армии могли оказать более сильное сопротивление немцам, они могли держать город до прихода подкреплений, но, увлеченные отдельными паникерами, отдали Энск и открыли врагам тылы соседней Северной армии.

«Вот и еще одно поражение, еще одна неудача. Что же это такое, — думал Кралишин, — когда же это кончится и начнется наше обратное движение!»

Он смотрел на проплывающий внизу заснеженный лес, и ему почему-то вспомнилось, что именно в эти погорьские дни он должен был заканчивать свою работу «Мичуринская агробиология и колхозная экономика», вспомнилось, что несколько лет собирался он вместе с Татьяной совершил полет на аэроплане... Кто знает, где она теперь? Последнее письмо от жены он получил в день начала войны. Таня с увлечением описывала свою работу в районе Малые Шуры, писала, как она с товарищами воюет на свекловичных полях Украины с делгоносиком, и как они побеждают это считавшееся непобедимым

зло. Она писала про дочку, которую па лето отвезла к бабушке в Вишницу, про подругу, колхозницу Фросю, и про ее веселую свадьбу со старым знакомым Борисом, трактористом Гонибесом.

Несколько лет назад Борис Крацивин познакомился в Малых Шурах с Таней. Он был тогда начальником политотдела МТС, а Таня, студентка Тимирязевки, проходила там летнюю практику. Как это было недавно! И каким невозвратимо далеким стали сейчас эти дни!

На письме Татьяны были веселые приписки Гонибеса и его молодой жены. Где, где теперь Таня? Успела ли она выбраться, успела ли взять дочку? Ведь и в Вишнице и в Малых Шурах немцы... Самолет летит над незнакомыми местами, по неописанному маршруту. Рядом с Борисом в самолете люди, которых он, когда садился работать над диссертацией или сговаривался с Таней о полете, совсем не знал и даже не думал, что они существуют на свете... Впрочем, об одном из своих спутников он не однажды слыхал, его имя часто упоминали в рассказах о гражданской войне в Испании.

Высокий, полный, круглицый генерал — командующий, в меховой беке ше заплакного цвета, герой испанской и монгольской кампаний и прошлой войны с белофинами, сейчас дремал, прислонившись к стенке кабины самолета.

Рядом, сосредоточенно глядя вперед и думая свою думу, сидел высокий остролицый член Военного совета — дивизионный комиссар Краснов.

Он думал сейчас о том же, о чем думал Крацивин, — о городе Энске, о том, что надо сделать все, чтобы имя города Энска, ставшего в эти дни символом поражения, превратить в имя победы.

В 1918 году питерский рабочий, назначенный военным комиссаром, пришел к Ленину и спросил:

— Что должен делать военный комиссар?

— Не знаю, — ответил Ленин, — я никогда не был военным комиссаром. Но тот не удовлетворился ответом и повторил свой вопрос.

Тогда Ленин, отложив в сторону работу, встал и сказал:

— Все, все, все, что нужно для того, чтобы победила революция!

Эти слова сегодня повторил член Военного совета Краснов, напутствуя старшего политрука Соколенко, нового комиссара саперного батальона.

Этот отдельный саперный батальон пришлось срочно бросить павстречу немцам, прорвавшимся с юга, в тыл Н-ской армии. Других сил не было — и сейчас саперы, спешно заполнившие грузовики, мчались по осенним дорогам навстречу прорвавшимся немцам, чтобы драться с ними как пехотинцы... Вслед за саперами шел стрелковый полк, и снятая с другого участка фронта танковая бригада.

Краснову было очень досадно, что именно в такую минуту он должен был спать комиссара саперного батальона Байдалакова и назначить на его место нового.

Но старого комиссара нельзя было оставлять. Когда объявили тревогу, Краснов срочно вызвал к себе Байдалакова, чтобы ввести в обстановку, он явился в нетрезвом виде. Дивизионный комиссар не стал слушать объяснений Байдалакова, пакричал на него, спаял с батальона и тут же назначил комиссаром зашедшего к нему в эту минуту Прокофия Соколенко.

Растерянный и убитый, лишившийся дара речи, стоял перед ним Алексей Байдалаков, который еще только вчера вечером смешил всех товарищей в командирской столовой веселыми анекдотами.

— Стыдитесь,— сказал ему Краснов,— вы ордепопосец и должны другим пример показывать, а ведете себя, как свинья. Я отдаю вас под суд. И, обратившись к Соколенко, сказал:

— Вы будете комиссаром батальона.

— Есть!— ответил Соколенко и, смущаясь, стал протирать огромным носовым платком с голубой каемкой свои запотевшие очки.

Он вошел с мороза, и в жарко наполненной комнате очки его сразу запотели. Без них он казался гораздо моложе своих сорока лет и выглядел совсем кротким и штатским человеком.

Соколенко, журналист в недавнем прошлом, на войне был работником подиума и комиссаром части назначался впервые.

«Может быть, напрасно я его назначил,— думал теперь Краснов, взглянувшись через окно самолета в проилюминющие внизу спекчные туманные леса, но никого другого не было, а он отлично работал. Только отчего он тогда так сробыл?.. Но может быть, это мне показалось...»

И Краснов вспомнил, как он объяснял Соколенко сложившуюся обстановку.

— Большие силы врага неожиданным ударом захватили город Энск — железнодорожный узел, один из важнейших ключей к путям на север, пункт, из которого шло снабжение нашей Северной армии. Здесь был наш глубокий тыл. Вина за этот прорыв ложится на соседей. Но сейчас не время говорить о том, кто виноват. Надо немедленно исправить положение. Фронт нашей армии повернулся на север и, таким образом, от Энска до штаба армии — дорога врагу открыта. Только в одном месте надолбы, а в другом — окопчики в щелкрофля. Ваш саперный батальон немедленно выбрасывается вперед. За ним пойдет стрелковый полк и мотомехбригада. А опергруппа штаба нашей армии на рассвете вылетает вперед, павстречу отступающим частям соседа. Мы остановим эти части! Организуем их и отобьем город Энск! Таков приказ наркома!

И тут член Военного совета напомнил Соколенко слова Леппина о том, что должен делать военный комиссар.

— Есть делать все! — повторил тогда Соколенко и пошел к двери.

Байдалаков во время этого разговора стоял около письменного стола, и обычно веселое его лицо выражало тогда такое отчаяние, что даже Краснов, погруженный в думы о дороге, по которой двигались от Энска к штабу нашей армии немцы с танками, о дороге, открытой для врагов, заметил это отчаяние и, вступив на мягкий ковер, остановился за шаг до Байдалакова.

Байдалаков стоял, затаив дыхание. Он старался не дышать, чтобы член Военного совета не почувствовал запах водки.

— Ладно,— сказал ему тогда Краснов,— вы полетите со мной, с опергруппой, и мы посмотрим, как вы там будете себя вести.

Эти слова вернули Байдалакова к жизни.

— Честное слово, товарищ член Военного совета, я не пьющий,— сказал он.— я...

— Разговор окончен... На рассвете встретимся на аэродроме,— раздражаясь, сказал член Военного совета, и тут его вызвали к командующему.

Самым общным для Байдалакова было то, что он действительно был пьющим. И сейчас, сидя в самолете, он думал сразу и о своей обиде и о батальоне, жизнью которого жил больше года, знал в нем чуть ли не каждого бойца, проделал с ним огромный путь, и из которого теперь был вырван вдруг — в самый опасный, в самый напряженный момент.

Под предлогом необходимости собрать кое-какие вещи Байдалаков пришел в землянки саперов, вслед за Соколенко.

Бойцы спаряжались в путь, они были заняты своими делами, укладывали вещевые мешки, прикладывали обмундирование, перематывали поудобнее портняжки, и мало кто из саперов заметил своего бывшего комиссара. Новый уже успел им представиться.

Байдалаков без дела ходил по землянкам, физически почувствовав себя здесь совсем посторонним. И это после всех трудов, положенных на батальон и не раз даже отмеченных приказами! Ощущать себя посторонним человеком в землянках, каждый закоулочек которых был ему знаком, которые делались по им утвержденному плану, было вдвое обидно. Ни на секунду не смыкнув глаз до старта самолета, Байдалаков сейчас дремал, склонив свою светлорусую голову на высокое плечо смуглого Крапивина. Но и во сне не покидало его неуточненное чувство незаслуженной обиды. Плечо Крапивина немело под тяжестью склоненной головы товарища, но он, глядя на заснеженные верхушки проносящихся внизу елок, старался не шевелиться. Незвестно ведь скоро ли сподастся поспать товарищу, и в какой это будет обстановке, — в избе ли, окопе, в землянке, или под открытым небом.

Изредка Крапивин отрывал глаза от покрывающегося тонким ледком окна самолета и вглядывался в лица своих спутников. Здесь был генерал-майор Суслов — преподаватель одной из академий, известный тем, что всегда был всем педоволен и очень любил толково и вразумительно объяснять то, что, впрочем, и без него хорошо знали. Здесь был полковник Свирский, рябоватый, с добродушной улыбкой человек, побывавший в боях в Монголии. Он недавно вывел свою дивизию из окружения, был ранен и сейчас только выныпался из госпиталя. Рядом с ним сидел батальонный комиссар Степанчик, огромный, црекулюющий, но энергичный человек, которого командование бросало всегда на самые опасные и ответственные участки. Он выслушал то, что иным казалось невыполнимым. Его уважали, но почему-то недолюбливали. Справа от Крапивина сидел старший подитрук Волков — работник по комсомолу, развязный, круглолицый и статный парень.

Самолет накренился, мотор на мгновение заглох. В этой виевантной тишине не очнулись дремавшие. Над землей шел частый снег. Плотной сеткой мельтешил перед окошками и мешал разглядеть аэродром.

Снизу взвился ракета.

Самолет делал второй круг над аэродромом.

Летчик не мог в метели разглядеть выложенного на снегу посадочного зигзага. Когда он шел на третий круг, снизу зажглись две дымовые шашки, самолет коснулся земли. Толчок, другой, — он уже шел по аэродрому.

На лыжу вскочили люди, вессом своим тормозя ход машины.

Борис Крапивин первый выскочил из самолета, и сразу же его глаза засияли мокрый снег.

Крапивин помог выбраться Свирскому. Не сгибаясь, прыгнул на землю, поскольку знался Волков. С легкостью, неожиданной в таком грузном человеке, сошел командующий, и темная его кубанка сразу побелела.

Но в это мгновение вдруг раздалась стрельба из пулемета и кто-то кричал:

— Сюда! Сюда!

Крапивин услышал гудение моторов и громкий оглушительный звук взрыва, а затем команду члена Военного совета.

— Прочь от самолета! Прочь от самолета!

— Берегите командующего!

По снежному аэродрому бежали люди. Крапивин очутился рядом с командующим.

— Бегите! Бегите скорее, молодой человек, — сказал командующий, — а у меня одышка, тяжел я.

Совсем близко от них разорвавшая вторая бомба. Их ударило воздушной волной, словно мокрым полотенцем по лицу со всего размаха.

— Вот сволочи, нашли время бомбить! — выругался командующий и, усмехнувшись в подстриженные усы, громко проговорил: — «Эх, люблю военную жизнь», — сказал солдат и горько заплакал». Ну, ничего. Свое дело все равно сделаем.

Через десять минут вся опергруппа, отряхивая с шинелей снег, собралась в холодной избе опустевшей деревни Сарожа, где почти все дома были разбиты немецкой авиацией. В шести километрах отсюда шли к Сароже отступавшие в беспорядке части соседа, за ними двигались преследующие их вплотную немцы, а далеко позади спешили к Сароже на грузовиках сапоры и еще дальше идя стрелковый полк и заводили моторы танкисты мотомехбригады.

Командующий склонил бекенку и, положив на лапшиш карту, давал быстрые и точные приказы. На деревянной лавочке, покрытой пятнами стеарина, два связиста устанавливали прямоугольные ящики полевых телефонов. А на аэродроме все еще раздавались взрывы, от которых ходуном ходили стены старого бревенчатого домика. Это, взметая перемешанную со снегом землю, рвались немецкие бомбы.

Глава вторая

ДОРОГА ОТ ЭНСКА

Окна с выбитыми стеклами были закрыты кусками старой фанеры и поздушками. Хозяева избы, боясь прихода немцев, ушли с детьми в лес. Шипко не хотел оставаться в деревне. В суматохе на печи оставили большой, старинный медный самовар, с вытесненными на нем гербами и медалями международных призов, полученных Тульским заводом. Самовар этот теперь мирно урчал, наполняя избу серым паром. В чисто выбеленной русской печи весело запылало пламя, и в избе постепенно становилось тепло. Но все командиры опергруппы, получив задание, уже ушли. Вслед за ними собрался командующий, который должен был в тот же день на самолете перебраться в место расположения штаба соседней армии, оставившей Энск, чтобы согласно приказу ставки приять командование и над ней. Здесь оставался сформированный командующим штаб опергруппы, которая должна была действовать с севера от Энска, остановить и организовать в беспорядке отступающие части соседа. Командиром пруты назначался генерал-майор Суслов, заместителем его полковник Свирский, батальонный комиссар Степняк был назначен комиссаром штаба, Крапивин — начальником политотдела группы.

Зазуммерил телефон...

— Индия! Индия! Индия! — тихо проговорил в трубку связист и затем громко сказал: — Товарищ генерал-майор, вас просит Испания.

Суслов взял трубку. Рвущийся из нее голос был слышен за несколько шагов. Говорил лейтенант Артюшенко:

— Перед мной несколько танков, а у меня всего десять человек и два противотанковых орудия без снарядов. Сейчас танки проскочат через мост, и я останусь окруженным. Разрешите уйти на северный берег.

— Орудия! Орудия с собой заберите, — закричал в трубку Суслов.

Где-то вблизи раздалась длинная пулеметная очередь. Суслов передал трубку связисту.

— И вы разрешили ему оставить переправу? — спокойным голосом спросил командующий. — Запомните, что с этого часа — ни одного разрешения хотя бы на шаг назад никто от вас не должен слышать. Вперед сколько угодно. Попали? Эиск должен быть отбит! Ясно?!

— Но ведь надо спасать орудия, — пробормотал Суслов, — даже Евгений Савойский...

— Давайте условимся, что вы забудете Евгения Савойского и даже Наполеона, а будете помнить князя Италийского. А еще лучше не утомляйте себя историческими параллелями, товарищ генерал, — раздраженно сказал командующий и направился к двери. Когда он спускался по скользким заснеженным ступеням крытого крыльца, снова зазуммерил телефон. Снова вызывала генерала Испания. Командующий быстро повернулся, вошел в избу и быстро взял трубку из рук связиста.

— Товарищ командир, — задыхаясь говорил кто-то в трубку, — Говорю я, связист Испании Петин Семен... Сейчас зам звонил лейтенант Артюшенко и говорил, что перед нами немецкие танки. Это неправда. Никого нет. Я прошел вперед. Трактор-тягач за полкилометра что-то вытягивает... Вот и все.

— Кто там, кроме тебя, товарищ Петин, остался? — спокойно спросил командующий. — Как никого? Ты один? А где лейтенант Артюшенко? А люди? Ушел. Увел людей. Так, так, так... А орудия? Орудия оставил на месте! Так... Так... Что тебе делать? Сиди до тех пор, пока можно наблюдать. Командование благодарит тебя за честную службу.

Командующий отдал трубку связисту и радостно сказал:

— Есть у нас настоящие люди! Товарищ Краснов, запишите — не забыть бы фамилию: Петин Семен. — И он быстро вышел из избы на деревенскую улицу, по обеим сторонам которой стояли избы, зияющие пустотами выбитых окон.

На высоком шесте перед избой штаба висел подсвешившийся скворечник. И хотя был уже полдень и снегопад прекратился — также внезапно, как начался, — все вокруг казалось сырьим, и серым, и неуютным. Каждый шаг оставлял за собой темный след в снегу.

Бралевин не слышал телефонных разговоров ни с Артюшенко, ни с Петиным. Вместе с другими товарищами он был далеко на дороге.

Навстречу по растоптанной рыхлой дороге, которую с обеих сторон обступили бескрайние леса, шли колхозники, волоча за собой саночки с пехитры деревенским скарбом и привязанными сверху малыми детишками. Они уходили в лес. Тут же рядом, вразброс, без строя, по одиночке и труппами шли

бойцы. Почти у всех были винтовки, некоторые несли ручные пулеметы Дегтярева, и Крапивин видел, как двое бойцов тянули за собой на колесиках станковый пулемет.

Среди бойцов изредка шли командиры. Они выглядели очень утомленными, или понуро и даже не пытались навести хоть какой-нибудь порядок.

Вся эта толпа, теснясь, текла по дороге упирясь и равнодушно.

Крапивин глядел на лебрятые осунувшиеся лица, на этих вооруженных людей, бессмыслицю идущих по дороге, стремящихся поскорее уйти неизвестно куда, своим скоплением создававших для самих же себя опасность значительно большую, чем если бы они в организованном порядке приняли бой, — и на сердце Крапивина вскипало раздражение и даже злость против этих упирящихся бредущих людей.

— Где командир полка? — остановил он старшего сержанта.

— Не знаю, — ответил тот и пошел дальше.

— Там, кажется, за поворотом дороги у костра греется, — отозвался боец.

— Стой! Стой! Куда идешь? — кричал на идущих по дороге Байдалаков, останавливая то одного, то другого. Но как только он переходил к следующему бойцу, тот, кто был остановлен раньше, вдруг вновь вскидывал винтовку на плечо и снова начинал шагать по дороге.

На помощь Байдалакову пришел Волков, и вскоре им удалось сколотить небольшой отряд, разбить его на взводы и поставить попрек дороги, преграждая путь отступавшим.

Командиры взводов назначались тут же: из младших сержантов и наиболее спокойных бойцов.

Стешияк с Крапивиным прошли дальше.

Около трехдюймовки, колесо которой зависло на повороте в обочину, столпились люди, помогающие артиллеристам вытаскивать орудие. И далеко по дороге и по лесу раздавались их уверенные выкрики:

— Эй, дружно! Эй, разом! Эй, вместе!

И когда Крапивин услышал эти обицданные и будничные возгласы, он незаметно для самого себя проникся чувством уверенности, стал спокойнее. И все же ему хотелось вытащить свой пистолет и стрелять по тем, кто, перепрыгивая через кашавы, обочины, убегал в лес. Неизвестно каким образом до идущих в беспорядке людей донесся слух о том, что впереди стоит отряд. Некоторые хотели миновать его, пробираясь по глубокому, рыхлому снегу, через чащу, в обход дороги. Большинство из них были в ботинках и обмотках — валенки еще не успели раздеть, так как ранние морозы наступили впиздзину, — все они знали, что лес болотистый — и вот поди ж ты, обламывая сучья, все же пробирались через частый, цепкий кустарник с дороги в лес.

— Ты не торопись! — положил руку на плечо Крапивина Стешияк. — Помни, — это хорошие люди, поверь мне, я вторую войну воюю. Эти красноармейцы еще как дрались будут! Увидишь!

За поворотом дороги был разложен костер. Протягивая руку над сизым дымом, стоял и что-то оживленно рассказывал бойцам чисто выбритый лейтенант в повенском, пахнущем еще мастерской, овчинной полушубке.

«Где он его раздобыл?» — подумал Стешияк.

В эту минуту неподалеку, справа от дороги, из лесу раздались глухи звуки выстрелов. Слева откликнулась дробная очередь автомата, и кто-то из дороге крикнул:

— Отрезают! Обходят!

Лейтенант, разговаривавший у костра, побледнел и рванулся в сторону.

По дороге бежали люди, некоторые бросали оружие в снег. Справа и слева от дороги снова повторилось несколько выстрелов.

— Всего только два или три немецких автоматчика, — сказал Степняк Краливину, тот кивнул ему и быстрым шагом отошел от костра на дорогу.

— Стой! Стой! Куда ты? — кричал он бегущим ему навстречу бойцам.

По они пробегали, отворачивая от Краливина лица, делая вид, что замечают.

Одного из бегущих, с широко раскрытым ртом и испуганными глазами Краливин схватил за винтовку — и винтовка осталась у него в руках.

Навстречу, держа винтовку наперевес, бежал другой боец. Базалось, заколет всякого, кто попытается его остановить.

Злая досада охватывала Краливина. Он отлично понимал, что по сторонам дороги идут всего несколько неприятельских автоматчиков, цель которых — создать панику. Довольно нескольких спокойных и не напуганных людей, чтобы их уничтожить. Было обидно, что эти автоматчики так легко достали своей цели, а он ничего не может сделать, чтобы остановить бегущих.

Уже близкий к отчаянию, Краливин вдруг увидел спокойное лицо одного из бойцов, который медленно шел среди бегущих. Глаза их встретились, блуждаво подмигнул старшему политруку и, крикнув: — Хлопцы, я ваш Бог! — стал рядом с ним.

По хлопцы также мало сейчас были склонны слушать своего бата, как старшего политрука.

Шарахаясь в сторону от каждого редкого выстрела, они продолжали жать, превращая снег на дороге в желтое месиво.

И вдруг почти над самым своим ухом Краливин услышал громовой голос:

— Ложись! Ложись!

Это кричал Степняк. Краливин увидел, как впереди, и справа, и слева него люди падают, валяются в снегу, на дорогу. Иные падают, не выпуская руки винтовку, другие откладывают подальше оружие. Но не было вокруг одного человека, который не подчинился бы этой внезапной команде. Оно понятно — команда «ложись» дается тогда, когда угрожает опасность, гораздо большая, чем та, от которой можно бежать. И сам Краливин не знал толи оттого, что увидел стоявшего рядом во весь рост Степняка.

Степняк подошел к одному из лежащих в снегу бойцов.

— А шу, вставай! — сказал он ему. — Немцев-то всего парочка, а сотни. Ты, я вижу, парень неплохой, только зря от других паникой заразился. Вставай! Будешь мне помогать отряд восстанавливать.

Лежавший на земле человек более способен прислушаться к спокойному звуку и понять его. И боец, смущенно оглядываясь — ему было неудобно не другими за то, что он поздно вал труса, — встал и поднял свою винтовку.

— Борис, делай то, что и я! — крикнул Краливину Степняк, но тот, догадавшись, поднимал других. Ему помогал Сухарев — боец, который раньше остался и стал рядом.

Минут через пятнадцать около них сгруппировался небольшой отряд. Степняк, отбрав нескольких красноармейцев, стал оканчиваться с ними по сторонам дороги, время от времени стреляя в сторону автоматчиков. И те действительно перестали стрелять и, повидимому, ушли обратно.

Крапивин оглянулся. На камне у дороги, смахнув с него снег, сидел боец, молодой парень, и флегматично лерематывал портняки. Винтовку он зажал между ног. Лицо его дышало таким спокойствием, что Крапивин даже поразился.

— Вы запасник? — спросил он.

— Мы? Мы — запасник, — словоохотливо ответил боец.

— Ваша фамилия?

— Наша фамилия? Наша фамилия — Иванов.

— Так вот, товарищ Иванов, вы шойдете со мной.

И вдруг Крапивин увидел у края дороги бойца, который, держа винтовку наперевес, только что бежал прямо на него. Сейчас он стоял около дерева и, скрутив из обрывка газеты козью ножку, деловито насыпал в нее махорку.

— До каких пор ты думаешь отступать? До Пудожа или до Вологды? — спросил Крапивин бойца.

— Может, до Вологды, а может, и дальше, за Вологду, — ответил тот, — куда придется.

— Ах ты, сукин сын, за Вологду готов! — выругался Степняк, подходя к нему.

— Я не знаю, — ответил боец, — куда придется.

— Идем со мной, — сказал Крапивин. Вытащив из кармана своей шинели пачку папирос, он распечатал ее и стал угощать окруживших его бойцов. Сам Крапивин не курил — и поэтому карманы его всегда были набиты пайковыми папиросами, и он охотно всех угощал.

Дымки от папирос сменились с паром дыхания.

— Опасаюсь, — сказал боец, которого Крапивин мысленно называл «Вологда», — опасаюсь, как бы наша кухня немцу не досталась.

Вместе с отобранными им красноармейцами Крапивин быстро пошел вперед по дороге.

В это время к костру, около которого опять стоял щеголеватый лейтенант, подошел командующий, за ним, поблескивая плоскими штыками полуавтоматов, шло пять бойцов пограничников. Лейтенант увлеченно продолжал рассказывать собравшимся у костра о том, как здорово напирали немецкие танки, как они с двумя противотанковыми пушками были по немцам чуть ли не в упор. При этом он в тakt речи размахивал рукой. Несколько молодых бойцов, раскрыв рты, с вниманием и уважением слушали его рассказ.

— П лишь тогда, когда уже не оставалось снарядов, я перешел на северный берег. По этому мосту я прошел последним.

— Вы лейтенант Артюшенко? — раздался резкий голос из-за спины рассказчика.

Слышав рассказ лейтенанта, люди не заметили, как подошел командующий. Никто из стоявших у костра не знал его в лицо, на бекенце не видно было знаков различия, но по тому, что на нем была не принятая здесь каракульчевая кубанка, и по тому, что его сопровождали пограничники, и по властному тону, которым он задал вопрос, — все поняли, что перед ними находится человек, облеченный большой властью.

Лейтенант вытянулся, взял под козырек и томом победного рапорта ответил:

— Так точно, я лейтенант Артюшенко!

— Это вы бросили, шаруная приказ, два орудия на том берегу, оставил их немцам?

— Да, по... не было никакой возможности,— начал оправдываться Артюшенко.

Он уже не походил больше на того развязного человека, героя, рассказ которого с таким вниманием слушали бойцы. Он бормотал:

— Не было никакой возможности. Наседали фашистские танки.

— Врешь! Никаких танков и в помине не было! Трус! Удирает с поля боя! Бросает орудия! Вводит в заблуждение командование! Подлец! — выругал командующий, и в голосе его было столько уничтожающего преордения, что лейтенант сам прочел себе в нем приговор, не подлежащий кассации.

— Возьмите его,— приказал командующий пограничникам.— Снимите его зимнее обмундирование.

Повернувшись к пограничникам и снова на мгновение обретя спокойствие, Артюшенко, желая самому себе показаться стоящим человеком, налево прознечес:

— Эх, был лейтенант и нет лейтенанта!

— Не было лейтенанта! — спокойно сказал команда.

Крапивин вместе со своими людьми, каждому из которых он сам для себя дал прозвище — бог, Вологда, просто Иванов, — с пулеметчиком Белоцерковским, тащившим на себе ручной пулемет и диски к нему, — шел вперед по дороге.

Все меньше и меньше людей попадалось навстречу. Шли только одиночки. Крапивин спешил. По заданию члена Военного совета Краснова он должен был дойти до того места, где уже совсем заканчивалось расположение наших частей и начинались форпости врага, и немедленно сообщить ему об этом. Здесь у изгиба дороги он заметил группу бойцов, человек двадцать, сидевших на поваленном дереве. Он не остановился, но все же он увидел то, что надолго ему запомнилось.

К бойцам, расположившимся на поваленном дереве, подбежал молодой лейтенант, на синеве которого лица от напряжения выступили крупные, прозрачные капли пота.

— Там, в лесу, несколько немцев! Ребята, за мной! — крикнул он.

Но никто даже не пошевельнулся.

— Кто здесь верный сын революции, встань! — крикнул лейтенант.

Один из бойцов встал, поглядел на лейтенанта, затем на товарищей и неопределенно сказал:

— Пойдем, что ли?

За ним встал другой боец, остальные сидели не шевелись, как бы не слыша приказа. Тогда, отстегнув кобуру и обнажая пистолет, молодой лейтенант громко сказал:

— А в предателей революции и родины я буду стрелять!

Медленно отряхивая с пальцев снег, встал еще один боец, за ним второй, третий... Послышалось щелканье затворов.

— За мной! — сказал лейтенант, легко перепрыгнул через канаву и, промахиваясь почти по колено в снег, устремился в лес.

Когда через два дня Крапивин слова встретился с лейтенантом Глебовым, тот приказом командующего уже был произведен в старшие лейтенанты.

ГЕРЕПРАВА

Священst Семен Петин раздвинул запорошенные снегом кусты и выглянул вперед.

По дороге морным шагом проходили немецкие солдаты в шинелях мышьего цвета. Они с опаской смотрели на придорожные кусты и деревья и держали оружие наготове, но все же шли не расредоточившись, как полагается, а бучей.

Петин пожалел, что у него нет под рукой пистолета-автомата — всех бы снял.

Он тяжело вздохнул, оборвал провод и, взяв ящик телефонного аппарата подмышку, быстро пошел к реке по едва заметной стежке. Он непременно должен был опередить немцев и первым перейти по досчатому мосту.

Проходя мимо замаскированного ельником и пестрой осенней листвой противотанкового орудия, одиноко стоявшего у самой тропки, он погладил ладонью холодный ствол его, стер серебристый игольчатый шлей. Рука заныла от холода. Он снова тяжело вздохнул, поправил за плечом винтовку и еще быстрее пошел к реке. До войны Петин был счетоводом, но все свободное время отдавал занятиям в кружке живописи при заводском доме культуры. Но если бы он и не занимался живописью, то все равно не мог бы не захлоповаться суревым пейзажем, который открывался перед его глазами.

Снег в этом году был раний, с каждой минутой становилось холоднее и холоднее. Никогда к началу ноября не было здесь такого мороза и не все еще березки и осины успели сбросить с себя пестрое осеннее оперение. На ветвях, сохранивших кое-где красную и золотую листву, налипал уже гущистый снег. Скалистый высокий берег был покрыт снегом, но кое-где под прикрытием отвесных скал, на которых лежались одиночные сосенки, виднелись желтовато-зеленые прогалины с яркокрасными точками мороженой брусыники. И по одной такой прогалине важно и медлительно прохаживались, поклевывая ягоды, три огромных глухаря. Вокруг стояли тишина и безлюдье, и из чистом уже небе, отражаясь розовыми отблесками на бронзовой коре высоких деревьев, пыпал закат. А внизу, под скалами, текла по своему руслу, словно по просеке, прорубленной в густом лесу, река, плавно пронося потемневшие холодные воды к Далоге.

Лужицы на дороге и вода в канавках обочин уже застыли, подернулись льдом, хрустким молодым ледком, а над рекою подымался белесый туман.

Стежка вывела Петина на большую пустынную дорогу, и здесь по бесточи следов, по лошадиному лавозу, по обломанным ветвям — ему стало ясно, что, хотя на дороге никого не было видно, ни о каком безлюдье говорить не приходилось. Здесь на дороге даже явственно слышен был какой-то неразличимый гул, в котором отзвуки выстрелов смешивались с гудением моторов, гнанiem лошадей и человеческими голосами.

Спуск к переправе был крутой. И около него — ДЗОТы справа и слева. Впрочем, если бы Петин раньше не знал, что здесь есть ДЗОТы, он не заметил бы их, так хорошо они были замаскированы.

«Пустыми оставили! А сколько нал этим саперы пали корпели», — подумал он и почти бегом спустился к самой переправе. Противоположный берег значительную ниже. Сцепленные друг с другом бревна составляли как бы

каркас переправы, на который сверху были набиты сплошным настилом доски, по краям закрепленные каемкой из попечных бревен. Ниже них, уступов было — где было, и поэтому настил достигал уровня воды и пружинил ногами; вода на нем проступала и замерзала на досках блестящим скользящим ледком.

Сейчас гладкие, обледеневшие доски чернели под слоем свежего снега. Петя стояло больших усилий перейти по этой переправе со своим грузом и не скользнуться. Но он, балансируя, все же прошел на другой берег и стал подматываться по дороге. Надо было пройти по совершенному открытому месту до первых камней и метров пятнадцать до леса. Пройдя это пространство, Петя влез в лесок и тут услышал скрип и ровный плеск воды, от колебания настила. Повернулся и увидел идущего по нему немецкого автоматчика. В первое же мгновение Петя растерялся, руки у него были заняты телефонным аппаратом, он не знал, что делать с ним. Затем пришла ясность. Он поставил ящик, камень, снял из-за плеча винтовку, стал за ствол и, приложившись, стоя, в строил. Приклад ударил в плечо. Петя зажмурился, потом открыл глаза, увидел крупицы воды. Немец, раскинув руки, лежал на досчатом настиле лежа, и пальцы его левой руки, сжимаясь, загребали снег. По воде расходились широкие круги от оброненного пистолета пулемета.

«Жаль пистолета, — подумал Петя, — пригодился бы».

Он снова взвалил на себя ящик и ускорил шаг. Каждую минуту через переправу могли проскочить немецкие мотоциклисты. Но не успел он отойти двадцати шагов, как из-за дерева выступил человек. Сердце у Пети екнуло.

Он остановился.

— Товарищ, — обратился к нему боец, — ты идешь в тыл, скажи ты чтобы меня смеяли, а то уж вторые сутки здесь дежурю. Убило, наверное того, кто меня поставил, вот и стою тут не жарвши.

— Да уходи ты! Впереди никого нет. Немцы, — сказал ему Петя, — пытаешься, немцы!

— Говорят тебе — не могу от вешней уйти, — разозлился боец. И таким же раздраженным тоном спросил:

— Сухарь есть?

Петя повернулся к нему спиной, чтобы не снимать с плеча ящика.

— Один есть. Танки из каюмана! Только чур лопотам!

— Ладно, — ответил боец и запустил свою покрасневшую от холода руку в карманы его шинели.

— Я ведь сапер, — сказал он неизвестно кому, разламывая белье сухарь надвое. Петя хотел спросить, что охраняет здесь сапер, но в эту минуту они увидели быстро шагавшего к ним командира в черной лепешке шинели, с которым шло несколько бойцов. Высокий, худощавый и смуглый он шел быстро, широко расставляя ноги. Сапер, увидя прямоугольник на лубых петлицах шинели и красную звезду на рукаве, сказал:

— Товарищ старший политрук, позовите к вам обратиться.

И он повторил то, о чем только что говорил Петя.

— А вы откуда? — обратился Кралишин к Петя.

Тот спокойно и подробно рассказал все, что видел.

— Немцы каждую секунду могут пройти через эту переправу, — закончил он свое сообщение.

— Что вы охраняете, товарищ сапер?

— Село, бочку горючего, каскотую проволоку.

Метрах в двадцати от дороги сиделся сто груз, прикрытый брезентом, в окладах которого лежал снег.

— Товарищи, — приказал бойцам Кралигин, — тащите сено на мост, залейте горючим и подожгите.

Те сразу пристали за дело. поволокли тюки прессованного сена вниз к переправе, покатили туда ребристый металлический бочонок керосина. И вскоре сквозь строй стволов сосен стало видно, как в наступивших сумерках вспыхнули на реке языки пламени.

А сам Кралигин в это время смахнул снег с придорожного камня, сел на него и принялся писать записку командующему опергруппой, члену Военного совета Краснову о том, что немцы движутся к оставленной наими частями переправе и что он с группой бойцов займет оборону, уничтожит переправу и не допустит фашистов прорваться на этот берег.

Кралигин прекрасно понимал, что защита этой маленькой переправы имела теперь огромное значение.

Если немцы захватят переправу и прошкочат на этот берег, они сумеют пересечь тараки и ринутся по открытой дороге на штаб и на тылы Северной армии. При одной этой мысли у Кралигина холедо сердце.

— Помедленно доставьте эту бумагу члену Военного совета дивизионному комиссару Краснову от старшего политрука Кралигина, — сказал он Петину.

Петин расстегнул пиджак, отряпал налипший Кралигином листок в карман гимнастерки, козырнул, поправил за плечом винтовку и, взяв подмышку телефонный ящик, пошел по дороге.

Кралигин встал с камня и попал вниз к переправе. Навстречу емушел сапер. Сухарь похрустывал у него на зубах.

— Еще тюк сена возьму, — сказал он Кралигину, — з то прости беда, мост не горит.

Кралигин ускорил шаг. Издалека он увидел, как ярко в сумерках быстро наступающего вечера горит сено, пылающее керосином. Из круглых клубов пламени взметались вверх и разбрызгивались в стороны острые длинные языки пламени. Но как только пламя доходило до досок настила, оно становилось все мельче и мельче, и дым стелился все ниже к реке. Настил не загорался. Ходячая вода, пакатывавшая на доски, не давала им загораться. Это понял Кралигин, и в то же мгновение он увидел показавшихся на дороге немецких солдат.

— Назад! — закричал он бойцам, стоявшим открыто у самого берега и с живейшим интересом наблюдавшим за тем, как горело на мосту сено. Немцы тоже заметили красноармейцев и остановились. Один из них выстрелил в группу, но не попал и быстро лег у дороги.

Кралигин вздрогнул, совсем рядом с ним раздались оглушительные звуки пулеметной очереди.

Притаившись за камнем у ручного пулемета, полуоткрыл тот и блестя серебряным зубом, лежал небритый Белоцерковский. Один из немцев рухнул на покрытый снег дороги, остальные разбежались по сторонам. Когда они открыли ответную стрельбу, все люди Кралигина были уже паверху, за камнями.

«Так неужели же мы сдадим эту переправу? — людомал Кралигин. — В этом никакого нельзя будет вынить, кроме нас, кроме меня, — добавил он. — Особенное после моей записки. Да и к чорту записку! Хватит! В самом деле, не до Вологды же отступать!»

Немцы вели беспорядочную стрельбу.

Крапивин оглянулся. Сзади, из-за леса, к нему приближался сапер, вожда два ящика с взрывчаткой, похожей на бруски плавленного сыра.

Через плечо сапера был перекинут бинкфордов шнур.

— Товарищ старший политрук, — сказал он, радостно улыбаясь, — может быть, этот ящик подойдет? Чудесная взрывчатка, там под снегом была.

— Идойдет!

Сено дотлевало на пластиле переправы. Темные обгорелые пучки сухой травы носились по воздуху. И все так же, расставив руки, лежал на мосту немецкий автоматчик.

Крапивин отошел назад на несколько шагов и подозвал к себе красных армейцев.

— Товарищи, — сказал он и оглянулся.

Перед ним на снегу стояло два ящика с желтоватым толом. Сапер сидел на них, распрымивши бинкфордов шнур.

— Товарищ, — повторил Крапивин и кончиком языка облизнул запястья пересохшие губы.

— Как ваше самочувствие? — вдруг спросил он.

— Как у всего народа, — серьезно отозвался Сухарев. — Я лично чувствую себя, как в пекарне перед тем, как в печь хлебы ставить, — добавил он балагура по свойственной ему привычке.

— Имейте в виду, что нам на долю пало выполнить ответственное задание. Очень опасное задание, — сказал Крапивин. — Если враг проскочит через эту переправу, то до штаба нашей армии ему дорога открыта. Если он перейдет реку, то, чтобы отолнуть его обратно, придется положить тысячу жизней. Эти жизни сейчас в наших руках. Мы здесь с вами стоим, и пет спины, за которую нам можно спрятаться. Ежели не Иванов, не Сухарев, не Фадейкин, не Белоцерковский, то кто же? Ну, вот.

— Товарищ комиссар, вы меня не агитируйте, — сказал Белоцерковский. — Кроме того, что я дерусь за свою родину, у меня есть особые счеты с Гитлером. Мне с ним за сына, за жену посчитаться нужно!

Все это он выпалил одним духом и снова занялся диском.

— Так, все ясно! — и Крапивин ложкался на ящики с взрывчаткой. — Этого надо будет доставить на мост и взорвать его. Одни поползают с взрывчаткой остальные будут прикрывать его огнем.

Белоцерковский поймал его взгляд на себе.

— Для этого и существует ручной пулемет! Для прикрытия продвижения стрелков вперед. Мы-то устав знаем.

И он стал прикладывать пулемет в расщелины между двумя камнями.

— Дай-кась я пойду первый, — сказал Иванов.

Он, примериваясь, поднял ящики с взрывчаткой и удовлетворенно крякнул.

— Ничего, подходящее!

— Скакиши пиндель, удобнее будет, — сказал Крапивин.

Иванов сплюнул пиндель и положил из снега.

— В случае чего, там в кармане цепька махорки есть. Возьмите!

— Кем до войны работал? — спросил Крапивин.

— Лесоруб, наследственный лесоруб я буду.

Сказав это, Иванов ловко подобрал ящики, пронес их, полусогнувшись вперед, затем лег в снег и пополз вниз по склону, толкая их перед собой.

Товариши, затаив дыхание, следили за лицом, и хотя в наступающих сумерках было уже трудно это разглядеть, они видели каждое, даже самое мелкое движение ложного шаря.

С противоположного берега раздастся выстрел, другой.

Иванов продолжал ползти.

Белоцерковский дал очередь по тем кустам, из-за которых стреляли немцы. Другие товарищи поддержали его.

Иванов продолжал медленно ползти, всем телом прижимаясь к земле, толкал перед собой драгоценные ящики. И хотя было холодно, от волнения на лбу у Крапивина выступили крупные капли пота. С выраженного берега били чаще и чаще. Крапивин оглянулся, справа от него лежал сапер. Он разгребал руками снег, освобождая от него куст бруски, собирая в ладонь крупные багряные ягоды и затем лодоносил полную бруски ладонь ко рту. Слева от Крапивина Вологда, скинув пинель, снимал теперь уже свою гимнастерку.

«Для чего он это делает?» — подумал Крапивин и снова взглянул вперед.

Иванов дополз почти до камешка, стоявшего как раз посередине между ручейком, от которого он начал движение, и началом переправы.

Выстрелы с немецкой стороны зачастили, и вдруг Иванов дернулся и замер.

«Ранен или затянулся?» — с тоской подумал Крапивин.

— Кончился, — произнес рядом с ним Вологда и тихо повторил: — Кончился.

И вдруг все сундуки, как Иванов пошевелил руками, выбросил их вперед и оттолкнул еще на полметра взрывчатку. Потом он снова дернулся и затем остался лежать уже без движения, с протянутыми вперед руками.

Крапивин оглянулся — Вологда натягивал сорочку поверх гимнастерки. Молча он взглянул в глаза Крапивину.

— Прощай, товарищ командир, — сказал Фадейкин и перекрестился.

Он выполз на след Иванова, лег в снег и, быстро работая ложнями и коленями, пополз вправду по склону.

Огонь с немецкой стороны не прекращался ни на минуту. Когда немцы увидели лазущего Фадейкина, огонь стал еще чаще.

Наступавшая темнота прикрывала Фадейкина, помогая ему пробираться вперед. Он дошел до рокового камня, около которого лежал Иванов. Ирополз мимо, взял обеими руками ящики с взрывчаткой и толкнул их вперед. В это мгновение резкий свет, словно вспышка магния, заставил захмуриться Крапивина. Но когда он открыл глаза, прорези на которой рекой, над переправой стоял этот осенний, ровный и ясный, белый, слегка зеленоватый свет. Деревья резко выступали из мрака, стало светло, как днем, как при вспышке молнии. Это немцы姑пустили осветительную ракету.

Сорочка Фадейкина отлично маскировала его, если бы он лежал без движения, но так как он продолжал ползти вперед и двигать ящики взрывчатки, его не так уж трудно было при свете ракеты разглядеть.

Дробью заработал немецкий пулемет, и хлесткие звуки выстрелов, отражаемые прибрежными камнями, далеко разносился вокруг.

Белоцерковскому удалось поймать место вспышек, он ответил длинной очередью. Немецкий пулемет замолк. Но Фадейкин уже не шевелился. Рука его медленно лежала на ящике. Ему удалось прорвать взрывчатку от тела бойца Иванова естого на два метра.

Погасла немецкая ракета, и Крапивину на мгновение показалось, что он ослеп — такая яркую подсветила, глазах непроядная темнота.

— Товарищ Сухарев,— сказал он и почувствовал не то по какому-то неуловимому звуку, не то по так же неуловимо мелькнувшей между стволами тени, что и пекарь отправился в путь.

Но снова зажглась немецкая осветительная ракета. И снова с ожесточением поднялась прицельная стрельба с немецкого берега.

Краливин видел, как Сухарев подполз к телу Иванова. На нем сверху было надето не только сорочка, но он успел совсем перебраться и натянуть поверх штанов кальсоны.

Далеко на той стороне реки послышалось стрекотание мотоциклистов-торов.

«Чего он задерживается?»— с досадой подумал Краливин, видя, что Сухарев замедлил свое движение около Иванова.— Ведь мотоциклисты с лету могут проскочить мост.

Сухарев между тем приподнялся на локте около Иванова, приблизил свое лицо к лицу убитого и поцеловал его в губы, затем припал к земле и, извиваясь, неумело пополз вперед, по следу, проложенному Фадейкиным. Около тела Фадейкина он опять остановился, чтобы немного отдохнуть, затем припал к нему еще теплым губам и поцеловал их, не обращая внимания на пули, которые совсем рядом вздымали кверху струйки не успевшего слежаться снега.

— Да не медли! Вперед! Не медли,— шептал Краливин.

Он и не думал, что пронзит вслух эти слова.

Сухарев взял из-под руки Фадейкина ящики со взрывчаткой и пополз вперед, волоча их за собой. Стрельба же прекращалась. Сухарев прополз еще два шага и замер без движения.

Краливин даже не уловил того мгновения, когда пуля попала в Сухарева. Высунувшись из-за камня, он громко крикнул:

— Товарищ Сухарев, Сухарев!

И словно гальванический ток прошел по телу Сухарева, он приподнялся на локте и громко крикнул в ответ:

— Хлопцы! Ваш бог умирает!— и снова посыпал на холодном снегу.

Теперь было все время светло, немцы, не давая додорвать одной ракете, захлопали другую.

— Товарищ старший политрук,— сказал тихо сапер, снимая шинель,— твои внутреннем кармане мое заявление, мое письмо к матери и адресс. А если случится вам встретить ребят с «Путиловца», так вы им скажите, что я

Он снял шинель, из кармана выпала книжка. Он нагнулся, подобрал бережно положил ее обратно. Всем своим существом Краливин понимал, что саперу неохота выходить вперед под огонь, и еще он понимал, что можно положиться на этого парня, как на самого себя. И действительно, сапер неожиданно вперед не сгибаясь, не наклоняясь. Он сделал несколько больших прыжков, обманув этим пристрелявшихся немцев, и рухнул на землю только в золотистым камнем, около Фадейкина. Он быстро пополз вперед. Достиг Сухарева, схватил ящики с взрывчаткой, с силой рванул их вперед. Прополз он еще два шага, приподнялся на локтях, и затем голова его ударила о бревно настила. Он достиг начала моста. Взрывчатка лежала рядом, на аршин не достигая настила.

— Так,— сказал самому себе Краливин и огляделся. Поблизости, за камнем, у пулемета лежал Белоцерковский.

— Прикрывайте меня огнем, а в случае чего подожгите штурм,— приказал Краливин и стал стягивать с себя темную лётную шинель.

С того момента, как он сел в самолет, в нем сочеталось как бы два человека. Один Кралишин, старший по званию, говорил и действовал. Второй Кралишин, штатский, словно наблюдал за тем, что делает первый. Он оценивал его действия втайне, боясь, как бы первый не проявил трусости. Но с той минуты, как он отдал приказ сжечь переправу, исчезли и первый и второй — и был только один человек, поглощенный одной мыслью, одной страстью: уничтожить переправу, задержать немца.

Почему-то в памяти его встало, как он пожирал зря на семилетнюю дочку Надюшку за то, что она переложила на столе его бумаги, и только после спохватился, что сам переложил эти бумаги. И еще припомнились ему веселые карие глаза Тани, темные ее туто заплещенные косы.

Кралишин быстро снял шинель и посмотрел из-за камня вперед, соразмеря лежащее перед ним пространство и то усилие, которое он должен употребить, чтобы преодолеть его.

— Товарищ комиссар, — вдруг сказал Белоцерковский, отрываясь от своего пулемета. — Знаете что? Командир дороже для армии, чем сапожник, — а это моя профессия, так что разрешите мне толкнуть вперед ящики. Осталась пара пустяков, а вы здесь отсюда будете прикрывать. Ведь вы знаете пулемет?

Кралишин на мгновение задумался.

— Идите, — сказал он взволнованно и лег за пулемет.

И Белоцерковский пошел. Он полз быстро, но неумело. Около камня пуля пробила ему ногу. Кралишин слышал, как он вскрикнул, и сердце его сжалось.

На другом берегу показалось несколько немцев. Они, пригибаясь, перебегали с одного места на другое. Кралишин прицелился. Он очень волновался, но старался уверить себя, что очень спокоен, — и длинной очередью он скосил немцев. И снова взгляд его приковался к Белоцерковскому.

Раненый Белоцерковский продолжал ползти вперед, он уже миновал Сухарева и был рядом с сапером. Он взял ящики и тут новая пуля пробила ему правую руку. Кралишин снова сквозь гул непрерывной стрельбы услышал, как тонким голосом вскрикнул Белоцерковский. И потом он увидел, как тот левой рукой стал толкать ящики уже на мосту, по дощатому скользкому настилу, к распластерному полерек переправы немецкому автоматчику. За две секунды он продвинулся на два метра и успокоился. Он лежал, тихо и спокойно и просто положив ружьё на голову, словно присел на минутку отдохнуть.

Диск пулемета был пуст.

Кралишин услышал приближающееся, уже совсем близкое стрекотание немецких мотоциклистов и, дрожащими руками рассыпая на снег спички из коробки, стал поджигать шнур. От третьей спички шнур загорелся, и голубоватый огонек побежал по нему вниз.

Кралишин волоча за собой пулемет Белоцерковского, отполз подальше назад, прилег за камень и стал считать.

Он знал, что шнур горит сантиметра два в секунду, однако, прошло уже необходимое время, а онпрежнему слышал только стрельба, и взрыва нет.

«Неужели перебили шнур, или огонь потух?» — с тоской подумал Кралишин, и холодок пробежал у него по спине. И он снова начал считать. Прошли еще невыносимые десять секунд.

«Неужели все пятеро погибли ли за что?» — думал Крапивин. Тонната пачипала подкатывать к торлу. Еще десять секунд. И еще десять.

Крапивин встал во весь рост, он хотел посмотреть, что там делается, на мосту, и тут произошло то, чего он ждал всеми силами души. С грохотом взлетели вверх разбрасываемые взрывом доски настила. Со всех сторон слышны были всхлески: взметнувшиеся вверх обломки дерева падали в воду. Сразу тронула вспышка выстрелов с немецкого берега и наступила темнота: погасла осветительная ракета. Но в последнюю секунду Крапивин отчетливо увидел раздвоенный ствол цветущей огромной березы на том берегу, и около нее, на краю дороги, там, где она начинает свой спуск к реке, трупну немецких мотоциклистов.

— Так, — сказал он и, протягивая вперед руки, чтобы во внезапно наступившей темноте не выколоть глаза сукном или не стукнуться лбом о ствол, пошел туда, где лежали шинели его товарищей. Наклонившись над ними, он нашел шинель сапера, вытащил из нее связку бумаг, положил их в свою полевую сумку. Из кармана снова вынырнула книжка.

Опять зажглась ракета на другом берегу. Немцы проверяли, действительно ли взорван мост. На гребне стояло уже два немецких танка; слышался глухой рокот моторов идущих за ними машин.

Крапивин нашумел, поднял книжку сапера. Это были стихи. Он разкрыл их и прочитал:

На холмах Грузии лежит ночная мгла.
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко, печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою...

Там любила это стихотворение и хорошо читала его. И все же сейчас, читая эти строки, и всем своим сердцем помнил ее, он представил себе ее, а простое лицо голубоглазого Иванова, вспомнил, как он спокойно перекатывал портняжки, и как Фадейкин говорил: «Прощай, товарищ командир», лежащий, и что из-под белой его сорочки торчал край защитной гимнастерки.

Крапивин, повторяя строки стихотворения, закрыл книжку, положил ее в карман шинели и вышел на дорогу.

Навстречу емушли бойцы и юные девушки — военфельдшер. Группу вел лейтенант Глебов, а рядом с нимшел Волков.

— Зайдите обороту у взорванной переправы, — сказал лейтенанту Крапивину.

— Осмотрите берег, — обратился он к девушке военфельдшеру, — там пятеро наших лежат, может быть, среди убитых есть и раненые.

— Иди, Маруся, — сказал девушке Глебов, — возьми с собой двух бойцов.

И Крапивин зашагал по дороге. Он не думал в эту минуту, что то, что произошло у переправы, было началом перелома на всем фронте. Но он был счастлив, что отстоял переправу.

Крапивин с трудом передвигал ноги, он чувствовал огромную усталость и вместе с тем гордость за то, что совершили его бойцы, ставшие ему дорогими и близкими людьми, — он был восхищен ими. И еще его обуревала злость на то, что другие не таковы, что возможно было это бегство от Эниса, это отступление.

Во ведь «Вологда» умер, как надо. Но ведь сапожник... И перед глазами его снова вставало бледноглое лицо немолодого еврея. Но ведь лейтенант Глебов. Но ведь Иванов... И снова гордость заливало его сердце.

Враг был остановлен.

В этот же день под хутором Вехручей шел в бой саперный батальон. Но об этом бое Крамбивин узнал только на другой день.

Глава четвертая

БОЙ У ХУТОРА ВЕХРУЧЕЙ

Прокофий Соколенко так был занят мыслями о саперном батальоне, комиссаром которого его только что назначили, так напряженно готовил себя к встрече с командиром батальона, капитаном Конкиным, что, лишь подходя к землянкам саперов, вспомнил, что именно здесь работала Анна.

Анна Петровна Коростелева недавно окончила медицинский институт. В институт Анна поступила семнадцати лет. На первом курсе она большую часть времени посвящала не академическим занятиям, а вечеринкам. Весной ее увлекали прогулки на лодках по Малой Невке, по Большой Невке, с выходом далеко на восторг, когда издалека виден блестающий под вечерним солнцем купол Исаакиевского собора, а на западе темнеют прямоугольники зреющих в голубизну моря фортов, легкая зыбь покачивает лодку, звенят панористая песня студентов, и к ночи поезд на северном берегу кажется ползущей священной гусеницей.

Обо всем этом было приятно вспоминать и вместе с тем почему-то немножко грустно.

Зимою были прогулки на лыжах в Юкки, в Шувалово, в Токсово. Анне очень нравил лыжный костюм, а румянец на щеках, усиленный морозом, делал еще милее ее смуглую продолговатое лицо и сияющие от возбуждения темные глаза с черными длинными ресницами.

Неожиданно для всех она вышла замуж за доцента, который вел у них хирургический практикум.

Николай Коростелев был талантливым хирургом, и брат Анны не раз дома восхищался его смелыми и почти всегда удачными операциями. Вот почему самолюбие Анны было очень польщено, когда она почувствовала, что молодой доцент, которого она считала очень и очень взрослым — относится к ней совсем по-иному, чем ко всем ее подругам. Они встречались после лекций в институте на бульваре — около памятника «Стерегущему», проходили до самого конца по улице Красных Зорь, подолгу стояли на Троицком мосту, любуясь широким течением царственной Невы, башнями Петровпавловской крепости, между огромных камней которой росла молодая, ярко-зеленая трава.

Однажды вечером, когда она уже собиралась идти домой, начался сильный дождь. Николай жил очень близко, и они быстро добежали до его квартиры, шлепая по лужам, на которых подскакивали, пузырились и прожали быстрыми дробными кружками крупные капли теплого дождя. Окна комнаты Николая выходили на Неву, по которой тогда медленно шел буксир, волоча за собой длинный караван груженых барж. Дождь прибивал книзу валивший из трубы дым. Видно было, как тучи вдали обрывалася и пылает закат. Но это было очень далеко. А здесь шел дождь.

Анна осталась ночевать у Николая. Утром она проснулась и с недоумением посмотрела в широкое, незнакомое венецианское окно, на голубую теперь утреннюю Неву. В комнату вошел Николай и, улыбаясь, сказал ей:

— Я только что звонил твоим родным, чтобы они не беспокоились, что ты у меня.

— Ой, зачем, но падо! — умоляющим голосом проговорила Анна.

Она знала, что к Николаю дома относятся хорошо, по ее-то считают еще совсем девчонкой. И один раз, когда начался разговор о возможном замужестве одной из ее ровесниц-подруг, отец смеялся так громко, что мать пришла из другой комнаты, чтобы узнать причину такого смеха.

— Подумай только, — отвечал он и снова засмеялся, — такие фитильки, а всерьез о замужестве говорят.

Анна стала женой Николая.

Началась ее семейная жизнь, в которой, впрочем, ни она, не любившая по-настоящему мужа, ни муж, любивший ее горячо, не были счастливы.

Но веселая жизнь и поездки за город не прекратились даже тогда, когда она почувствовала себя беременной.

В огромной семье Николая, возглавляемой его матерью, со множеством тетушек, сестер и дальних родственниц, маленькая Наташка была первым младенцем, и все усиленно занимались ею. Анна окончила институт, став по специальности хирургом. Хотя Анна и говорила, что не испытывает особой любви к своей специальности, она с самого начала своей самостоятельной работы зарекомендовала себя умелым хирургом.

К началу отечественной войны Наташке было уже около четырех лет. Анну призвали в первую же неделю и, не желая пользоваться никакими льготами, она отправила дочь вместе с бабушкой в пыльный, но зато удаленный от фронта, сырой городок и попросилась в действующую армию. Николая оставили старшим врачом госпиталя и профессором института — необходимо было ускоренно готовить новых врачей для фронта.

Анну назначили в отдельный саперный батальон, и первые дни войны она работала в чистом, словно итальянском, уютном городке, раскинувшемся на северном склоне Ладожского озера.

Батальон, где начала работать Анна, в те дни был придан дивизии, которая целый месяц сдерживала наступление финнов и наносила тяжелые удары в пять раз сильнейшему противнику.

В эти жаркие июльские дни, когда горели леса, когда немецкие самолеты гонялись по дорогам даже за отдельными папилями малинами, когда тяжело раненые продолжали драться, как здоровые, юноши, подымая пыль, шли по дорогам в тыл подбитые с места, тревожно мычавшие стада, а у придорожных костров плакали тянувшиеся к материальной груди младенцы, когда каждая пядь покидаемой земли становилась все дороже и дороже, и мысль об оставленных городах вызывала на глаза слезы, — Анна, работая по восемнадцать, по двадцать часов в сутки, так, что набухали на ногах вены и ноги, немели, поняла и почувствовала очень многое. За долгие годы мирной жизни она бы не увидела и не поняла столько, сколько за неделю в которой счастливым считался тот день, когда санитаркам хватало бинтов.

Одно дело — читать в книжках о том, как спартанцы, уходя на войну, брали с собой горсть родной земли и хранили ее на сердце, а другое дело видеть, как неграмотный серой старик берет на огороде за домом в свою

трясущуюся руку горсть земли, просыпая ее между пальцами, смотрит на нее с тоскою и бережно завязывает в серый, затасканный платок.

Саперам вместе с другой частью приходится, отходя, прорываться через многочисленные засады, устроенные белофиннами. Отдельные их отряды пытались, оседлав дороги, отрезать наши части от тылов.

В один из таких дней Анна получила приказ эвакуировать свой медицинский пункт, на котором было уже много раненых из соседних подразделений. Анна погрузила их на два санитарных автомобиля. Мимо шли машины, груженные боеприпасами и людьми. Туда удалось пристроить еще несколько раненых. Те, которые могли передвигаться, сами пошли по дороге. Впрочем, дороги не было. Саперы валили на болото деревья и, обрубая сучья, тут же устраивали бревенчатый, колеблющийся пластил, по которому должны были, в обход пастоящей дороге, занятой белофиннами, пройти несколько десятков перегруженных машин, семь орудий, обозы и пять танков. У Анны, с которой были две фельдшериницы и две дружинницы (санитары уехали, сопровождая машины), оставалось еще двадцать человек раненых, которые не могли сами передвигаться. В совершившейся растерянности стояла Анна со своими людьми около раненых, лежавших на траве, на мшистых кочких, поросших кустиками послевающей чернинки. Раненых надо было увозить, — но на чем? Надо было их унесить, но не было носилок.

— Товарищ майор! Товарищ майор! — обратилась Анна к командиру, который остановился около танка.

— Что вам надо, — резко отозвался майор, но оглянувшись, он увидел перед собой военного врача, женщину меловидную, растерянную и сердитую. Усики майора Бахтадзе были тщательно подбриты, его щегольской китель даже сейчас, на болотистой, грязной дороге, под начинающимся дождем, казался только что спущенным на заказ.

— Чем могу служить? — спросил он с кавказским акцентом и поклонился.

— Да вот, — и Анна указала на раненых, лежавших на земле под дождем.

— Да, это плохо, дорогой товарищ, но что делать? — Майор Бахтадзе поглядел на танки и просиял. — Положим их на броню! Вот как будет, генадьи!

И он подозревал танкистов. Однако сверху на каждый танк можно было пристыковать не больше двух раненых. Так и сделали. При этом один раненый стал скользить по броне и чуть не упал с танка. Раненый боком он коснулся гусеницы, и лицо его стало меловым. Он сжал зубы, удерживаясь от стона.

— Да тише вы там! — майор Бахтадзе выругался.

Танки, вздрагивая на бревнах и дырязгая гусеницами, тронулись дальше, лесом на своей броне раненых.

Теперь у Анны оставалось еще десять раненых, а медицинского персонала вместе с ней было всего пять человек. Пять человек, без носилок! И вот тут она первый раз увидела Прокофия Соколенко: он шел рядом с Крапивиным, по круглым стеклам его очков долзли капли дождя, маузер, прикрепленный к поясу этого невысокого коренастого человека, казался изамного большим, чем обыкновенно бывают маузеры.

Крапивин остановился около автомобиля, заднее колесо которого, съехав с пластила, завязло в болоте. Соколенко своей слегка подпрыгивающей походкой подошел к Анне и строго спросил, указывая на раненых:

— А это что?

— Раненые, — отозвалась безнадежным голосом Анна.

— Не слепой! Вижу!

«Как не слепой?» — хотела ответить Ани, взглянув на мокрые очки. Она тоже разозлилась.

— Почему не эвакуируете?

— Нет носилок, и где из чего их сделать. Начальников здесь много а помочь никто не хочет, — сказала Ани, готовая заплакать, несправедливо забывая и о добавочном грузовике и о талках майора Бахтадзе.

— Так! Носилки не из чего сделать? — настороженно сказал Соколенко и сделал еще шаг к Анне, преградившико наклонился и изо всех сил дернул ее за юбку.

— А это что? — и он повторил: — А это что? — и еще раз дернул сиюю юбку Анны книзу.

— И вправду! — восхищенно вздохнула одна из салдружинниц и быстро стала отстегивать крючки своей юбки.

Соколенко смущенно отвернулся.

Зная, что он некрасив, и преувеличивая свою неказистость, Прохоров всегда был в обращении с женщинами очень робок. Здесь же... Впрочем, злесь он не при чем — это было общее и очень важное дело.

Ани не привыкла к резкому обращению, она всхлипнула и хотела уже обругать этого грубияна, старшего политрука. Но увидев его смущенное лицо и поняв, что и впрямь из их юбок можно сделать носилки на жердях, замолчала. А Соколенко в этот момент снял очки и стирал с них капли дождя который становился с каждой минутой все сильней. Смущенное лицо его без очков показалось Анне очень трогательным и как-то по-особенному милым.

Через минуту голос его раздавался уже где-то впереди. Он кричал из шоферса остановившейся машины.

Вместе со своими санитарками Анна быстро наломала жерди и пропела на них юбки. Полоски получились неважные, но все же их можно было пристосовать к делу. Всего вышло трое носилок.

— Эй, голубчик! — сказала санитарка проходящему мимо бойцу. — Помоги, пожалуйста!

И он стал помогать. Они перенесли раненых на девятнадцать километров. Впрочем, фактически это было около сорока километров.

Перенеся трех раненых вперед на два километра, они укладывали их по кустами, пряча от дождя, возвращались за оставленными, укладывали их на носилки и снова несли вперед два-три километра, к кустам, под которыми тихо стонали раненые.

Руки тяжелели от носилок, на ладони налипала смола от жердей, след лапных из молодых сосенок, в сапогах чавкала проникавшая туда влага. Казалось, кончина будет походу по бревенчатому пластилину. Каблуки иногда застревали между бревнами и тогда приходилось останавливаться. И сидя останавливались вторые носилки.

— Смотри под юги, — промоко комантовал боев, помогавший переносить раненых.

Так шли они безостановочно весь вечер и всю короткую летнюю ночь.

Анне иногда казалось, что больше уже нельзя сделать ни шагу, и все же она продолжала идти, не выпуская из рук носилок.

Ей хотелось плакать. Руки отяжелели, и ей казалось, что никогда в жизни она не сможет их весело люднить, спокойно взмахнуть, саложить за шею. И когда уже начинанию казалось, что шутъ этот бесконечен и что шли они так

и вчера, и нозавчера, и сегодняшний день, и завтра надо будет также итти, и нет конца дороге,— боев, который шел первым, останавливается и опускал посыки на землю. Тогда приходила занезапная счастливая легкость. Кровь стынила от руж, и Анна, медленно шевеля очевившими пальцами, подымала руки и отбрасывала со лба налезавшие на глаза волосы... И они снова шли назад, на встречу медленно идущим машинам и людям, за оставленными ранеными.

Когда в последний раз девушки возвращались за своей лошадь, они услышали невдалеке стрельбу и увидели, как лыкает остановившаяся на настите машина. Пехватило горючего, и шофер Галанов поджег ее. И опять Анна увидела Соколенко и Кравчука. Они находились около горящего грузовика, организуя тут же оборону от наседавших неприятельских солдат. В эту минуту Соколенко вовсе не показался ей смешным.

Марш оказался удачным. Все люди, танки, орудия, все автомобили, за исключением одного, были выведены.

Солдатская летучка забрала раненых, и Анна отыхала со своими девушками в ящике сделанном из еловых ветвей шалаше. Преснулась она гиенами и несколько минут сежала, закрыв глаза, стараясь сообразить, сколько же времени она спала. Вечер сейчас, утро, день или ночь?

Плечи лыши, на ладонях вскочили водяные птузыри. Анна открыла глаза, вытащила из нагрудного кармана гимнастерки маленькое круглое зеркальце из пережавющей стали и поднесла к лицу. В ее глаза вспыхнули карие блестящие глаза, немного утомленные. Черную прядь распутавшихся волос надо было отвеси за ухо. Милое продолговатое лицо отражалось на металлической пластинке и было в нем что-то новое, чего раньше Анна не замечала.

«Ума, что ли больше стало?» — подумала она и улыбнулась. И улыбка эта отразилась в зеркале.

И в это время совсем близко мужской голос запел:

Ой, за гаем, гаем,
Гаем велененьким,
Там орала дивчиночка
Волыком чорненьким.

Анна заткнулась от удовольствия и, слегка подпевая, стала слушать. Голос был краинский, глубокий, сильный. И каждый, кто внимательно прислушалась к песне, понимал, что тот, кто ее пел, вкладывает в нее гораздо больше смысла, чем было в простых незатейливых словах.

Орала, орала, не вмила гукаты,
Попросила козаченъка
На бандурци грать.

Песня эта уводила Анну к ее детству, к тем дням, когда она только-только начинала себя помнить. Раннее свое детство она провела на Украине. Отец ее, старый украинский интеллигент, уже переехав в Петроград, любил подчеркнуть, что он душою и сердцем остается украинцем, и украинские песни были дома в большом лючсте.

Анна вытаскала и вымыла, чтобы умыться у ручья, пробегавшего вблизи от шалаша. На бережку у самого ручья подымался сизый дымок костра, вокруг него сидело несколько командиров и бойцов. На треноге висела котелок. Все

они слушали, как свободно, сам наслаждаясь звуками мелодии, выводил словесни Соколенко.

Анна подошла к ручью. Прокофий взглянул на нее, оборвал песню и сказал:

— Извините меня, товарищ врач, я, кажется, вас вчера расстроил немного.

— Да нет, вы, пожалуйста, были правы, — ответила Анна, вспыхнула и посмотрела прямо в глаза Соколенко.

Прокофий Соколенко до 1939 года работал корреспондентом ТАСС в областных центрах Союза. Восемнадцатилетним парнишкой он, поссорившись с отцом — протоиереем, в уездном приднепровском городке, — ушел добровольцем в Красную Армию и во время боев под Переяславом вступил в коммунистическую партию. В 1922 году он демобилизовался и через год поступил в юридический факультет Саратовского университета. Однако, вместо того чтобы стать судьей или прокурором, стал работать в газете, ведя там отдел «В суде». В личной жизни Соколенко было неудачлив. В женском обществе держался очень скромно. Многие из его друзей-мужчин, уважавшие в нем ум и незаурядную начитанность, удивлялись его неповоротливости, ответам невнятным и порой даже резкостям, под которой он старался скрыть свое смущение перед женщинами.

Соколенко долго не обзаводился семьей. Став областным представителем ТАСС, он часто переезжал из одного города в другой, пока, наконец, не остановился на несколько лет в Саратове. Здесь, в клубе педагогического института, 5 мая он прочитал доклад о печати в капиталистических странах и у нас. Прокофий был хорошим докладчиком, говорил он в тот день с вдохновением, читал стихи Маяковского и произвел большое впечатление на студенческую аудиторию.

После доклада его обступили студенты и студентки, смущающиеся, любознательные, задорные, — и среди них была Тося, вскоре ставшая его женой. Светловолосая юная девушка, она увидела в Соколенко то, что многие женщины не могли разглядеть за его неказистой наружностью.

Жили они спокойно, мирно, без больших радостей и без ссор, что было легко при ровном характере Тося и ее ли с чем несравнимом трудолюбием.

Окончив институт, Тося с увлечением начала работать в школе. Целиком поглощенная тетрадками учеников, педагогическими советами, она все умела выбирать время для сына, которому в сентябре 1939 года, когда Соколенко призвали в Красную Армию, было около пяти лет. Через несколько дней после того как наши части перешли границу Финляндии, во время жесточайших боев у станции Лоймала, он получил телеграмму о том, что у Тося родилась дочка.

В июле он приехал домой, в отпуск. Шесть недель отпуска после трудной боевой жизни, после пережитого и передуманного в дни войны показались ему престными и скучными, и на Тося, которая была попрежнему мила и ровна с ним и с учениками, он тоже посмотрел другими глазами. Для нее продолжалась прежняя, обычная жизнь, словно ничего и не произошло, словно бы не ее вернулся из командировки, хотя командаировка эта и была опасной. А он уже был человеком, перенесшим войну, во время которой многое пришло и пересоценилось.

разговаривая с Тосой о самом сокровенном из того, что он передумал, он друг убеждался, что она смотрит на него исполнительными глазами, делает под собой усилие, чтобы войти в круг его идей. Из отпуска Прокофий вернулся в армию немножко разочарованным.

В день, когда он ожидал приказа о своей демобилизации, гитлеровцы перешли границу. Так и не повидавшись, не попрощавшись с Тосей и детьми, Соколенко, награжденный медалью «За отвагу», в звании старшего политрука вступил в отечественную войну.

В первые недели и месяцы, потрясенный боевыми делами, Прокофий часто вспоминал о Тосе, и лишь порой ему снился сын. Письма из дома требовали его, навевали грусть, Тося беспокоилась о нем и просила писать чаще и подробнее. Но как писать подробно, когда, во-первых, и самому-то трудно было разобраться во всем, что происходило вокруг, и, во-вторых, не было и часа, не заполненного работой.

Глядя на этого маленького деятельного человека, в очках, с большим трофеинным маузером у пояса, человека, который всегда был в движении, в словах и глазах которого была неиссякаемая уверенность в том, что мы победим, несмотря ни на что, каждый думал: «Нет, не так уже плохи наши дела», каждый сам проникался уверенностью в том, что мы выстоим.

И Анна, в лесу у костра взглянувшая в его глаза, тоже прониклась этим чувством спокойствия и уверенности, а он смотрел на нее и удивлялся тому, какоо веселые у нее светлокарие глаза и как блестят в свете заходящего солнца ее черные гладкие волосы.

В тот день они больше не виделись и не сказали друг другу ни слова. Только через неделю Анна снова встретила Соколенко на улице горящей деревни. Потом каждый раз, приезжая из частей в Ноарм, он выкравал час для того, чтобы зайти в околодок отдельного саперного батальона, который стоял в полутора километрах от штаба, в лесу. И в этот час они разговаривали. О чем? Трудно сказать. И о стихах Маяковского и Блока, и о кесаревом сечении, и о новейших способах анестезии, и о преимуществе пулемета-пистолета Дегтярева перед пистолетом-автоматом «Суоми», о красоте карельских озер, о переменчивой здешней погоде, о прошлой войне с белофиннами, и о Саратове, где учился Соколенко, о героической Одессе, о Ленинграде.

О Ленинграде Анна могла говорить часами.

И никто, слушая их разговоры, не мог бы понять, что за этими, подчас незначащими речами кроется подспудный, очень глубокий, несказуемый смысл.

Об одном только они не говорили — о любви.

Соколенко, то и дело вспоминая Анну, прожужжал о ней уши Крапивину (их койки в общежитии Ноарма стояли рядом), и тот начал подтрунивать над ним.

Но Прокофий в этих добродушных подтруниваниях находил для себя какое-то удовольствие. Сначала Соколенко не отдавал себе отчета в том, что он переживал. Думая об Анне, испытывал только удовольствие, которого раньше он никогда не ощущал. Затем поняв, что с ним происходит, он стал тяготиться мыслями о Тосе, о том, что она любит его, верит ему и, мучаясь за его судьбу, с нетерпением ждет его возвращения. Ему казалось, что, любя Анну, он в чем-то глубоко неправ перед женой, которая во всем права, и перед ним вставало простое, близкое ему лицо Тоси, и сердце его разрывалось от болести.

Он отгонял тойда от себя мысли о будущей жизни, — после войны разремся, там видно будет. Но никогда, видя во сне Анну, Соколенко легко и едино говорил с ней о том, о чем молчал при встречах.

И вот сегодня, подходя к землянкам саперного батальона, паклоняясь к встречу лоривам холодного ветра, он вспомнил, что именно здесь работа Анна, и теперь, назначенный комиссаром саперного батальона, он, неожидан для себя, становится как бы ее начальством.

★ ★ *

Молодой капитан Кошкин уже спрощал своих людей.

На дороге водители автобата заводили моторы грузовиков.

Соколенко поздоровался с капитаном. Если бывают такие лица, о кот. можно сразу сказать, что они принадлежат смелым, честным и прямодуш людям, то именно такое лицо было у капитана Петра Кошкина.

— Знаете задачу? — спросил Соколенко.

— Знаю!

— Всех собрать не удастся?

— Нет.

— Тогда я пойду по грузовикам.

Было очень холодно и шел мелкий сухой снег. Путаясь в длинных по шинели, Соколенко подошел к первому грузовику.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал он.

— Здравствуйте! — дружно отозвались саперы.

Перед ним были балковые бойцы, специалисты своего дела, умелые в боте и уже отличившиеся в бою.

— Товарищи, я очень много слышал про ваши славные дела, — сказа Соколенко. — Вы героически наводили переправы для наших войск и взрывали мосты, чтобы враг не мог пройти по ним. Но теперь, — продолжил он, — нам предстоит иное! Хватит нам обороняться, хватит нам прикрывать отходы. Теперь мы сами пойдем в наступление, чтобы вышибить врага с пятых им рубежей, погоним его, освободим город Элек — ключ к городу ве кого Ленина! И сегодня нам надо будет больше действовать винтовкой и патронами, чем лопатой — обычными оружием сапера. Положение такое: либо погоним и уничтожим немца, либо он уничтожит нас и Ленинград.

Саперы молча слушали взорванную речь Соколенко и затем также молча спокойно, завязав ушанки, стали усаживаться на грузовики. Зимние шапки и теплое белье уже были разданы. Валенки должны были прибыть через три дня. Соколенко перешел к другой машине, затем к третьей. Саперов было семьсот человек. Им предстояло преодолеть больше ста километров холмистой первоночальной лесной дороги. На последнюю санитарную машину рядом с водителем усаживалась Анна.

— Вы теперь наш комиссар? — спросила она у Соколенко, на минуту державшегося у ее машины. И он в темноте по ее голосу понял, что улыбаешься.

— Да, будем работать вместе!

Он пожал ее руку, отпустил и снова взял в свою и ложил.

— Ну, вперед.

Машинки пошли по дороге. Соколенко и Кошкин сидели в эмке, между ними колонты.

- Надо будет побелить машину, — сказал Соколенко.
- Еще бы, — отозвался Кошкин.
- Я боюсь, как бы в самога они погибли отморозили.
- Каждый час будем за десять минут привык для разогрева делать.
- Ты ел чего-нибудь? — незаметно переходя на ты, спросил Кошкин.
- Нет.
- У меня замечательный начирод — на, возьми, — и Кошкин протянул

Это был изюм, чудесная сабза.

— Видишь, ни у кого нет, а у нас есть,— с гордостью сказал Конкин. Он охотно хвастался растромпостью своего начирида, но очень смущался, когда кто-нибудь с похвалой отзывался об умелой работе батальона или личной храбрости его командира.

Командир и комиссар ели изюм и разговаривали о делах батальона, о том, что надо будет делать, прибывши на место. На ухабах их взорово дробасывали.

Но что им надо будет делать — так и оставалось неясным до самого утра, пока машины миновали пустую деревню Сарожа и, согласно заранеециальному приказанию командующего, на развилке дорог взяли влево.

Из Сарожи на Энек шли три дороги. Прямая, где была переправа, которую сейчас занимал Крамивин, вела к северной окраине Энека. Направо, минуя деревню Шомуташ, с шагом через реку, вторая дорога приходила к западной окраине города. И налево третья дорога вела на восточную его окраину. Вот по этой-то дороге и попали машины саперов. Все три дороги с этого дня должны быть закрыты для немцев. А для нас — из дорог от Энека — они, по приказу командующего, должны были стать дорогами на Энек.

Когда до Энсса оставалось уже немногим больше двадцати километров, Конкин остановил свой батальон. Вперед был послан в разведку взвод младшего лейтенанта Пескова — высоченного молодого парня, вымущенного из военного училища досрочно, на второй месяц войны. Взвод этот отправился вперед по лесной дороге. Разведчики шли быстро. Ничего угрожающего на дороге они не заметили и спокойно прошли до отмеченней на карте деревни Ильвицы.

— Тоже мне деревня! — сказал усмехаясь Несков. — Всего три дома!

Действительно, три дома, при постройке которых, правда, не пожалели леса, стояли на болоте у мостика через ручеек замеченный ручеек.

Пройдя деревню, Песков встретил двух немцев, идущих по дороге. Они заметили падающих деревьев и остановили спутника. Принесяших их пересекли.

С неба повалил густой, хлопьями, снег. В это время немцы бомбили аэродром, на который только что села машина командующего, а Соколенко кончал беседу с капитаном. Рядом с ним, расхаживая, стоял Потрепанов.

Весь покрытый хлопьями мокрого снега, Соколенко подошел к санитарной машине, около которой хлопоталась Алина, раздавая добавочные бинты и меди-камеди санитарным инструкторам.

Высокий, черный, с горделивым профилем красноармеец Гасан Шемаилов находил на себе маленькие памятные панночки в свою память и говорил:

— Товарищ доктор, тебе надо в избе остановиться, здесь ты совсем заблудишься.

Соколенко посыпал к Алье

— Сегодня бой, — сказал он тихо и посмотрел ей в глаза. На черных

— Прософий. Яко видите — скажите она — Прософий

И тогда они поняли, что все уже сказано и не нужно слов, которыми обычно говорятся в такие минуты.

— Ирекофиий, только я должна сказать тебе одну вещь, — и она смущила.

— Какую? — у Соколенко от тревоги перехватило дыхание.

— У меня есть дочка, Наташа. Четыре года.

У него отлегло от сердца.

— Какая ты замечательная, Анна!

Больше разговаривать им было нельзя.

— Желаю боевого успеха, — улыбаясь, сказала Анна.

— Есть успеха, — весело отозвался он и пошел отыскивать Бонкина.

Когда уже стемнело, пришел первый посланец от Пескова с запиской том, что разведчики, пройдя шесть километров, встретили и уничтожили немцев, — больше никого не обнаружено, взвод подходит к хутору Вехру, где, повидимому, есть немцы.

Компкин и Соколенко решили начать движение вперед, с тем чтобы, быв немцев, запечевать на хуторе и с утра продолжать движение на Энс.

Автомобили ушли обратно за боеприпасами, и батальон поротно начал движение вперед в шершем строю.

В это время Песков со своим взводом разведчиков подошел почти вплоть к хутору Вехручей. Было уже совсем темно. Песков остановился и стал выдыхаться. Он заметил, как из стоящего поближе к дороге дома вышли солдата. Они стали мочиться прямо с крыльца. Потом сказали что-то другу, громко засмеялись и пошли обратно в избу.

«Так, значит, здесь есть немцы», — подумал Песков и вдруг вздрог Чей-то громкий, как бы искусственный, голос выклыхал немецкие слова; вырывались с трясением и хрипением, словно звуки нечетко работают радиоприемника. Потом раздалась какая-то песня. «Du bist verrückt, Kind. Du musst nach Berlin», — с трудом разобрал слова призыва.

— Товарищ командир, — шепотом сказал ему пулеметчик, поглядывая на диск, — там они килю свое смотрят, самый момент ударить и закинуть гранатами.

Действительно, из домика слышался стрекот аппарата кинопередвижки.

— Правильно, Шевелев, — сказал Песков, — так и сделаем.

Для того чтобы подойти к нескольким домикам, которые составляли этот населенный пункт, надо было пройти по небольшому деревянному мосту, переброшеному через ручей, метра три в ширину. Но с другой стороны моста изредка выглядывал, высовываясь из окопчика, немецкий солдат. Песков заметил его после нескольких минут пристального наблюдения. Итти право по мосту было нельзя. Песков решил перебираться через ручей. Лед на ручье был тонкий, ломкий, течению быстро, а посредине черпела еще не замерзшая узкая, в шаг, полынь. И только в одном месте кем-то, а может быть, и мой природой, камни были положены так, что нетрудно было, переступая одного на другой, перебраться через ручей.

«Здесь и перейдем», — решил Песков.

Осторожно переступая с камня на камень, боясь поскользнуться, перешел на другой берег босц и лег в снег у куста, в двух метрах правее камней. Ним перебрался пулеметчик Шевелев.

«Пуцу второй номер, а затем сам перейду», — решил Песков и вложил за-
вал в гранату. Но тут-то и случилось непредвиденное: третий боец, проделав
почти весь опасный путь, вдруг оступился и рухнул в воду, при этом кот-
лок его ударился о камень и загремел. Звон котелка, круст ломающегося льда,
всплеск воды и приглушенную ругань упавшего услышали немецкие дозор-
ные.

— Wer da? — крикнул один из них, и, не получив ответа, они открыли
частую беспорядочную стрельбу.

Наши бойцы тоже ответили несколькими выстрелами. Пулеметчик Шеве-
лев, успевший перебраться на другую сторону ручья, дал короткую очередь.

В ответ заработало четыре немецких пулемета, и Шевелев стих.

Стрекотание кипопередвижки прекратилось. Немецкие солдаты, не досмот-
рев сеанса, выбежали из избы с черного хода.

— Вот матери сын, — сказал Песков, — сорвалось!

Он злобно выругался, затем приказал бойцам прекратить стрельбу.

Соколенко и Кошкин услышали звуки этой стрельбы за полтора километра
от хутора и, замедлив движение, выслали влево и вправо от дороги по отде-
лению разведчиков.

Вскоре пришел расстроенный Песков и рассказал историю своей неудачи.
Высокопоставленность подхода была корвана.

— Там у них есть два танка, — докладывал Песков.

Надо было решать, когда ударить, из рассвета или ночью.

— Будем действовать немедленно, не давая им закрепиться, — сказал
Кошкин.

— Это правильное соображение, — сказал Соколенко, — ударим ночью.

Так как итти на лобовой удар означало нести большие жертвы, они ре-
шили взять хутор фланговым обходом. Одна рота должна занять дорогу; вторая
рота, Камодина, пошла в обход справа, туда, где простиравшее обширное бо-
лото, занесенное теперь первым снегом; третья рота, Симакова, заходила сле-
ва, через густой лес. Сигналом для общего удара должна была служить синяя
ракета Симакова, которую он шустит, заняв в лесу исходное положение.

Первая рота, с которой шел Кошкин, ровно к часу ночи заняла на доро-
ге исходное положение, и Кошкин, посмотрев на часы, начинал уже нервни-
чать. Сигнала не было.

С ротой Камодина пошел Соколенко.

Сначала, держась в полукилометре от дороги, шли редким лиственным,
теперь почти прозрачным лесом. Листья опала, и на тонкие оголенные ветви
снег ложился не так густо, как на ветви хвойных деревьев. Белые стволы
берез тоже, казалось, были выпелены из снега и словно растворялись в нем.

Шли, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега, молча, не закуривая.
К счастью, небо было закрыто облаками; и усилившаяся от этого темнота по-
могала походу. За лесом началось болото, прикрытое сверху молодым пуш-
истым снегом. Болото не замерзло, и каждый шаг сопровождался хлюпаньем и
чавканьем проваливающейся под тяжестью тела трясины. Вытаскивать ноги
сталось все труднее и труднее, а с приближением к хутору передвигаться
надо было все осторожнее. Бойцы медленно пробирались по незамерзшему
болоту с винтовками наперевес. Холодная влага пробивалась через смазку,
через кожу яловых сапог и начала холодить, потом обжигать ноги.

У Соколенко на правой ноге пыл большиной пятац. Он старался как-нибудь поджать его, чтобы он не выискал и не упирался в холоцную твердую кожу сапога. Ему казалось, что кто-то цепляется за шинель, держит ее, тянет ее. Он поглядел: лосы его линчели, мокрые от болотной влаги, теперь застыли и стали твердыми.

Когда рота подошла к исходному рубежу, часы показывали начи третьяго. А сигнала к атаке не было. Значит, рота Симакова все еще успела занять исходное положение. Второй роте пришлось залечь в снег, болоте.

Третья рота, Симакова, должна была пройти к своему рубежу через сильные лесные заросли. И хотя, если смотреть и рассчитывать движение по карте, ей предстояло пройти меньший путь, чем второй роте, шла она значительно дальше. Надо было находить просветы в густом застеженном ельнике и пробираться сквозь чащу. Каждый сучок, казалось, цеплялся за шинель, все с размаху били по лицу, через новаленный буреломом ствол нужно было переваливаться всем телом. И пока бойцы второй роты, лежа в болоте, замазая, с нетерпением отсчитывали каждую минуту, бойцы третьей роты тихо дышали от утомления, и глаза их заливала пот. Только к пяти часам утра третья рота подошла к исходному положению. Надо было давать сигнал. Лейтенант Симаков сунул руку в карман, где лежала ракетница. И вдруг в эту его словно образовалась пустота: ракетницы не было. По всей видимости, когда он пробирался сквозь чащу, случайный сучок зацепил ее за рукава и она выпала на снег.

Что делать? Симаков был в отчаянии, ему хотелось пустить себе пулю в лоб за то, что он потерял ракетницу.

Но тут, оглянувшись, он увидел рядом с собой связного Кошкина — молодого ловкого бойца Галактионова.

— Ну что? — спросил он его тихо.

— Товарищ капитан приказал сигнал к началу атаки давать тремя винтовочными выстрелами и криком «ура», а то немцы ракеты разныепускают.

— Вот это чудо! — обрадовался Симаков. Он готов был расцеловать Галактионова, но тот, передав приказание, сразу отправился обратно через лесную чащу к Кошкину.

Было 5.30 утра.

Симаков посмотрел вокруг себя: бойцов не было видно, но он знал, что за каждым кустом, за каждым стволом теперь таятся свои. Он приложил плечу винтовку, с которой не расставался, считая ее лучшим оружием, выстрелил один раз, затем выбросил гильзу, выстрелил в немецкую сторону второй раз, отвел затвор назад, дослал патрон и дал третий выстрел. И сразу загремели выстрелы. Это наши минометы несли огонь в глубь неприятельской обороны. Взмахнув перед собой винтовкой, Симаков закричал:

— Вперед! За родину! За Сталиса! Ура!

Сотни голосов подхватили этот возглас, усилили его и разнесли по пространству темному лесу.

Громкое торжествующее «ура» раздалось на болоте. С громким «ура!» ползла в атаку первая рота на дороге. Мгновенно все пространство осветили вспышками выстрелов и их грохотанием. У немцев работало несть стакновых пулеметов, два противотанковых орудия и орудия двух танков. При сигнале

и понеслось родное «ура», когда он увидел, как дружно все, кто был рядом, поднялись и побежали вперед в атаку, сердце его замерло от волнения и радости.

«Так дружно не кричали и так весело не подымались даже на учения! — подумал он и, не в силах устоять на месте, влекомый какой-то неизвестной ему радостной силой, побежал вперед. На той стороне ручья по немецам был ручной пулемет. И это зафиксировано было сознанием Соколенко.

«Молодец, уже перебрался!» — подумал он, но это строчил пулеметчик из взвода Пескова, перебравшийся на ту сторону еще с вечера и до сих пор лежавший за кустом. Ему казалось, что он уже умирает от холода, но сейчас он ожидал и посыпал прицельные очереди по врагу. Соколенко бежал вперед, чувствуя всем своим существом, что товарищи рядом делают то же, что и он.

Снег был глубокий, бойцы проваливались в него по пояс. Слег оседал под ногами и, сидя на нем, как в седле, нужно было вытягивать ногу и высокое поднимать, чтобы, сделав следующий шаг, снова провалиться и карабкаться дальше. После нескольких таких шагов сердце отчаянно колотилось и трудно становилось дышать. И хотя стоял мороз и замерзали ноги, рубашка прилипала к потному телу.

Пройдя полтора десятка метров, необходимо было лечь в снег, для того чтобы отдохнуться, отдохнуть, и через три-четыре минуты снова подняться, для следующего рывка вперед. Здесь не было чувства локтя, столь обычного в пехотной атаке, потому что никто не мог видеть сразу больше, чем одного-двух товарищес. Было темно, по если бы и не было темно, то стволы широке разросшихся деревьев и покрытые снегом кусты мешали бойцам видеть друг друга. И вот тут-то дружное «ура», паводя страх на врага, объединяло бойцов.

Когда после первого рывка саперы залегли в снег, Конкил, подозвав своего связного Галактионова, только что вернувшегося из роты Симакова, приказал ему снова идти к Симакову и сказать, чтобы тот выделил отделение и бросил его подальше от хутора на дорогу. Сквозь трохот стрельбы Конкин услышал, как немцы заводили моторы. И он решил отрезать путь отхода неприятельским машинам. Галактионов, повторив приказание, исчез, словно его размыла ночная тьма. Снова вспыхнуло «ура», и саперы поднялись для очередного броска. Немцы вели ураганный огонь. Лейтенант Ларькин был ранен, у него подкосились ноги, и он упал. Но, и лежа в снегу, он продолжал выкрикивать:

— Вперед, товарищи!

Пробегая мимо него, Соколенко сказал:

— Не беспокойся, пазад мы не пойдем!

Ларькина вынес из боя Гассан Исмаилов.

Так, под сильным неприятельским огнем, семь раз залегали в спегу и семь раз дружно по сигналу подымались саперы. После седьмого броска их уже ничего не отделяло от немцев. Начинался рукопашный бой. Соколенко побежал к блиндажу, на нем стоял Шевелев.

— Товарищ командир, — сказал он, — поберегитесь! Оттуда еще стреляют. Как их взять?

— Гранатой, — ответил Соколенко.

Шевелев бросил гранату в амбразуру, и выстрелы из блиндажа прекратились.

Соколенко нагнулся, взял винтовку, валявшуюся рядом с убитым бойцом и побежал к дому, из которого еще велась стрельба.

Позади, по дороге к хутору, раздались выстрелы. Услышав позади се крики «ура», немецкие танкисты хотели повернуть назад, но вся дорога была забита машинами. Два немецких танкиста вышли из танка, чтобы расчистить путь. В это мгновение к танку подбежал молодой белобрысый боец Ренквиц. Одного немецкого танкиста он застрелил, другого, который, странно размахивая руками, побежал прочь, он заколол пытком. Взмахнув винтовкой, он сбил при этом с себя каску, но, не поднимая ее, не теряя ни секунды, ловко взобрался в башню танка и повериул его пулепет в сторону немцев. Он нажал гашетку и израсходовал в одной длинной очереди полностью боеприпасы. Затем, высунувшись из люка танка, он увидел, как к дому бежал Соколенко, выскоил из танка и с криком: «Вперед, комсомол!» устремился помочь комиссару.

Подбежав к дому, Соколенко увидел, как маленький и верткий боец Соколенко ведет огромного немца. Соколенко рванул дверь. Она распахнулась. На пороге стояло два немецких солдата, один был без сапог. Увидев направление на них в упор винтовку, они бросили свои ружья на пол и подняли в руки. У Соколенко не было времени с ними возиться, он сказал подбежавшему Ренквиству: «Сдай их!», а сам выскоил обратно на улицу.

Когда Ренквиист выскоил из танка, замерший там водитель завел машину и помчался назад по дороге. Ренквиист не видел этого, но когда ему на рассказали, спачала не поверил, а потом очень сокрушался, что не успел прикончить водителя.

Впрочем, танк далеко не ушел. Галактионов, который прошел за эту машину вчетверо больший, чем каждый боец роты, снова пробрался через чехол роты Симакова.

Рота была в бою. Галактионов никак не мог разыскать Симакова и лишь решил ему срочное приказание капитана: послать группу бойцов на дорогу, чтобы отрезать отход немцам. Он хорошо понимал важность приказа и необходимость его выполнить.

— Чорт побери! — выругался он и остановил одного из находящихся вблизи саперов.

— Командир приказал тебе идти со мной, — сказал он бойцу.

Несмотря на страшную усталость, па то, что пыли ноги, Галактионов стало легко и весело. Одного за другим он остановил пятерых бойцов и их. Обогнув лесок, они выплыли на дорогу в полутора километрах от хутора и увидели, как, взметая гусеницами спег, уходит упущенный Ренквиистом немецкий танк. Они метнули связку гранат под гусеницу. Танк остановился.

Стрельбу группы Галактионова на дороге услышали. На хуторе это звучало среди немцев панику. Немецкий полковник решил проскочить в тылы на машине. Он уже садился в легковой автомобиль, когда к машине бежал сапер Прокопьев. Полковник поднял пистолет, но Прокопьеву удалось выстрелить раньше, и полковник, держась левой рукой за дверцу автомобиля, упал внутрь машины.

Около колонны захваченных трофеиных грузовиков толпились бойцы, обращая внимание на раздававшиеся вокруг выстрелы они с любопытством рассматривали эти незнакомые машины с высокими бортами. Из кузовов вытаскивали матрацы, дамское белье, одеяла.

— Смотри, женские туфли! — сказал Шевелев.

— Ну, туфли я еще понимаю, а это, зачем? — изумленно отозвался другой сапер и вытряхнул пакет, из которого посыпались коричневые и красные резиновые детские соски.

— Вот это да!

— Товарищи! — сказал Соколенко, подходя к этой группе. — Завтра будем разбирать и подсчитывать трофеи, а сейчас вперед! А ну, давай!

И бойцы отошли от грузовиков и присоединились к тем, кто выковыривал из блиндажей и окопов еще сопротивляющихся немцев.

Около первого грузовика возились бойцы. Соколенко подошел к ним, — здесь хлебал Гассан Исмаилов. Трофейная машина была наполнена ранеными, подобранными сапиенструкторами.

— Товарищ комиссар, — весело обратился к нему Исмаилов, — я имею членом водителя и живо их всех на машине к военврачу препровожу и обратно.

— Давай! — сказал Соколенко. И вдруг услышал, как метрах в пяти от него раздался выстрел, и увидел, как упал Кошкин. Однако он тут же приподнялся и выстрелил в куст из пистолета. Оттуда раздался крик.

— Пойди проверь куст! — приказал Соколенко саперу и подбежал к Кошкину.

— Комиссар, — сказал тот, — Прокофий, эта сволочь продырявила мне шею.

— Исмаилов! — крикнул Соколенко, — постой! — Остановив сапиенструктора, он вместе с ним осторожно перенес раненого командира к грузовику. Несколько перебинтовав командира, Исмаилов включил мотор и повел машину по лесной дороге.

Бой затихал, немцы уходили, оставив на хуторе оружие и убитых.

Стоя на крыльце избы, Соколенко советовался с Симаковым, что делать дальше — закрепляться здесь или идти вперед. Серовато-молочный свет зимнего утра уже наступал на леса. Низко над болотом вставало тусклое солнце. Оно напоминало круг мороженого масла, и на него можно было смотреть в упор, не жмурясь.

В деревню вошли два небольших камуфлированных танка. Из первого высокочил полковник Свирский и пошел прямо к крыльцу, где стояли Соколенко и Симаков.

— Ну, как дела? — весело спросил полковник.

— Запяли хутор, выбили немцев, — ответил Соколенко.

— Что думаете делать?

— Собирались здесь ночевать, но какая теперь ночевка, когда уже день скоро, а потом нельзя давать им ни на минуту опомниться. Так что будем двигаться вперед.

— Правилью, товарищ комиссар. Таков и приказ командующего, — сказал Свирский.

И Соколенко повел саперов вперед.

Шесть километров немцы откатывались без сопротивления, затем попытались закрепиться на высоте, но онять первая рота сковала их лобовым действием, вторая пошла в обхват левого, третья — правого фланга.

Минометчики, не отставая, шли за саперами. Кроме своих минометов, в бой включились трофеиные и два захваченных орудия. Саперов поддерживал огонь двух танков, и немцы откатились назад еще на три километра.

Дальше Соколенко ити не решился. Люди буквально падали на снег и спали.

Саперы двое суток не смыкавшие глаз, вступив с ходу в бой, выиграли два сражения, уничтожили неприятельский батальон и, самое главное, погнали назад немцев, которые собирались продолжать наступление.

— Мы погнали немцев! Мы погнали немцев! — эта мысль радовала, Соколенко не замечал, что произносит ее вслух.

Он приказал саперам рыть временные землянки-блиндажи. Почва была песчаная, и хотя уже стояли морозы, землянки сделаны были очень быстро. Небритый, с воспаленными от бессонницы глазами, Соколенко шел по дороге и вдруг увидел группу людей.

Разложив бумагу на ине, человек сидел и быстро записывал что-то. Было темно, и один боец, держа в руках коробку спичек, вытаскивал и зажигал одну за другой, и в мигающем свете этих спичек человек писал. Двое бойцов держали над пишущим плащ-палатку.

— Товарищ комиссар, — сказал один из них, довольно улыбаясь, — наш писатель здесь, пишет про бой у хутора!

Пишущий поднял лицо, и Соколенко узнал в нем писателя Григория Светова, работающего в армейской газете.

— Чернила в вечном пере замерзли, приходится орудовать карандашом, — сказал он Соколенку и снова склонился над блокнотом.

Глава пятая

ДЕНЬ БОРИСА КРАПИВИНА

Крапивин шел по разбитой деревенской улице. Сильно морозило, и хотелось хотя бы с полчаса отдохнуть в жарко патопленной избе политотдела, казавшейся сейчас самым уютным местом на земле. Это была одна из трех-четырех сохранившихся в деревне изб. Все политотделы, выполнив ручения и доложив об этом, собирались здесь — или чай, закусывали, делались друг с другом впечатлениями за день и спали по двое на одной койке.

На столе валялась книга «Тысяча и одна ночь» с выдраными листами и все весело смеялись, когда кто-нибудь перечитывал вслух заключительные строки последней страницы: «И сказав это, она заплакала горькими слезами и произнесла следующие стихи». Это превратилось у политотделцев в изворку, в присловье.

Но перед тем как зайти в избу, носящую гордое наименование «Политотдел», Крапивин должен был зайти к Суслову и Степаняку, чтобы доложить им, как он выполнил последнее поручение. Поручение это при всей кажущейся незначительности было чрезвычайно важным.

В частях северной опергруппы нехватало бойцов и простых, обычных трехлинейных винтовок.

Уже третий день, как войска под Эпеком, вступив во встречный бой сступающими немцами, остановили их, сшибли, заставили сначала понять что-то, а затем перейти к обороне. Но теперь усталовилось нечто вроде равнинных сил. Немцы закопались и сосредоточивали войска для массированного артиллерийского, минометного и пулеметного огня. При общем наступательном наступлении все же выдыхалось. Ни одной атаки уже не удавалось продвигаться вперед. Данные разведки и допросы

ных говорили о том, что у врага солдат намного больше. И для того, чтобы вновь вести активные действия, нужны были люди, а их-то и пехватало. И тогда политотдельцы пошли по тыловым дорогам, по обозам, по госпиталям, чтобы обнаружить осевшее оружие и людей, которые, может быть, и вполне законно, по в данной обстановке совсем неправильную находились в нескольких километрах от переднего края, в то время, когда для общего дела им полезнее было быть впереди.

За три часа Краивин собрал семь таких человек. Двое из них были в охране госпиталя, двое новозочных, у которых вражеские снаряды разбили повозки, один водитель разбитой машины и боец, отбившийся от своей части. Еще одного бойца Краивин взял у начальника АХО. Все они были вооружены. Кроме того, Краивину удалось обнаружить и извлечь из госпиталя и походной бани шесть винтовок, один полуавтомат и ручной пулемет.

Краивин поднялся по ступенькам крыльца, перед которым был водружено шест с покосившимся скворешником. В избе теперь было очень чисто. На стеле лежала полотняная скатерть с цветной бахромой, кровати были застланы байковыми одеялами. В углу кипел самовар. У входа стоял часовой. Связист с сошедшими сидел у нескольких телефонных ящиков, изредка выкрикивая: «Сабля! Сабля!»

За небольшой перегородкой, около ручного умывальника, склонившись над тазом, стоял Суслов и чистил зубы. Не замечая за этим делом вошедшего с мороза Краивина, он жалующимся голосом продолжал свой разговор со Степняком:

— Устав для наступления требует тройного превосходства си.

— По что же поделать, товарищ генерал, если у нас нет такого превосходства, и даже паоборот, а наступать все же приказано,— сдержанно отвечал из другой комнаты Степняк.

— Это весьма рискованно и для настоящего военачальника недопустимо. Эх... — и тяжело вздохнув, Суслов с треском захлопнул крышку синей жестяной коробки, рассыпав при этом на пол зубной порошок.

— Обещают, обещают резервы... А драться велят ни с чем!

Краивин прошел в комнату. Суслов вышел из-за перегородки и, продевая руки в рукава шинели, бросил на ходу Степняку:

— Я пошел, лично допрошу пленного.

Степняк сидел за столом и что-то чертил на листке бумаги.

— Так,— сказал он недовольным голосом, обращаясь к Краивину,— У тебя семья, Байдалаков достал одиннадцать, Безручко — девять, Петров — тоже семья, Арсентьев — пятерых, Колосов — четырех. Я сам шестерых пашел; другие еще до сотни собрали. Мы их сейчас же бросим к танкистам. Волков туда поедет. Танки без поддержки пехоты многоного не сделают. А вот у нас как раз и пехватает простой пехоты.

— Я думало,— тихо сказал Краивин,— что можно будет пустить в дело роту охраны БАО.

— Это мы тоже думали и, пожалуй, сегодня сделаем.

Степняк встал со стула и прошелся по рогожной дорожке, проложенной от стола к двери. Он подошел к окну и опирал синюю бумажную штору. Комната наполнилась робким светом зимнего утра. Степняк потушил лампу и с жаром продолжал:

— Нам надо действовать, действовать и действовать, не ожидая прибытия резервов. Надо поражать воображение противника, наскакивать на него

даже меньшими силами. Надо ошеломить врага, запугать, не дать ни секунд отдыха. Вот ты так и объясни Соколенко.

— Немцы перебрасывают на его участок силы с другого. Тогда мы остановим Соколенко и прикажем двигаться понтопарам за двенадцать километров направо. Немцы метнутся туда, а мы начнем на другом участке. По дороге на машины с людьми будут падать наши самолеты. Потому и дам приказ — мелкими группами выходить на немецкие коммуникации и резать их. Действовать днем и ночью! Ни минуты передышки, ни секунды отдыха немцу давать! Надо их изматывать, чтобы к моменту прибытия резервов немцы них побежали. Так я понимаю замысел командующего. Всю ночь сегодня этом раздумывал. Суслов прав: здесь кое-что и не сходится с уставом. Но что делать, если у нас нет тройного превосходства, а есть приказ: взять Эпель Я об этом разговаривал со Свирским. Он тоже так понимает приказ командующего. Вот, смотри, какая разница... Оба — академики. Один все знает умеет, а другой только знает — и ничего не умеет. Принимает сразу decision решений и не в силах выполнить ни одного. Теряется при первом же осложнении. Как говорится: «Бородка Мишина, а душонка глиняна».

Степняк остановился, вытянул портсигар из кармана.

— Да я и забыл, что ты не куришь. Так вот! Сейчас поедешь к саперам и в личной беседе объясни Соколенко приказ командующего. Объясни ему что сегодня прибудут к ним в батальон валенки, пусть немедля раздаст. Позиции шубки и ватники будут завтра. А потом, возьми с собой две сотни экземпляров газеты и раздай там. У них большие потери, и, знаешь, появилось какое-то опасное бравировование, — люди ходят не пригибаясь там, где следует проползти и когда им говорят об этом, иные отвечают: «Не все ли равно — сегодня убьют или завтра». Такое равнодушие к смерти мне не нравится. А здесь в номере большая статья Столетова о геройском штурме хутора Вехрутки. Пусть саперы видят, что о них помнят, что их прославляют, что страна будет знать их подвиги и имена героев.

— Значит, сейчас ехать? — спросил Крапивин, отгоняя от себя мысли о теплой избе, о горячем чае и мягкому тюфяке на походной койке.

— Если найдешь нужным, можешь остаться там до завтра, проведя все что я сказал, но все же лучше поезжай поскорее. Да перед тем как ехать зайди к пленным и спроси, может быть, Суслов захочет что-нибудь передать туда.

— Сабля! Сабля! — громко сказал связист.

— Товарищ комиссар, к телефону; вас требует член Военного совета.

— Пока я говорю, — на, прочитай-ка. Взято убитого обер-офицера. Весьма поучительно, — и Степняк сунул Крапивину помятый голубой кольцо.

Острymi готическими буквами был выписан адрес: «Майнгейм, Элиз Арен».

Майор не успел не только отправить письмо, но даже и дописать его. Сначала шли обычные вступительные слова. Крапивин, приученный к латинскому шрифту, с трудом разбирал рукописный готический. Дальше майор сообщал о том, что он получил второй Железный крест, и еще дальше шли строки, которые Борис прочитал дважды.

«Я был, — писал майор, — в Бельгии, во Фландрии, во Франции, в Греции, в Дании, в Валлонии, в Норвегии, в Финляндии со своими молодцами, по которым мы не встречали такого ожесточенного сопротивления, такой самоотверженности войск и населения, какие довелось нам встретить здесь. Что же защищал

щают с такой энергией и смелостью эти люди? Для меня, дорогая Эльза, это до сих пор является загадкой...»

«Ну, теперь-то вам, майор Анреп, придется разрешить эту загадку на сковороде у тойфеля», — подумал Крапивин.

— Здесь нет ничего интересного с оперативной точки зрения, — сказал он Степняку, продолжавшему разговаривать по телефону с членом Военного совета, и вышел на улицу.

Пленные содержались в помещении избы-читальни. В дверях Крапивин столкнулся с пленным — белобрысым, почти без бровей, со сломанными очками, слезящимися глазами и распухшими от холода руками; шея его была обмотана полотенцем. Дрожащий, в зеленой тужурке, он был именно таким, каким в это время уже начинали рисовать фрицев и гансов наши художники.

Увидев Крапивина, пленный вытянулся в струнку.

В полутемной комнате за столом, спиной к иконам, сидели Суслов, Свирский, переводчик и писатель Григорий Столетов. Перед ними на табурете сидел второй военнопленный, судя по нашивкам, — ефрейтор. Увидав вошедшего в комнату Крапивина, он быстро вскочил с табурета, вытянулся и, четко отдав честь, опустил руки по швам.

Это был высокий черноволосый парень с блестящими карими глазами. Руки у него были забинтованы.

— Нет, этого в нашей роте не было. Наш лейтенант этого не допустит, — продолжал он отвечать на вопрос, заданный раньше.

Свирский усмехнулся.

— Кого ни спросишь, в их роте этого быть не могло, а однако, есть и изнасилованные женщины и расстрелянные колхозники!

— Теперь ответь, — обратился к пленному Суслов, — почему ты стрелял?

— Потому что война, — спокойно отвечал ефрейтор.

— Да нет, я не о том спрашиваю, я знаю, что война — раздражался Суслов, — я спрашиваю, почему ты, когда уже со всех сторон был окружен, все-таки продолжал стрелять?

— Потому что были патроны, — также спокойно ответил немец.

Суслов оглянулся на соседей. Столетов что-то быстро записывал в свой блокнот.

Расстегнутая, набитая бумагами, полевая сумка лежала рядом с ним из деревянной лавочки. У стены рядом с лавочкой стоял книжный шкаф без дверей. Книги на полках лежали в беспорядке, стопками.

— Вот это солдат, черт побери! — И Суслов выругался. Но в его ругани Крапивин учудил оттенок одобрения.

— Товарищ генерал, — обратился он к Сулову, — я еду сейчас к саперам, не будет ли от вас поручений?

— Я поеду с вами туда, — отозвался Свирский, — грузовик уже заказан. Подождите меня. Не больше чем четверть часа...

«Значит, удастся все-таки выпить чаю», — подумал Крапивин и, выйдя из избы-читальни, пошел в политотдел. На крыльце его догнал Григорий Столетов.

— Все же матерый волк, — сказал он; и Крапивин понял, что речь идет о немецком солдате, — нелегко таких проницать. Как он сказал! «Стреляя потому, что были патроны»!

— Однакож прошибаем и прошибем, — резко ответил Крапивин.

— В этом у нас разногласий нет. Но каков солдат?

— Да что солдат? Вот именно — только солдат, окопаченный слепец, с неожиданной для себя запальчивостью сказал Крапивин. — «Стрелял потому что были патроны». Вы представьте себе па месте этого солдата нашего красноармейца. Что бы он ответил на такой вопрос немецкому офицеру? «Потому что были патроны»? Чорта с два! Разве вы не чувствуете в этом ответе желание пайти смягчающие вину обстоятельства? Нет, красноармеец сказал бы что стреляет потому, что дерется за свой народ, за свой язык, за родину, за отчество, за советскую власть! Может быть, он сказал бы другие слова, но уверяю вас, смысл его ответа был бы именно таков. Вот где можно восхищаться силой духа! А тут перед нами идиот, ландскнехт, профессионал-бандит. Да что тут!

И вдруг Крапивин сообразил, что вся горячность его ответа Столетову происходила потому, что не Столетову он сейчас возражал, а объяснял убитому майору Аирену из Манигейма суть дела, и еще спорил с Сусловым. И по этому, повернувшись к Столетову, он сказал:

— Этого в Манигейме не поймут.

— «Тут Шехерезада увидела его, залилась горючими слезами и произнесла следующие стихи», — такими словами встретил Волков Крапивина. И все находившиеся в комнате, их было человек восемь, засмеялись.

— Что же ты, дружище, опаздываешь? — многозначительно спросил Волков.

— А мне не надо, — понимая и усмехаясь, ответил Крапивин, — мне стакана горячего чая хватит, шпик ведь есть.

Крапивин и Столетов сели за стол и налили себе по кружке крепко заваренного чая. Крапивин взял с тарелки кусок шпика, острым финкой отделил свежий, розоватый, почти прозрачный кусочек и положил его на ломоть рожного свежего хлеба.

Дверь в комнату распахнулась, и вошел боец, связист Антропов.

— Разрешите доложить сводку Информбюро, — обратился он к Крапивину, четко и раздельно выговаривая слова, как бы отдавая рапорт на параде.

— Говори! — отозвался Крапивин, продолжая уплетать хлеб со шпиком.

И Антропов тем же торжественным голосом, старательно подражая диктору, приставив приклад винтовки к поску санога, стал наизусть отчеканивать слова вечернего сообщения Советского Информбюро, принятого в шесть часов утра по радио связистами. И хотя сводка была обычной, скандирующий голос Антропова создавал у всех слушающих ощущение спокойствия.

— Так! А что еще, кроме сводки, интересного передавали?

Антропов, вспомнивая, молчал минуты две, и в это время все в комнате с ожиданием глядели на него и тоже молчали.

— Да, — сказал, вспомнив, боец, и покраснел от удовольствия, — еще сообщали, что в Куйбышеве с большим успехом прошла премьера Большого академического ордена Ленина театра оперы и балета.

Сам он никогда в Большом театре не был, и сейчас его увлекало это громкое и торжественное наименование.

«Неужели еще есть где-то театры, и балет, и опера?» — с удивлением подумал Крапивин.

— Потом была очень интересная статья, — оживился Антропов и заговорил обычным человеческим голосом, торопясь скорее сообщить новость, раду-

ясь тому, что столько командиров прислушиваются к его словам, и робея от этого, — очень интересная статья... Про то, как на Украине действует один партизанский отряд, про то, как женщина-партизанка, бывшая пятысотница Евфросинья Г., подожгла сахарный завод... Как в районе Малые Шуры пустила поезд под откос...

Краинин отодвинул в сторону стакан чаю.

— А ну, ювтори, Евфросинья. Район Малые Шуры... — он привстал.

— Да, да. Все население деревни немцы угнали...

— Что ты так волнуешься, Борис? — спросил Волков.

— Я очень хорошо знаю Малые Шуры. Три года там прожил... И, мне кажется, знаю и Фросю...

И он подумал, что если бы вчера не получил письма с адресом Тани, то сейчас, после слов Антропова, — не мог бы найти себе места.

— Можно идти? — спросил Антропов.

— Идите.

У обледеневшего окна загудел кляксон и послышалось тарахтение мотора. Краинин встал из-за стола, надел свою черную шинель и вышел из комнаты.

На крыльце столл заместитель Суслова, полковник Свирский в полуушубке, и фотограф, тоже в полуушубке, с аппаратом на ремне через плечо. Фотограф приехал па рассвете на цистерне с горючим и сейчас стремился па передовые. Там было много заявлений о вступлении в партию. Надо было их оформлять. Он собирался вместе с Краининым и Свирским ехать к саперам.

Краинин узнал водителя.

— Что, получил новую машину? — спросил он.

— Какая новая, — с гордостью отозвался шофер, — по винтикам собрана из старых брошенных машин.

Это был шофер Галанов, машину которого пришлось поджечь и бросить летом, при выходе из окружения. Краинин помнил, как бесстрашно вел себя в тот день Галанов. Под огнем автоматчиков он сам поджег свою машину, а потом, отходя с разведвзводом, сдерживал белофинов. Из трех обойм, которые лежали у него в подсумке, редко какая пуля была истрачена впустую. Сейчас на лице его можно было прочитать смущение, растерянность. Рядом с ним в кабине сидела девушка — военфельдшер.

— Сидите, сидите, — остановил ее Свирский, — мы устроимся в кузове. Да что у тебя, Галанов, такой расстроенный вид? Невеста, что ли, дома изменила?

— Да нет! Вот, посмотрите сами, товарищ полковник! — и Галанов, распахнув дверцу, вышел из кабинки и, обойдя сзади грузовик, стал спускать борт.

Кузов был устлан сеном. В переднем правом углу, на старом драпом армянке лежала рыжая длинношерстная сука. Она с тревогой, страхом и тоской в умных глазах разглядывала стоящих перед грузовиком людей.

— Нашла место где щениться! А теперь не подпускает никого к щенку! — сказал Галанов, и в голосе его слышалось умиление. Видно было, как при дыхании опускаются и поднимаются тощие, ребристые бока собаки. Она жалобно взвизгнула, когда фотограф вскочил в машину и затем, оскалившись, угрожающе заворчала. Фотограф перенесся и тоскнул обратно на дорогу.

— Вот ты какое дело! — сказал Галанов и ласково посмотрел на собаку. — Удобнее места не было? Дура такая!

Собака лизнула какой-то шевелящийся около ее сосков шерстяной комок.

— Да-а-с, — тихо сказал Свирский, — однажды ехать надо.

И, словно понимая, о чем идет речь, собака отзывалась на его слова во время, обнажая большие белые клыки.

— Я ее вот как растревожу, — сказал Галанов и вскочил в кабину. Затем он запустил мотор, и автомобиль медленно проехал несколько шагов. Галанов рывком остановил его. Собака вздрогнула. Также рывком Галанов переключил рычаг скоростей на задний ход. Машина пошла назад. Встревоженная собака, вскочив на ноги и испуганно озираясь, повизгивала, не зная на че решиться. Галанов снова дернул машину и остановился. Тогда сука, бережно взяя зубами своего большеголового слепого щенка, подошла к краю машины и осторожно, мягко соскочила на заснеженную дорогу.

— Иди в дом, милая! — сказал ей Галанов.

— Иди!

— Жучка! Жучка! — кричали из избы-караулки.

Собака стояла посреди дороги, держа во рту своего детеныша, и боязливо озиралась на морозе, не зная, куда его укрыть, спрятать, чтобы было ему неудобнее, и потеплее, и побезопаснее.

— Бобка! Жучка! Сюда! Сюда! — слышал Крапивин уже и тогда, когда машина за пятой избой свернула на дорогу к хутору Вехручей.

— Поразительна эта сила жизни! — сказал Крапивин. — Война! Смерть! Бомбёжки! Холода! И тут вот эта дворняжка, оберегающая своего щенка от всего мира.

— Это ирландский сеттер, а не дворняжка, — поправил его Свирский потом, помолчав и вспомнив что-то свое, согласился.

— Да, действительно трогательно.

Миновав деревню, дорога врезалась в густой лес. Ветви ударяли по кабине, осыпая ее крышу снежными хлопьями. Сучья царапали борта грузовика. Корни столетних елей словно переползали с одной стороны дороги на другую машина, натыкаясь на них, взрагивала. Крапивин полулежал на дне кузова, опираясь спиной о стенку кабины и положив под бок пачку газет. Когда он взглядал вверх, то видно было, как вершины деревьев чуть ли не вилотную сходились над дорогой, оставляя вверху только узенькую светлую полосу. И, несмотря на то, что дорога была с обеих сторон закрыта деревьями, острый ветер от быстрой езды холода все тело. Крапивин и Свирский старались упрятать лицо в поднятые воротники, и у Крапивина воротник из лушубка начинал леденеть от оседающего пара дыхания.

— Надо накрыться брезентом! — сказал Свирский, и они натянули через головы брезент, лежавший в кузове. Под брезентом было совсем темно, и зато стало теплее.

— Когда санеры снова будут брошены вперед? — спросил Крапивин.

— Завтра, часов в десять утра, — тоном ответил Свирский и, словно продолжая давнюю начатый разговор, сказал: — Какую огромную роль играет здешний начальник к наступлению, его вера в победу, доверие к нему бойцов. Если это есть, то можно делать такие дела, которые, если судить только по количеству бойцов и их вооружению, кажутся с первого взгляда немыслимыми! Я бы мог вам рассказать, как вел себя мой вестовой во время пашёг выхода из окружения.

А впрочем, вот вам другой пример. У Халхин-гола одну часть пришлось немножко отвести назад, из-за того, что нехватало воды. Там ведь днем жарко

невозможная. Здесь воды и болот избыток, а там все паоборот — нет воды! А соседия часть держится, и даже о воде не зякается, хотя колодцев там нет и реки тоже. Рано это было еще, на рассвете. Проезжаю я мимо этой части и вижу картину, которая так поразила меня, что и сейчас, вспоминая о ней я не могу забыть удивления, охватившего меня тогда. Бойцы идут по стелл рядами, как у нас в России бывает при ручной косьбе, пригибаются к траве и поглаживают ее большими белыми посевыми платками. И так не один раз! Что за чертовщина? Я остановился и подошел разузнать, в чем тут дело? И что ж вы думаете? Оказывается, они смахивали почную росу с трав, промачивали ее платки, а затем выжимали их над котелками, наполняя росой водой, — и так выходили из положения! А почему? Потому что командир хотел встрети с противником, хотел боя! А ведь у него тоже имелось формальное основание, как и у соседа, жаловаться на отсутствие воды и этим обосновать свое бездействие. А он, как видите, не только не жаловался, а даже не считал нужным начальству доложить. Надо — значит, сделано! Ведь самое важное — это искать, искать выхода и способов, и приемов, как выполнить приказ.

Крапивин слушал Свирского и понимал, что тот не столько разговаривал с ним, с Крапивиным, сколько спорил с Сусловым.

Водитель вдруг резко затормозил, и машина остановилась посреди леса.

Крапивин быстро поднял брезент и выглянул. Посередине дороги стояла женщина и, подняв руку, просила подвезти ее несколько километров.

Водитель Галанов деловито проверил документы женщины и, высунувшись из кабинки, сказал Крапивину:

— Это райкомовский работник Степанова. Я ее знаю. Разрешите взять?

Женщина вскарабкалась на машину, и грузовик снова, громыхая всеми своими шестью колесами, ринулся дальше по лесной дороге.

Крапивин смотрел на лес. Деревья стояли тихо, не шевелясь, словно зачарованные. Как ключья ваты с блестками борной кислоты на новогодних елках, лежали на ветвях огромные глыбы снега. Мелкие елочки и пожелтевшие кусты в спешных покроях казались вставшими с земли лыжниками в маскировочных костюмах. Сквозь строй стволов деревьев справа пробивалось широкое лилово-красное пламя заката. Крапивин взглянул на женщину, севшую к нему в кузов. Обыкновенный крестьянский овчинный полутулупчик, завязанный вокруг головы шерстяной платок. Обычное русское лицо, не первой уже молодости, большие редкие морщины на лбу, мелкие частые морщины у серых глубоких глаз. Она молча сидела и, думая о чем-то своем, прислушивалась к песенке, которую вполголоса напевал фотограф:

Брала русская бригада
Галицийские поля,
И достались мне в награду
Два сосновых костыля.

Крапивин тоже слушал тихий и печальный напев и смотрел на простое и милое лицо русской крестьянки. Справа за лесом разгоралось пламя заката.

«Господи, — подумал Крапивин, — такой же закат зимою стоял над этими лесами семьсот лет назад, когда по этим местам проходили дружины Александра Невского, отставая парод, и такие же были славные и простые лица у наших крестьянок, и так же нам угрожало необытие».

И вдруг он со всей силой почувствовал свою кровную связь со всем тем, что было здесь сотни лет назад; почувствовал всем своим существом огромную

толщу и глубину времен. Такое чувство, вероятно, испытывала бы, если бы она могла чувствовать, волна на поверхности океана, ощущая под собой всю глубину его, и толщу, и силу, единой частью которой она была.

И вся борьба, которая здесь шла сотни лет,— от колчуги до буденновки,— вдруг стала для него эщущимой частью его собственной, словно начавшейся когда-то давно, никогда не прекращавшейся жизни. И Крапивин молчал, охваченный этим чувством, потрясенный его сияемостью. В этот час зимнего заката он ощущал в себе силу для совершения подвига, спокойствие при мысли о смерти и какое-то явно ощущимое бессмертие.

Степанова попросила остановить машину, и Крапивин попрощался с ней словно очнувшись от глубокого сна.

Женщина, попрощавшись со всеми, углубилась в чащу по еле приметной лесной тропе.

Третий секретарь райкома партии — Марья Николаевна Степанова уходила через линию фронта, в ту часть района, которая была занята немцами, для того, чтобы в лесных землянках рассказать крестьянам о речи товарища Сталина, прозвучавшей из Москвы вечером шестого ноября. Если бы Крапивин знал об этом в ту минуту, когда она сходила с машины, он постарался бы лучше запомнить ее лицо и простился бы с ней сердечнее.

Степанова прошла несколько шагов, увязая валенками в глубоком снегу, и оглянулась. Позади была ровная паезжинная дорога, близкие люди, теплые избы. Впереди километров двадцать зимнего, трудно проходимого леса, немецкие солдаты, холодные землянки и... Женщина глубоко вздохнула, отвела глаза от дороги и медленно пошла вперед. Через две-три минуты ее уже не было видно, и только покачивание задетых веток, с которыхсыпались снежинки, могло открыть внимательному глазу, что здесь кто-то прошел.

Грузовик подходил к хутору, у которого несколько дней назад разыгралась бой.

Машина простояла по деревянному мостику через замерзший ручей. С шиком подкатив к самому крыльцу дома, Галанов остановил ее. Это был тот самый дом, где немцы не успели досмотреть кинокартину.

На дороге и возле избы валялись немецкие каски, пробитые и целые, обрывки немецких газет, поблескивали пустые консервные банки... Немного отодвинутые в сторону, чтобы не мешали, мрачно стояли немецкие грузовики.

В избе, около которой Галанов остановил машину, теперь располагался медпункт. Приезжих встретила военврач третьего ранга Анна Петровна Коростелева. Она отдала рапорт Свирскому. Крапивин вглядывался в нее, припоминая, где же это они встречались? А Анна сразу, по описанию Соколенко, поняла, что перед нею стоит его друг — Борис.

— Здесь у нас командир батальона Кошкин, он не захотел эвакуироваться в тыл, — сказала она и пригласила прибывших в соседнюю комнатенку, немножко больше чулана. За столом сидел, с забинтованной головой и шеей, Кошкин. Увидев Свирского, он хотел встать.

— Сиди, ты же ранен! — предупредил его Свирский.

— Голову повернуть нельзя, а то бы! — мечтательно произнес Кошкин и потом заволновался: — Очень прошу, доведите до сведения командования мою покорнейшую просьбу — не надо распылять раненых санеров по различным госпиталям. Тех, что могут вернуться в строй, не надо эвакуировать далеко вглубь. Пусть полечат их где-нибудь поблизости. И я, и все хотят вернуться обратно в батальон. Зря, что ли, столько силы было положено? Ей-бо-

ту, в другом месте они будут скучнее драться, уверяю вас,— сказал он, обращая последние слова к Анне.

— Я передам, обязательно передам об этом члену Военного совета,— сказал Крапивин,— и wissenил, что, когда ему рассказали о том, что Сухарев — «бог» — жив, и он захотел его разыскать, то никак нельзя было установить, куда его эвакуировали, в какой госпиталь.

— Обязательно передам, я сам понимаю, поскольку это важно,— еще раз сказал Крапивин и взглянул на стол. На столе стояли три тарелки, из которых одна была пустая, а в двух других лежало по куску мяса. Посредине лежала падрезанная буханка хлеба. Анна Петровна перехватила взгляд Крапивина.

— Третья тарелка... это Ирохий ел. Он только что вышел, чуть не рассорился с капитаном и обратно — на перелом край — сказала Анна. — А впрочем, плохая я хозяйка — не потчую гостей. Сейчас вам тоже поесть принесу! Сию секунду. — И она быстро вышла из комнаты.

«Вот оно что,— подумал Крапивин,— значит, это и есть Анна? Ну, да, помню! Это он ее тогда падоумил, как посылки соорудить».

Кошкин тоже, как и Анна, перехватил взгляд Крапивина, но реагировал на него по-своему.

— Сейчас Коростелева принесет мясо — просто объядение! Это лось! Во время боев не эвакуировался и пал на поле брани! Ну, а мой начшроп зевать не станет. Вот вам и дополнительный приварок! Чудесный работник! А Анна Негровна! Если бы вы видели, как замечательно она работает. Честное слово! Беззатетная женщина.

Кошкин никогда не упускал случая расхвалить хорошую работу своих товарищней и подчиненных.

— А из-за чего вы с комиссаром ссоритесь? — спросил Крапивин.

— Да так, па исторические темы. Он говорит, что в литературе о прошлой войне все внимание сосредоточено на Карельском перешейке, и все, кто не был па войне, думают, что только там война и шла. «На Петрозаводском направлении и па берегу Ладоги было не менее поучительно,— говорит он,— и напрасно об этом нигде не печатают». А я говорю: «Значит, так надо». Он и рассердился. В общем — вот и все разногласия. А па сегодняшнем этапе мы едины, и лучшего комиссара мне не найти. Да вот вам и лось!

— Зачем же вы. Я хотела, чтобы они сами догадались, что это, — сказала Анна, ставя на стол котелок с лосиной.

— Спасибо, пам надо идти к Соколенко, — сказал Свирский, — мы не можем задерживаться!

— Тогда возьмите с собой в дорогу.

Анна быстро сделала бутерброды с мясом, завернула их в бумагу и положила в карманы Свирскому и Крапивину.

Грузовик провез их еще полтора километра вперед. Теперь совсем близко раздавались выстрелы. Из-за дерева вышел часовой и сказал, что дальше пет проезда.

Предстояло пройти по тропе около километра, неся с собой в пачках армейскую газету.

Они пошли след в след.

Надо было перейти через ручей, по льду. Около самой тропы чернела небольшая прорубь, и вокруг нее было очень скользко от нарощенного льда.

— Хорошо бы напиться, — сказал Свирский, — только как зачерпнешь?

— А вот! — Крапивин увидел граненый стакан. Он стоял на краю проруби, и на прозрачном стекле его у края поблескивали ледышки. На землю опускался холодный вечер, но берегам ручья стоял густой лес, казалось, на самым ухом раздавалась оглушительная дробь пулепета — и вот... около проруби на льду стоит небольшой граненый стаканчик.

Свирский зачерпнул воды из ручья.

— Кто его здесь поставил?

— Известно, кто же, кроме старшего политрука, комиссара Соколенко, — ответил Крапивину сопровождавший их боец.

Они взобрались по откосу на берег и, пройдя шагов двадцать, сгибаясь в три погибели и начиная шипеть мерзлым сыпучим песком, заползли в землянку Соколенко.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — встретил он их, когда, еще не освоявшись в темноте, они решительно не могли разобрать, откуда идет голос.

В песчаной стенке землянки, около самого входа, было выкопано углубление, в котором потрескивал небольшой костер. Он немножко согревал воздух по сильно чадил, а так как Свирский и Крапивин закрывали собою выход то дым стал быстро распространяться по землянке. Крапивин закашлялся.

— Да сядь же ниже. Тогда лучше будет!

И, послушавшись Соколенко, Крапивин пагнулся и затем устроился дальнем углу землянки, куда его подозвал Соколенко. Глаза постепенно свыкались с полутьмой землянки, стало видно, как, весело потрескивая, сгорают на костре ветки, и сизым туманом вверху под бревнами настила плавает дым. В землянке находилось еще несколько человек. Они расположились впритык. Трудно было найти между ними местечко, чтобы поставить ногу. Некоторые спали сидя, прислонившись спиной к мерзлой песчаной стене. Один из командиров спал, растянувшись на хвое, устилавшей землянку, подложив под голову несколько гранат. Неподалеку раздавались громкие орудийные выстрелы, и при каждом таком выстреле по стенке струйками сбегал песок.

— Саперы, саперы! — с укором сказал Свирский. — Землянки какие у вас неуютные.

— Некогда уютнее делать, — отозвался Соколенко, — наступаем ведь, меняем позиции не в обороне находимся!

— И то правда! — согласился Свирский, устраиваясь на место, которое уступил ему лейтенант Симаков.

Чтобы поговорить без свидетелей, как того хотел Крапивин, он и Соколенко должны были выйти из землянки. Уже темнело, где-то недалеко раздалась автоматная очередь. Совсем близко пронизали воздух голубые трассирующие пули.

— Ложись! — сказал Соколенко, и сам упал в снег около куста.

Так, лежа в снегу, они и вели беседу между собой. Крапивин передал Прокофию все, о чем говорил ему Степняк.

— Правда ли, что твои люди стали отчаянными?

Соколенко подтвердил.

— Вот надо раздать им газету, и потом я хотел бы поговорить с ними.

— Сейчас нельзя, все сият. А те, что не сият, работают. Утром наступаем. Но тебе, пожалуй, с восьми до десяти утра хватит времени для переговоров!

Они лежали рядом в снегу, и, разговаривая, Соколенко склонял голову к Крапивину.

Борису было неудобно лежать на боку... Что-то твердое в кармане упиралось в тело. Он повернулся и лег вверх спиной, вытащил из кармана две кашки «Базбека» и отдал Соколенко.

— Теперь запомни и передай и Степняку и командованию то, что я скажу, — продолжал Соколенко. — Надо отдать точный приказ, чтобы при наступлении, когда будут захватывать трофейные грузовики, немедленно открывали краники и выпускали воду из радиаторов. А то мы, преследуя немцев, забывали это делать. Вода замерзала, разрывала радиатор, блок, и вместо одиннадцати машин на ходу, мы получили кладбище моторов. Потом вот что: люди, уходя в бой, пишут заявления о вступлении в партию и в случае, если их убьют, просят считать коммунистами. Как давать о таких сведениях в списке потерь — входят ли они в число погибших коммунистов или нет? Формальный момент здесь очень важен, но пусть учатут при ответе и психологическую сторону дела! За валенки скажи спасибо, в самый раз! Ну, а остальное видишь сам. Беседы проведешь утром, — повторил Соколенко и посмотрел на небо.

В высокой и густой синеве поблескивала одипокая звезда.

— Когда пойдут наши самолеты, буду передний край обозначать серией белых ракет, как ты говоришь. Только проследи, чтобы прислали еще, а то старые уже на исходе.

И совсем не изменения тона, неожиданно для самого себя, Соколенко сказал:

— Знаешь, Борис, я женился на Аине.

Он не мог сейчас не сказать другу о своем счастьи.

Прокофий искоса взглянул на товарища. Крапивин, задумавшись, молчал. «Все это, может быть, надо было отложить до конца войны, — думал он, — а может быть, Соколенко прав, и любить надо тогда, когда любится. Ведь мне же не мешает любовь».

Наоборот, когда Крапивин думал о Татьяне, о том, что она должна была оставить свой дом и работу и уехать, когда он думал о том, что его дочурка находится в оккупированном немцами городе, — все в нем собиралось в какой-то мускульно-нервный клубок, и он мог в эти часы работать без сна, без отдыха, за двоих, за троих. Мысли о горе близких не расслабляли его, а наоборот, укрепляли. И сейчас, лежа под кустом на снегу, запомниая все, что сказал Соколенко, и глядя на далекую мигающую звезду, рядом с которой национали мерцать другие, он молчал.

— Спать будешь на хуторе, — помолчав, сказал Соколенко. — В землянке и места нет и ни к чему. И так, с утра я тебя жду, а сейчас поговорю со Звирским и тоже постараюсь заснуть немножко.

Крапивин пристально посмотрел на Прокофия. На лице Соколенко была четырехдневная щетина, лицо его выглядело очень усталым, и под красными, воспаленными от бессонницы и дыма веками пристально из-под стекол очков глядели совсем молодые и счастливые глаза.

Когда Крапивин подходил к избе медпункта саперного батальона, было уже темно и только изредка вспыхивали зарницы далеких неслышных оружейных выстрелов.

Укладываясь спать на полу и присосабливая под голову вместо подушки ту лабитую бумагой полевую сумку, Крапивин вдруг сказал Аине, которая вошла в комнату с большими черными часами в руках.

— А я вас знаю! Помните, как Соколенко учил вас носилки делать?

— Помню, — ответила, вся вспыхнув, Анна. — Вы лучшие скажите, как вам нравятся мои новые часы? Трофейные! Мне их ребята из немецкого автомобиля выломали. Мои испортились, приходится с этим чудовищем нулы выслушивать.

Заведя огромные часы с черным циферблатом и белыми цифрами и поставив их на столик, она сказала:

— А я вас тоже знаю. Вы медвежонка в рюкзаке прячете!

— Это Ирокофий вам сказал? — застеснялся Крапивин.

Как-то Соколенко, по ошибке, вместо своего открыл рюкзак Крапивин и изумился, увидев там плюшевого мишку...

— Что это? Для чего тебе?

— Видишь ли, — смущаясь, признался ему Крапивин. — Мне все кажется, что я встречу дочурку, вдруг, неожиданно, ведь до сих пор не знаю, где она и вообще жива ли? Так вот, тогда я смогу ей сразу подарить какую-нибудь игрушку. А потом, признайся, ведь этот мишко очень симпатичный!

И Крапивин запрятал тогда плюшевого мишку с пуговичными глазами глубже в рюкзак.

— Вы давно женаты? — спросила Анна у Крапивина.

— Семь лет. Я был тогда начальником политотдела МТС, а она приехала на практику. Только что окончила агрономический институт. Она приехала увлеченная идеей яровизации, — вы знаете что-нибудь об этом? Штет? Жаль. Стоит знать такие вещи. Так вот она с головой ушла в борьбу, которая разгоралась в агробиологии. Все в их группе работали, как одержимые. Я знал я смотрел на нее, слушал, что она говорила, и как она работала. И это помогло мне в моей научной работе. Впрочем, вам это, наверное, не интересно.

Борис замолчал.

В тусклом свете фитиля контилки, сделанной из консервной банки, неясно проступали закопченные доски потолка. Лежа на спине и следя за колеблющейся узорной тенью паутины в углу у самого потолка, Борис вспоминал первые дни своего знакомства с Татьяной.

Крапивин вспомнил, какой в те дни была Татьяна — с косынкою на голове, в туфлях на босу ногу, веселая, задористая, неутомимая, готовая избить всякого, кто сказал бы ей о неизменности гена и усомнился в ее любимом учителе Лысенко. В ней была неиссякаемая жадность к жизни, и, может быть, именно за эту жадность полюбил ее Крапивин. Впрочем, ему все правилось в ней. Она даже досадовала, когда, примеряя платье, спрашивала, к лицу ли оно. Он отвечал:

— Конечно!

Татьяне это казалось шуткой, желанием сказать приятное. Но что же он мог сделать, если и после нескольких лет совместной жизни каждый день с ней казался ему таким, как первый. И когда он возвращался домой с лекции или заседания и не заставал ее, он ощущал квартиру свою словно опустевшей, и до тех пор, пока она не приходила, не мог ничем заняться. Но всего этого он не сумел рассказать Анне и поэтому показался ей и скучнее, и сущие, чем был на самом деле.

Да и как могла она представить, что, говоря о том, как труд Татьяны и ее товарищей по науке привлек через хаты-лаборатории огромные массы кол-

зников к научному творчеству, он, думая и говоря об этом, все время видел длинные делитки, пашни, на которых зеленеют посевы озимой пшеницы, и Татьяну, которая, наклонясь, показывает ему неисчислимые оттенки зеленого цвета различных сортов пшеницы. А он и многие другие даже не замечали никакой разницы в цвете! Зеленые и зеленые, вот и все! А оказывает сколько разного в этом живом зеленом цвете. Вот травинка светится, словно зеленое пламя, а вот рядом другая — матовая, третья — темнее... Нет, словами этого не объяснишь! Особенно, когда рядом стоит Татьяна — в холстиковом платье, такая загорелая и деловая.

Не знала Анна, что, говоря с ней, он вспомнил Евфросинью Гонибес, живую на сырой испаханной земле — эту красивую черноглазую девушку. Впрочем, где теперь Фрося, где теперь ее небывалый урожай свеклы! Все погибло или сожжено! Да и жила ли она? «Наверно, все-таки она и есть та девушка, о которой говорил Антропов», — снова подумал Крапивин.

Анна тихо лежала на походной койке и, наверно, думала о своем, и странно было Крапивину, засыпая, слышать, что где-то, как в раннем детстве, в домике отца — путевого обходчика, за печкой ведет свою деловую однообразную песню сверчок.

Глава шестая

НОЧЬ АЛЕКСЕЯ БАЙДАЛАКОВА

Вращаясь, грохотали барабаны бетономешалок. Крепкие железные прутья арматуры были изогнуты, как и полагалось. Плотники ладили доски для опалубки. Стоя на узкой доске, проложенной на высоте четвертого этажа, Байдалаков с удовольствием наблюдал за ловкой работой опалубщиков. К тому моменту, когда будет готов бетон, будут готовы и деревянные формы, след которых навсегда останется на шершавых ветвях балках бетонных перекрытий.

Байдалакову нравился труд плотников. Ему по душе был и труд кровельщиков, и каменщиков, и маляров, и арматурщиков, и землекопов. Ему доставляло удовольствие видеть, как на пустыре возникает сложная неразбериха железных путей, котлованов, куч песка, гравия, ребусное переплетение железной арматуры, — и знать, что из всего этого выйдет стройное здание, такое, как оно возникло сначала в голове строителя, с точностью до одного шага, до одного дюйма.

Это вновь построенное здание войдет в жизнь тысяч людей. С него будут начинаться воспоминания детства многих мужчин и женщин, в нем будут жить, работать, наполнять своей жизнью и делом тысячи людей, несколько поколений. У широкого подъезда его на улице будут простиавать часами назначенные здесь свидания влюбленные. Может быть, они залибуются этими высокими наличниками и скажут: «Как это красиво». А может быть, в мухах расставаясь друг с другом, они навсегда проклянут эти прямые линейные контуры карнизов и колонн.

И Байдалакова из всех работ больше всего увлекала его собственная работа — организатора инженера-строителя, без которого мысль осталась бы только мыслью, а материал только материалом.

И поэтому сейчас, стоя на узкой пружинящей доске и с удовольствием

наблюдая работу плотников, он то и дело торопил их — боясь, что к тому времени, когда будет готов бетон, окажется, что какая-нибудь доска еще прибита.

Бетономешалка грохнула еще раз, сильнее, чем обыкновенно... На стенах задребезжали чашки, и Байдалаков проснулся. Его толкал в бок батальонный комиссар Безручко. И это не бетономешалка грохотала, а работала зенитная и совсем близко разорвалась бомба.

— Вставай, — сказал Безручко, — нас с тобой требует комиссар Степняк.

Степняк, переваливая с ноги на ногу свое огромное массивное тело, был похож на медведя в берлоге.

— Вот, — сказал он товарищам и показал на большие четвертные тыли с водкой, стоявшие на столе. Их было шесть штук. Рядом с бутылкой лежало несколько больших розоватых кусков шпика. — Так вот, посажен сейчас, немедля, в шестой стрелковый полк, тот, что взаимодействует с танками на переднем крае. Вылейте там порциями эту водку и шпик для утоления питания. Ознакомьтесь с настроениями и обстановкой, проведите разведывательную работу. Тема: только вперед, ни минуты спокойствия врагу! Кто вернется, доложите мне. Так вот, берите. Только, смотрите, не разлейте.

— Товарищ комиссар, — сказал Безручко, — возить водку и раздавать по порциям — это обязанность старшины, а мы все же такие старший полк составе.

— Как старшему полгосоставу вам бы следовало знать, что спереть нужно выполнить приказание старшего начальника и лишь потом его можно обжаловать...

— Ну, раз дело пошло так, — покорным голосом, в котором он, однажды не мог скрыть досады, сказал Безручко и, не закончив фразы, стал приживать куски шпика так, чтобы их было поудобнее нести.

— Скажи, а как дела у саперов? — спросил Байдалаков.

Каждое сообщение, каждое слово о саперах он ловил с живейшим интересом. Он провел со своим батальоном всю войну с белофиннами и по войне целый год своей жизни целиком отдал саперному батальону. И теперь, оторванный от него, он живо переживал все, что говорилось о давних питомцах.

Байдалаков немного стеснялся, что задает такой вопрос, стеснялся, влюбленный стесняется спросить о жизни покинувшей его возлюбленной.

— Саперы! Прекрасно! Прекрасно! Наступательный порыв! Ренквист немецкого танка бил! — охотно отвечал Степняк.

— Молодец! — сказал Байдалаков, представляя себе этого неуклюжего голубоглазого паренька, — а мы его считали недисциплинированным.

— Кошкин ранен. Не беспокойся, легко.

— Ну, а как он с новым комиссаром сработался? — подняв бутылку, спросил Байдалаков и замер в ожидании ответа.

— Прекрасно сработались. Лучше трудно придумать, — весело ответил Степняк и подал последнюю четверть.

— Ну, вот и чудесно, — сказал Байдалаков, — и сердце его сжалось, хотя и очень уважал Соколенко и хотел скорейшей победы и взятия Энсена, но ему было бы приятно услышать, что Соколенко с Кошкиным не сработались, и тогда, может быть, слова вспомнили бы о нем.

— Ну, вот и чудесно! — еще раз повторил он, выходя из комнаты.

— Ты смотри, — крикнул ему вдогонку Степняк, — не разбей бутылек. Ты ведь у дивизионного примете — не поверит, что разбил. Опять подумает — выпил.

И снова жгучая обида ворвалась в сердце Байдалакова. Обида эта была тем горше, чем яснее Байдалаков сознавал, что вина, которую ему приписывают, просто противоречит всем его привычкам. Так вышло в его жизни, что он ни разу не был пьян, чувствовал к водке отвращение.

В тот злополучный вечер у него очень болел зуб, и Кошкин посоветовал ему подержать на зубе водку, которая, по его заверениям, действовала отлично. В течение полутора часов перед тем, как его вызвал к себе член Военного совета, Байдалаков полоскал водкой рот. Когда его вызвал к себе Краснов, он торопливо выплюнул водку и почти бегом отправился в штаб. Входя в кабинет, он вспотыхах запутался ногами в дорожке и, споткнувшись, очутился совсем рядом с дивизионным комиссаром.

— Дохните на меня! — приказал Краснов.

Байдалаков был снят с батальона. Он от обиды чуть не заболел. И вот тут Степняк напомнил ему то, что он в напряженной работе так старался забыть.

Байдалаков с трудом сдержал себя, чтобы не выругаться.

Как только Байдалаков и Безручко выехали из деревни и повернули направо в лесок, навстречу им выскочил из-за угла на стрекочущем трофейном мотоцикле младший лейтенант и скрылся снова за поворотом, успев только крикнуть:

— Бахтадзе везут!

Водитель замедлил ход машины. Навстречу, медленно и плавно обходя сугревые рыхвины, двигался броневик. На подножке Байдалаков увидел Волкова. Водитель пододвинул грузовик к обочине, чтобы он не мешал броневику, и заглушил мотор. Байдалаков выскочил из кузова. В кабине, на мягком сиденьи, рядом с водителем, стояли четвергные бутыли. Броневик тоже остановился. Волков легко соскочил с подножки и пошел навстречу Байдалакову.

— Леша! — тихо сказал он, — Леша, горе — Бахтадзе убит! — и он указал рукой на броневик.

Сверху на броне, привязанное ремнями, чтобы не скатилось, лежало тело майора Бахтадзе.

В темных сумерках вечернего леса особенно торжественным казался этот печальный кортеж — медленно идущий по снежной лесной дороге броневик с распростертым на броне телом убитого командира.

— Как убит?

— Я передал ему то, что приказал Суслов, — сказал Волков. Он сейчас говорил медленнее, чем обычно. — Майор только скжали губы и сказал: «Хорошо!» Потом пошел на передний край, прогнал корректировщиков и сам взялся за корректировку. Оказывается, оттуда ничего не было видно, и они корректировали наобум. Тогда он выполз вперед. Прополз чуть ли не до самой деревни, впереди всех был, и корректировал так удачно, что артиллеристы с закрытых позиций со второго выстрела уничтожили один ДЗОТ, потом, через три выстрела, — второй. Потом поднялась пехота и взвод, который я привел. Одним словом теперь деревня наполовину наша.

— Ну, а как Бахтадзе убили? Не томи душу! Говори толком.

— Он прошел вперед. Там должна была отправляться прушила в тылы, чтобы

окончательного отрезать Шомушку и еще три деревни от немцев. А лейтенант, который командаёт этой группой, как на грех, ранен, вчера эвакуировали его: «Я их сам поведу! — сказал мне Бахтадзе по телефону, — так и передай Суслову: либо грудь в крестах, либо голова в кустах; либо полковник, либо покойник!» — и повесил трубку. И через двадцать минут снова мне звонят оттуда и говорят: «Больше нет нашего майора на свете!» Любли его бойцы. Гордый он был. Беда!

И Волков, махнув рукой, снова ткнулся на подножку броневика.

Он стоял на подножке медленно идущего броневика и глядел в спокойное лицо Бахтадзе. Задетые веткисысыали снег из брони, на тело, на лицо майора, и никто не смахивал этих случайных хлопьев с застывшего смуглого лица.

Через час Байдалаков и Безручко доехали на машине до того места, дальше которого ехать было нельзя. Надо было сходить с машины и еще с километр итти по лесной тропе до пункта, обозначенного на карте.

— Чорт побери! — выругался Безручко, — довольно трудно будет добраться теперь с этими бутылками до роты! Спить же, тут и погибнут в полную меру.

— Да, что и говорить, отморозишь себе все десять пальцев из лосяти возможных! Но взялся за туж, не говори, что не дюж, — тоже недовольно пробурчал Байдалаков и припяялся снимать грузные и холодные бутыли с шоферского сиденья.

Освободившись от груза, шофер развернул автомобиль и повел его обратно.

На зимней дороге остались Байдалаков и Безручко со своими шестью четвертями и брусками сала.

Бутыли выскальзывали из рук, и если исти их сразу все, то можно было разбить.

— Каждый возьмет по две, — предложил Безручко. — Пронесем их по ста метров, а за оставшимися двумя пойду я, и опять движем дальше. Следующие сто метров ты за оставшимися четвертями пойдешь.

— Ладно!

По промети так им пришлось всего один раз. Поджидая возвращения Безручко, Байдалаков услышал за спиной своей какое-то посасывание. Он вздрогнул и стал вглядываться. Из ветвей высунулась лошадиная морда, невдалеке послышалась голоса. Байдалаков разинул кусты. Лошадь стояла на месте, выраженная в сажи. В нескольких метрах от ровальной был на скорую руку, устроен шатал из еловых ветвей. Байдалаков осторожно заглянул внутрь, там при свете ручного фонарика (для того чтобы он светил, надо было непрерывно снимать и разжимать ладонь) один босц, прислонив винтовку к дереву, стриг другого, притворялся:

— Десять лет, как я парикмахерствую. Всю Старую Руссу стриг, но такого народа, как повозочные, нигде еще не встречал, — он поднес машинку для стрижки ко рту и подышал на нее.

— А чем плохи повозочные! — обиженно отозвался второй боец, не переставая сжимать и разжимать рычажки фонарика.

— Как чем? Нет, ты, вижу, совсем не входишь в мое положение. Я, вогоньных дел мастер, обязан всю свою роту под нулевку подстричь, а младший комсостав под второй номер? Ну, так вот! — и он снова с ожесточением прижался за свое дело.

Полстриженные волосы темными хлопьями падали на снег.

— Всех я стригу во-время. За свою роту душа спокойна. А вот повозоч-

ные — то там, то здесь. Как за них ответишь? А отвечать надо. Военное дело есть.

— Конечно, военное, — отозвался повозочный, — вот потому-то мы все время и в разгоне. Рассею не охота иногда самому в немца выстrelить? А времени нет — все в разгоне.

— Ну, если б разумение было, так, приехав в роту, сами бы пришли же. А ведь не было еще такого случая! Вот и приходится таскать с собой машинку, и где встретишь повозочного — останавливай и стриги! Да свети! свети, чорт! — прикрикнул парикмахер на повозочного, который увидел заглядывающего в штаны Байдалакова и отпустил фонарь.

Оказалось, что я поцвода и парикмахер сейчас отправляются к избе лесника, где расположилась рота, но парикмахер, боясь подвоха со стороны повозочного, решил, не дожидаясь прибытия на место, воспользоваться своими прерогативами и постричь его немедля.

— Теперь у меня душа за всю роту спокойна! — сказал он, сбрасывая последний клок выстrelенных волос и сдувая с лезвия машинки примерзшие волосы.

— Не дерет ведь? — с гордостью спросил он.

— Нет, спокойно берет, — подтвердил повозочный, — только боюсь, как бы ты, Бомба, мое головы не застудил. Это мы все его так зовем: Бомба и Бомба, — одним словом потому, что всегда готов взорваться человек, такой характер. А еще его зовут: парикмахер из Старой Руссы, — сказал повозочный Байдалаков и, одобрительно смеясь, пошел к своей лошади.

— А поглядите, какие условия работы, — горделиво сказал боец, пряча в сумку противогаза машинку, — какова мастерская?

К шалашу подошел Безручко с остальными бутылями. Их погрузили на сани, и через четверть часа все были у темных строений хутора.

— Стой! Кто идет? — остановил часовой и, узнав своих, пропустил.

С трудом разгоняя тьму, в избе горела небольшая керосиновая лампочка с разбитым и заклеенным закопченной бумагой стеклом.

— Здравствуйте! — сказал Безручко, втихомидя в избу бутыли.

— Здравствуйте! — уныло отозвалось несколько бойцов, расположившихся поближе к двери.

Теперь было видно, что некоторые из них в полутемне заняты чисткой винтовок.

— Кто здесь командир? — строго спросил Байдалаков.

Один из бойцов осторожно тронул за плечо человека, сидевшего за столом. Тот сжал, уронив голову на руки, положенные на стол, и спал.

— Товарищ младший лейтенант, — сказал боец, — вас спрашивают.

Но младший лейтенант и не пошевелился.

— Трое суток без сна, понимаете, товарищ комиссар? Четвертые сутки спали, вот и притомился, — любовно сказал боец.

— Назавчера командира роты убили, — мюзинил, выступая из темноты, второй боец. — Сегодня должны были идти на задание — политрука ранило. Приехал майор кавказский, хотел вести нас вместо политрука, — так и его убило. Остался из командиров один младший лейтенант на всю роту. Он часом спит и поведет нас. Вот какие дела!

Младший лейтенант пошевелился, приподнял над столом голову, прокусывая что-то и снова уронил на руки голову.

Байдалаков подумал: «Нет, ему нельзя идти сейчас по тылам. И потом, нужно, чтобы и здесь оставался командир; так что поведу я, карта у меня есть».

— Вот, товарищи! — сказал он, устанавливая бутыли на стол и кладя рядом с ними бруски сала. — Вот, товарищи, вам прислано для усиления питания.

— Какое уж тут усиление, — сказал первый боец, — когда двое суток горячей пищи не получаем!

— На сухарях и кипятке сидим, — мрачно сказал другой и снова троих за плечо сияющего командира.

— Не то нас начальство забыло, не то наш собственный повар полные штаны от страха наложил — одним словом, питания нет, — отозвался красноармеец, кончивший чистить винтовку.

Он вложил шомпол на место, подошел к столу и жадным взором оглядел запотевшие бутыли с водкой.

«Вот какое положение», — подумал Байдалаков и, не отводя в сторону выбившийся из-под ушанки и мешавший ему вихор, громко сказал:

— Это стало известно командующему. Дело будет немедленно расследовано и виновные понесут соответствующую кару взыскания, но пока, чтобы подкрепить вас, командующий приказал нам доставить в роту эту водку и шашлык для бойцов.

В комнате наступило оживление, изо всех углов выступили люди и приблизились к столу, на котором высилась батарея утюлей.

— Кто старшина? — спросил Безручко. — Сколько народа налило? По списочному составу надо поделить, — строго сказал он и взглянул на Байдалакова.

«Молодец», — подумал он. — Какой блестящий выход нашел! Духоподъемный даже! Да он настоящий политработник!»

— Две бутыли и кусок сала — в запас, для тех, кто идет на занятие. — скомандовал Байдалаков и отошел от стола, возле которого начитал священнослужить старшина, извлекший откуда-то стопку с нанесенной на нее птицей делений. Раскупорив бутыль, он наклонил ее и, наполнив стопку, поднес к чадившей лампочке, чтобы проверить деление.

— Да что там смотреть, правильно, — одобрил его первый боец.

— С таким командующим не пропадем! — отозвался другой. — Вот думай: сидим здесь в лесу, в снегу, и никому до нас, кроме Сталлина, и дела нет, — а па самом деле всюду настоящие люди, оказывается, есть!

— Ну, я думаю, теперь тем, кто виноват, не сдобривать, — убежденно сказал третий.

— Об этом, товарищи, может не беспокоиться, — отозвался Безручко, — я сам все расследую и прослежу за этим.

«Вот и хорошо», — подумал Байдалаков, отходя от стола, и спросил:

— Кто здесь с майором Бахтагзе до последней минуты был?

— Я, — тихо отозвался низенький боеп, все время безмолвно стоявший у самой двери. Он стоял так и даже не подошел за водкой к столу, около которого столпились бойцы.

— Это товарищ Грунь, мы с ним при майоре неотлучно состояли, — сказал один из бойцов и, опрокинув в рот стопку водки, подошел к Байдалакову.

О Грунне, как о бесстрашном и умелом разведчике, Байдалаков уже знал из нескольких политдонесений, поэтому он с большим интересом слушал и раз-

глядывал его. Это был корепастый и короткий, как и его фамилия, человек. Широкое, скулластое, молодое, совсем еще безусое лицо и малый рост делали его похожим на подростка, хотя ему было уже двадцать лет. Разговаривать он не умел и, рассказывая, то и дело шмыгал носом.

— Майор сказал, что сам нас поведет. Это, конечно, большая была радость, и мы пошли. Должны были бы в дальний обход идти, чтобы наверняка пройти, а майор человек горячий, ему побыстрее хотелось. Вот мы и пошли прямо по лощине, а нам навстречу заговорили — врать не буду — враз шесть пулеметов. Сосны были очень тонкие. Мы залегли за сосновами и повели огонь. Ну, и было же! Пули прямо за шинельку цеплялись.

Грунь замолчал.

Стоявший рядом боец в такт его рассказу покачивал головой, и хотя Грунь замолчал, он продолжал все покачивать головой.

Байдалаков взглянул на него и увидел, что из кончиков его усов поблескивали скатывшиеся слезинки.

— Майор выбрал сосину, спрятался за ней и начал бить спачала с колена по амбразуре немецкого блиндажа, — вдруг снова заговорил Грунь, — а потом — куда ни шло. Враз выпустил два диска! И немцы из блиндажа стрелять перестали. Слыши у, как майор заругался: «Чорт возьми, диски израсходовал!» И тотчас вставил он двадцатипятизарядный рожок. Пока вставлял, я стал вести огонь. Приткывал майора. Он был метрах в десяти от меня, впереди. Выпустил я обойму. Оглянулся. Смотрю, а он голову на правую руку склонил — и замолк: в голову попало. А мне не верится. Сердце у меня — врать не буду — остановилось. Даже винтовка из рук вывалилась, честное слово! Рядом со мной Ильиников лежал. Переглянулись мы с ним — и он пополз к майору. Убили его, врать не буду! Потом сержант Постоянко и еще три бойца двинулись к майору. Проползли десять метров — сержанта ранило в челюсть. Тогда я пополз к майору. Позади наши поддерживали меня огнем. Я полз... Я маленький — в меня попасть нелегко. Вижу я, навстречу, к телу майора, из-за деревьев пять немцев подбираются. Их поддерживают из шести пулеметов. А у наших диски израсходованы, и у меня — врать не буду — не знаю как, магазин отлетел. Посмотрел я назад — никого своих не вижу. А пули прямо припихивают к земле. Думаю, пусть лучше меня застрелят, а я все равно без майора жить не буду. Вы не знаете, что для меня майор значил! До некоторой степени отцом родным был. Впрочем, тогда я этого и не думал, это теперь я так понимаю. А тогда я одно знал — ползти! И вот, я первый подполз к майору, схватил его автомат с непочатым рожком, и, куда ни шло, всех этих пятерых, которые к майору ползли, приткочил. Вытащил майора к своим!

И Грунь снова замолчал. Молчал и Байдалаков, очень живо понимая, почему бойцы так любили Бахтадзе — за его ловкость, храбрость и требовательность.

— Он все по-настоящему объяснял, — сказал об убитом командире второй боец, — завсегда дух подымает. Скажет: «Если ты в разведке чихнул или кашлянул, значит ты — врагу помог», — и всем ясно.

Тут снова заговорил Грунь. Сегодня, против обыкновения, ему хотелось говорить.

— Теперь, знаете, словно половины меня нет! Никогда в жизни такого не было. Я думал, может, он ранен... Нет! Теперь мне — врать не буду — что жить, что умереть — все равно. Кажись, с охотой отдал бы жизнь за него.

И вот, видите, как вышло! — и Грунц развел руками. У него перехватило дыхание.

— Теперь, — сказал второй боец, — мы все силы приложим к тому, чтобы отомстить за него. Чтобы помстили немцы, кого они убили.

Он замолчал, и Байдалаков увидел, как опять в усах его осталась грязь, бежавшая по небритой щеке слезника. Грунц тоже шмыгнул носом.

— Сегодня у нас будет возможность отомстить за майора, — сказал Байдалаков.

— Спасибо, товарищ комиссар, — в один голос отзовались оба разведчика. Байдалаков подошел к Безручко.

— Работа распределяется между нами так, — сказал он, — ты расследуешь безобразно с горячей пиццей, вытягиваешь по возможности это дело на мое, а затем едешь в штаб, сообщаешь о положении, и пусть немедленно идут с двух командиров на роту.

— А ты что будешь делать?

— А я пойду выполнять с ними задание. Не дам сегодня немцу спокойно спать! Я-то сам днем часа три послал.

Байдалаков разбудил маленького лейтенанта, в точности разузнал задание, разостлив перед собой его карту, перевел с нее цветными карандашами в свою разведдлино рас положение частей и точек противника. Расположение сухих запрещалось наносить на карту, надо было держать его в уме.

— Дайте-кась я вас неред делом побрею, товарищ комиссар, — сказал Бомба.

Байдалаков прошел ладонью по щекам: изрядная щетинка.

Парикмахерская лежала в погребе для хранения картофеля. Посреди стояла самодельная лечурка. Около нее — небольшая вязанка дровеца. На стенах висел плакатик: «Температуру поддерживает очередной клиент».

После бритья Байдалаков собрал людей, идущих с ним, и через десять минут они вышли.

Шли гуськом, след в след. Впереди Грунц, за ним — парикмахер из Старой Руссы — Ельцов, по прозвищу Бомба, Байдалаков и с ними еще человек нацать. Грунц едет быстрее по форме, — как воина, когда уходил в разведку в короткой темной шинели и собственных, присланных из дома, валенках сапогами.

— Здесь свернем, — сказал он Байдалакову, — если дальше прямо по дну — опять на шесть пулеметов нарвемсяся.

Они свернули с тропы и стали прокладывать новую. Итти по снегу, лесу, темной ночью, было трудно.

Байдалаков шел пятый, стараясь все время попадать в след идущим переди.

Байдалаков шел и вспоминал Бахтадзе, лежащего на броневике, вспоминал рассказ Груния и его слезы, и потому, что он сам любил этого веселого грузина, он все старался себе представить, что виделось в последнюю секунду жизни Бахтадзе: наверно, вершина блестающей снегом горы, а может быть, холода вода родника, протекающего у виноградника? Мне бы, наверно, агривидетом последнюю секунду плывущее по Денису бревно сплава, розовое в розовой воде в час заката, и мать, теребящая лен... Или нет: коровы, гремя боталами уже пришли из стада, и мать сидит на чурбашке и теребит сосы Пеструх и тугие струны парного молока бьют в жестяное дно подойника... и опять

все небо летнего северного заката, и звенящая песня комара над самыми ухом. Вот что припомнилось бы мне. А впрочем,— спохватился Байдалаков,— ведь же несколько раз мне казалось, что до моей глубокой лунки не больше трех минут ходьбы, и что же тут я вспоминал? Но он никак не мог вспомнить, были ли у него в эти, казавшиеся последними, минуты какие-нибудь другие мысли, кроме того, как сделать так, чтобы удержаться, не уступить сразу,— потому что всего нестерпимее и злее на свете была мысль о том, что враг может восторжествовать и посмеяться над ним. И, будучи не в состоянии вспомнить свои переживания, он видел только кусты бруслики на кочках около своей гозовы; или свежую, черную, поднятую бомбой землю воронки, и так странно смотрящие вверх корни трав; или куски голубого леба и горящие рушащиеся балки объятого пламенем дома.

И тогда он снова вспомнил горбоносое лицо Бахтадзе, и его собственная обида, которая часа два тому назад заслоняла от него почти весь мир, при этих мыслях становилась все меньше и меньше, как будто размывалась почтным сумраком, как фигурки сзади идущих красноармейцев.

— Ну и что же, что меня обидели? — говорил себе Байдалаков. — Тоже обида! С батальона сняли! Ведь мне оставили и право и возможность воевать, как и всем товарищам моим, против гитлеровцев, и все меня считают товарищем, а для многих я еще и начальник. Так в чем обида? И кому нужна она? Кому нужно, чтобы я был обижен? Члену Военного совета? Нет. Он хотел, чтобы батальону и Красной Армии было лучше. Армии нужно, чтобы я был обижен? Нет, ей не нужно этого. Мне нужно чувствовать обиду? Да нет, это мешает мне жить и работать. Но тогда почему же я, сознательный человек, продолжаю мучиться этой обидой и зол, зол на члена Военного совета? Ведь все это явная чепуха.

И действительно, он продолжал злиться на Краснова, но чувство обиды с каждым шагом, приближающим его к дороге, занятой немцами, становилось все меньше и меньше, и присущее ему чувство юмора настолько входило в свои права.

«Вот уничтожу сотню-другую немцев, вот возьму две-три деревни — тогда поговорим!» — подумал он в ту минуту, когда к нему подошел Грунь.

— Здесь, — сказал он, — вот кривая сосна!

Отсюда Грунь пошел вместе с парикмахером из Старой Руссы и еще одним бойцом вправо к деревне, находившейся в полутора километрах от разбросанной кривой сосны, формой своей напоминавшей огромную лиру. Остальной отряд направлялся влево, на дорогу, по которой все время шло движение немецких автомобилей и отрядов.

Миновав присыпистые бревенчатые бани и выйдя через боковой проуловечек на деревенскую улицу, Грунь снял красную звезду со своей фуражки, прислонил к пletине десятизарядную винтовку и, сразу утратив воинский вид, вразвалку пошел по главной улице.

Часовых он не встретил. Они были расставлены на концах деревни по дороге.

Грунь шел по улице, заложив руки в карманы и нащупывая кончиками мерзнувших пальцев грани нарезок ручной гранаты. В одном кармане у него была лимонка, в другом — перчатки из термитной шинки.

Снег покрустывал под его ногами. Пустые избы мрачно смотрели черными глазницами окон. В иных избах окна были забиты досками, и сквозь це-

ли пробивался тусклый свет, ложившийся тоненькими лучиками на засенченнный частокол плетня.

Возле одной избы на Грунья залаяла собака. Грунья остановился, погрозил ей пальцем. Собака поджала хвост и забилась под крыльцо.

У большой шестиоконной избы, окна которой были забиты досками, Грунья остановился и стал прислушиваться.

Изнутри доносился громкий разговор немецких солдат.

Грунья медленно поднялся на крыльце, осторожно отворил скрипнувшую на ржавых петлях дверь, вошел в темные, холодные сени.

Разговор стал слышнее.

Грунья, приподняв щеколду, отворил дверь и вошел в комнату. Стоявшие на столе около окошка две стеариновые свечи тускло освещали избу. Увидев свечи, Грунья подумал: «Уж не покойник ли злесь?» — и снял шапку. За столом и на лавках вдоль стен сидели немецкие солдаты. Грунья отыскал в краю углу икону тихвинской богоматери, почитаемую в этих местах, и, разглядывая исподобия находившихся в комнате людей, стал истово креститься. Рядом с иконой висели пустые рамки. На лавке, под иконой, трое солдат в нижнем белье играли в карты, один чинил белье.

— Зибцих! — торжествующе сказал один из солдат. И закрыл своей картой лежавшую перед ним карту противника.

— Дрей уц фригих, — отозвался другой и громко зевнул.

За столом два солдата сидели над листками бумаги, углубленные в письмение, даже не взглянули на вошедшего.

«Пишите! Пишите! — подумал Грунья. — Только напрасно стараетесь — и получат дома ваних писем».

Он повернулся к печи. На ней разместилась группа солдат, они курили, другой душивший табак и о чем-то громко болтали.

Увидев, что несколько немцев вскинули на него глаза, Грунья сделал шаг к нему от порога и жестом попросил табаку на закурку.

Немцы, сделав вид, что не заметили или не поняли, что означал этот жест, отвернулись. И только один из них, рослый рыжий детина, нагло улыбнувшись, провел пальцем у себя под носом. Этим жестом он хотел сказать, как совершенно беззубично попял Грунья: «Утри сначала нос!»

Другой немец недовольным голосом что-то сказал рыжему детине и повелительно показал Грунью на дверь. И этот интернациональный жест, обозначавший: «Убирайся вон!», был правильно расшифрован Груннем. Притворившись обиженным и чуть было громко не сказал: «Я, вот, вам утру нос!» — Грунья повернулся и пошел к выходу, заложив руки в карманы, готовый каждое мгновение, чуть что, внезапно обернуться и метнуть гранату.

— Wir müssen ihn verhaften, — сказал кто-то из немцев.

— Aber es ist ein kleiner Knabe! — возразил ему рыжий детина, рядом с которым Грунья действительно казался малышом.

А Грунья в это время в сенях, заложив дверь на засов, зажигал термитную шашку и подкладывал ее под деревянный бруск порога.

Сделав это, он вышел на улицу. Снова собака выскоцила и залаяла на него.

— Девятнадцать штук! Там их, жучка, девятнадцать фрицев! — сказал он и погрозил пальцем.

За минуту, которую Грунья провел в избе, он успел быстро подсчитать всех находившихся в комнате немцев. И несмотря на то, что только одну мы

был он там, все им увиденное,— и склоненные над письмами солдаты, и унтер, свесивший ноги с печки, и поблескивающий очками солдат, и всякий детина, достававший головой до притолоки, и даже их голоса, и как они сидели, выглядели и говорили,— на всю жизнь запечатлелось в его памяти.

К тому времени, когда он взял прислоненную к плетню винтовку, из избы, подымаясь к высокому, прятавшемуся в тучах месяцу, уже валили столбы дыма. Услышались громкие выкрики на немецком языке. Грунь усмехнулся: «Это им за майора!»— сказал он и, пройдя по проулку, зашел за бани и, обогнув деревянной стороны высокий стог сена, прикрытый сверху снегом, вошел в рощу. В это время он услышал с другого конца деревни короткий винтовочный выстрел.

«Это, наверное, Бомба орудует,— подумал Грунь,— Ну, что? Кто кому носит?!

Он не ошибся,— услышанный им выстрел принадлежал Ельцову.

Вместе с товарищем Бомба нашел избу, где находились немецкие офицеры. Не петрухи было обнаружить, хотя бы потому, что около крыльца все время прохаживался взад и вперед немецкий часовой. Он поеживался от холода, прильвал ногами в сапогах с короткими голенищами раструбом и хлопал ладонями по бокам, стараясь согреться.

Время от времени он стрелял по сторонам, для того чтобы подбодрить себя и показать командирам, что он не дремлет, и напутать врагов, если они недалеко.

Из щелей плохо замаскированных окон выбивался пучок света, в нескольких шагах от крыльца стояла легковая машина. И Ельцов явственно слышал, как в избе играет патефон.

— Сволочи! «Стеньку Разина» играют!— сказал он.

Прототянутая в снегу через приусадебный огород тропинка вела к дощатому чулану — отдельно стоящей уборной.

Свежие, свежие следы,— радуясь, сказал Бомба,— внимательно разглядывая тропинку.— Вот это то, что нам надо.

Товарищ Бомбы сразу понял причину его радости и снял с плеча небольшую мину, которую взял с собой. Почти у самой уборной, на тропе, они, не тронувшись, поставили мину и присыпали ее свежим снежком. Затем, кусая губы, чтобы не засмеяться, пошли, таясь за плетнями, прочь от этого места.

— Здорово получится!— сказал товарищ.— Пойдет утром офицер по большой нужде — а тут как ахнет!

— Да, как говорится, ладила баба в Ладогу, а попала в Тихвин,— отозвался Бомба и тихо засмеялся в рукавицу.

Часовой попрежнему ходил перед избой. Десять шагов в одну сторону, десять в другую.

— Мучается от холода, сволочь!— сказал Бомба.

— Пристрели его, чтобы не мучился!— отозвался товарищ.

Бомба утвердил свою винтовку между двумя жердями плетня и, медленно дулом винтовки вслед за движениями часового, стал целиться, затем нажал спусковой крючок.

Раздался выстрел, тот самый, который услышал Грунь,— и часовой упал. Чадая, он два раза стукнулся головой о ступеньки крыльца, и, не выну-

ская из рук винтовки, так и застыл. А Бомба и товарищ его, ускорив шаги, пошли к намеченному месту сбора.

Сделали они даже большие, чем было им приказано.

Стало совсем темно. Большие бесформенные облака закрыли месяц. А тем — словно разорвались какие-то воздушные перины, рассыпая сверху числый, неистощимый снежный пух. Стало немножко теплее.

Когда Грунь дошел до группы Байдалакова, Бомба с товарищем уже там.

Байдалаков кончал минировать дорогу. Восемь мин были расставлены шахматном порядке. И, глядя на то, как валился с неба снег, Байдалаков дрожал снегопаду, так отлично скрывающему от врага следы их ночной боты.

Грунь доложил ему о поджоге избы-казармы.

— Отлично, благодарю от лица службы, — сказал Байдалаков. — Чисто лано! И вам спасибо, — сказал он Бомбе с товарищем.

— Не за спасибо служим, товарищ комиссар! — отозвался Ельцов.

«Значит, скоро надо ждать гостей на дороге, они бросят подмогу Шоку», — подумал Байдалаков и приказал бойцам сойти с дороги, отойти метра на двенадцать в глубину леса и вести наблюдение.

Сам он тоже пошел вместе с ними и залег в снегу.

Снегопад все еще продолжался.

— Холодно, черт побери! Как бы согреться? — тихо сказал один из бойцов.

— Интересно, почему, когда в соломе спишь, — холодно, а в сено — греться, — тепло... Вот бы сенца добыть, — мечтательно отозвался другой.

— А ты знаешь, Смирнов, как логу всю зиму от одной вязанки дров было? — строго спросил его Бомба.

— Не знаю.

— Того и опо, что не знаешь. А вот как было дело. Скаредный бывал — денег много, а все жалко! И спросил он у одного умного человека, сделать, чтобы на отопление поменяще тратить? А тот ему и пообещал, всю зиму с одной вязанкой жарко будет, даже потно. «А как?» — спрашивал скадюга. «А вот как!» — надо сказать, что люди жили на четвертом этаже «Возьми, — говорит, — вязанку дров и держи у себя на кухне. Как тебе стыдно, взвали ее на плечи и спеси вниз, а затем подьими на четвертый этаж так делай раз, и два, и три, пока согреешься. Вот живи так, и тебе зиму с одной вязанкой жарко будет».

— Ишь ты! — выхихнуло сказал боец. — Ловкий выдался!

— Тише! — раздраженно прикрикнул на них Грунь. — Тише, слышь!

— Я ведь говорил, — отозвался Бомба, — если на дорогу вышел и залег — всегда уха будет.

Вдали послышалось гудение автомобильных моторов.

Байдалаков увидел, как из-за поворота показались два броневика, два ка и огромное четырехугольное тело многоместного автобуса. Раздался взрыв.

Шедшая впереди бронемашина подорвалась на мины и остановилась. И что в то же мгновение раздался второй взрыв, со стальным скрежетом свислая гусеница танка. Танк загорелся. Огненные языки осветили остановившись на лесной дороге колонну машин, деревья, похожие на оперную декорацию.

И тут Байдалаков не выдержал, какая-то непреодолимая сила заставила

ть и, крича, бросить бутылку с воспламеняющейся жидкостью в автобус, котором, ему казалось, должны были находиться солдаты. Лежавшие рядом солдаты вскочили и, объятые тем же чувством, крича, высыпали гранаты в горящую машину.

Новенький голубой автобус загорелся. Из горящей машины и подорвавшегося танка выскочили солдаты. Байдалаков дал по ним очередь из автомата. Рядом с ним тоже стреляли. Немцы, выскочившие из танка, ушли на снег дороги. Из горящего автобуса, из дверей, из окон, прыгали люди. Остальные танки и троевики повернули свои орудия и пулеметы в лес и открыли огонь.

«Эх, ошибку я сделал, что не с обеих сторон дороги расположил людей», — подумал Байдалаков.

Он прилег, прячась за ствол многолетнего дерева от траассирующих пуль, падающих стежками голубого и розового шелка на черном сатине ночной вымы.

Совсем рядом с ним, скрепя и треща, упала подкошенная снарядом вершина березки.

«Надо отходить, здесь больше нечего делать», — решил Байдалаков и склонил Груню, очутившемуся рядом с ним:

— Нередай по цели, отходим к краевой сосне.

Груня передал Бомбе, Бомба — товарищу, и так пошло дальше.

Через час у краевой сосны собрались все. Байдалаков сам сосчитал. Всех было налицо двенадцать человек — столько же, сколько и вышло. И не было раненых, только у одного по лицу текла кровь: лоб его был глубоко оцарапан.

По всему лесу раздавался гулкий грохот артиллерийской, пулеметной и ружейной стрельбы.

— Слышишь? Немец свой мешок развязал, — сказал один боец, — он с пистолетом по пустому месту садит! Снаряды расходует! Так его! Так его! — и он застонался.

— Знаешь, что, Бомба, — сказал боец, мечтавший о сне, — я починце твоего испы, и без всякойвязанки, взорвал весь.

«Да, — думал Байдалаков, — двенадцать душ, а дело свое сделали исплохо, и притом никаких потерь. А ежели бы рота здесь была, так и дел не больше бы сделали, а убитых не меньше десятка пришлось бы выносить».

— За мной, товарищи! — скомандовал Байдалаков.

Ему приятно было думать, что сегодня ночью на всех дорогах, ведущих от леса к немецким частям, срудуют десятки таких же мелких групп, отрезая обозы, склоняя избы, где расположились на почлог немецкие солдаты, взрывая мосты, не давая ни минуты спокойствия врагу.

Таков был замысел командования. Остановив немцев, не ожидая, пока подступят ищущие к ним с востока резервы, мелкими группами тревожить, изматывать, окружать противника, не давая ему притти в себя. Мелкие группы красноармейцев просачивались из дороги, занимали там оборону, и немцам приходилось собирать против них кулак и вести наступательные операции. Байдалаков был восхищен точностью и ясностью, с которой командующий определил тактику борьбы за Энск. Сначала остановить. Это уже прошло. Затем наступать методами обороны, заставив врага обороняться методами наступления. Численное превосходство врага сводилось при этом к нулю... Затем, когда подойдет пополнение, удар и штурм — это впереди!

Шагая по лесу, Байдалаков слышал, как идущий впереди, рядом с Евьем, Грунь тихо объяснял товарищу:

— Я всегда люблю в такое дело идти, потому что я лесной человек. Я тебе наизусть слова Чапаева скажу, — помнишь, в нашей газете *Наша Печать* напечатаны? Я выучил. «Одному хорошо против семерых воевать. Семи против одного трудно. Семерым нужно семь бутров для стрельбы, а тебе один бугорок всегда найдешь, а вот семь бугорков найти трудно. Ты о лежи да постреливай. Одного убьешь — шесть останется. Двоих убьешь — пять останется. Когда шестерых убьешь, то один должен сам напугаться тебя и заставь его руки вверх поднять и бери в плен...» Вот!

И Грунь замолчал, не один раз он повторял эти слова товарищам, и каждый раз они потрясали его.

Через час они вышли к дороге, в двух километрах от того места, по которому враг продолжал еще вести сосредоточенный огонь. Они поставили на дороге две оставшиеся мины и опять залегли в снег.

— Теперь будем окапываться, чтобы не взяли нас днем, — приказал Байдалаков. И бойцы принялись копать. Байдалаков тоже копал себе окоп. Молодой лейтенант выбралось удобное, песчаное. Снег шел хлопьями, сразу прикрывал белой пленкой свежеоткопанный рыхий холодный и рассыпчатый песок.

На дороге никого не было.

Снегопад прекратился. И зарозовел снег на дороге. Байдалаков понял, что пришло утро и наступает новый день. Как быстро и незаметно прошла ночь! Байдалаков отдергался от работы и поднял голову. Около его окопа стоял молодой лейтенант, тот самый, которого ему стоило таких трудов разбудить, чером.

— Товарищ старший политрук! — сказал он. — Прислан из штаба по командир и новый политрук в роту. Меня послали командовать сюда, а просят обратно в штаб. — И он вскочил в окоп.

— Спасибо за отличный окоп, — искренно поблагодарил он Байдалакова. Лицо у него было молодое, выспавшееся.

Байдалаков попрощался и пошел обратно по своим следам.

К избе штаботдела в Сароже Байдалаков подъезжал одновременно с Краивиным.

Оба они остановили свои машины около красной деревянной пирамидки воздвигнутой на свежей насыпти могилы, на развилке дорог. На светлой глине обструганной дощечке иссияя-черной тушью было выведено:

«Здесь почонялся павший смертью храбрых в боях за свой парод, за свою родину майор Бахтадзе!»

Оба они обнажили головы.

Через несколько минут, войдя в избу и сняв полушубок, Байдалаков уселся за стол против Краивиных. Наливая себе стакан чаю покрепче, он сидел, нависарий на глаза, и сказал:

— Борис, у меня к тебе большая просьба. Скажи комантующему, я объявил, что вода послана лично им! И если он будет сердиться, заступи за меня. Иначе нельзя было. — И Байдалаков начал рассказывать Краивину всю историю.

В комнату вошел Антропов, со стуком поставил приклад на пол, к которому торжественным голосом произнес:

— От Советского Информбюро. Вечернее сообщение.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Подъезжая на машине к деревне Бор, вдыхая чистый морозный воздух, Крапивин испытывал чувство, которого он давно уже не испытывал и которое он не мог назвать иначе, как радость. И в самом деле, было чему радоваться: командный пункт оперативной группы переносился вперед. Пусть всего только на шесть километров, пусть, выполняя этот приказ командующего, Сусюк ворчал, пусть до Бора, куда перебирался командный пункт, долетали артиллерийские снаряды врага, но самое главное, но самое главное — командный пункт передвигался вперед! Впервые для Крапивина, за всю войну, командный пункт в своем передвижении не отходил назад, а выдвигался.

«Эту дату обязательно надо будет записать в дневник; сегодня же запису: тактика наступления методами обороны принесла свои результаты», — думал Борис.

Расставшись со Свирским, пошедшем в новую избу штаба, Крапивин направился в полиготдел. Кроме часового, у входа там никого не было — все в разгоне, выполняли свои задания и лишь часа через два, к полночи, должны были собраться.

У крыльца, рядом с часовым, стоял связной Петин. Крапивин сразу узнал его. Вчера, когда приехавшая партийная комиссия разбирала заявление Петина о вступлении в партию, оказалось, что одна рекомендация недействительна, потому что давший ее убит, и Крапивин сам написал недостающую рекомендацию, упомянув о своей встрече с Петиным у переправы.

Они поздоровались.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Крапивин.

— Жду фотографии, — ответил Петин. — Фотограф тут мне делает. Обещал вынести... Для кандидатской карточки необходима... — и, смутившись, он вдруг спросил: — Правда, что у меня нет никакого внешнего вида?

Шапель его действительно в одном месте подгорела, тесемки ушанки не были завязаны, болтались.

— А что?

— Да вот фотограф говорит, что у меня нет внешнего вида, — с сокрушением сказал Петин. — Ай, посмотрите!

Крапивин посмотрел на небо.

Высоко, во всю огромную ширину темного неба, вырастали светлые, перекосящие друг в друга языки. Они светились каким-то призрачным внутренним светом, и дрожали, и трепетали, и все росли и росли. И все на небе было огромным, светлым и непонятно волнующим. В первую секунду Крапивин даже не сообразил, что это такое, изумился, хотел спросить — и вдруг догадался: северное сияние!

И как всегда, когда он видел что-то не виденное раньше, Крапивин вспомнил Татьяну и подумал: «Хорошо бы показать ей это необычайное зрелище».

— Таня! Таня! — вслух сказал Крапивин, не отрывая глаз от переливающегося на небе света. И вдруг совсем близко застремился мотор, и около избы полиготдела остановился мотоциклист.

— Из почтово-полевой станции, просяли передать письма! — сказал он. — В полиготдел опергруппы.

Краивин взял объемистый пакет, залепанный печатями, и сердце забилось.

«Нет, мне еще рано получить ответ, — подумал он. — А если есть? И тогда я начну верить в приметы».

Борис быстро вошел в комнату. Как и в торопце избы в Сароже, так и этой новой избе на столе стояли жестяные кружки и чайник. И все казалось точно таким же, только на месте, где там был водружен пузатый комод, здесь стоял двухстворчатый шкаф. Краивин распечатал пакет и быстро стала перебирать вложенные в него письма. Были письма к Соколенко, к Волкову Байдалаеву, Свирскому, десяткам других людей — и только для негоничего. Но вот у него перехватило дыхание, он увидел серый конверт и свое имя и фамилию, выведенное певыработавшимся, похожим на детский почерком. Это было письмо от Тани. Он жадно прочитал обратный адрес. И вдруг ему показалось, что в комнате еще кто-то есть, и словно послышалось глубокое дыхание. Уютная керосиновая лампа ровно освещала горницу. Краивин оглядел ее. Несколько не было.

«Первы шалят», — подумал он, вывернулся фитиль, чтобы лампа светила ярче, надорвал конверт и жадно стал читать письмо.

«Дорогой мой Борька. Глупенки ты мой! — писала Татьяна. — Какое счастье, что мы снова нашлись! Эта война такое несчастье, у меня было столько горя!»

«Как всегда, караулданином пишет», — думал Краивин, читая строчки, написанные мятой рукой.

«...Я потеряла Надюшу — она осталась в Виннице, у бабушки. Я потеряла тебя. Иногда, когда казалось, что мы уже никогда не увидимся, не встретимся и я не увижу твоих глаз, не услышу у самого уха твоего взволнованного дыхания, шепота, — я лежала в постели целые ночи с сухими глазами, не в силах заснуть, не в силах плакать, и тогда мне не хотелось жить. Сколько раз в этих переездах с места на место, в теплушках, в грязи стационарных зачинов хотелось остричь свои волосы — только мешают зря; но я вспоминала, что ты любишь завиток за левым ухом, и за это прощала моим волосам все неудобства и разрешала им жить».

Краивин переревнул страницу, он чувствовал, как сильно бьется его сердце. Он заглянул в конец письма и обрадовался: еще целых восемь страниц!

«...И всегда, каждую секунду жизни моей, ты был со мной, в мыслях моих, в сердце, в памяти. Спала ли я, работала ли я, читала ли — все, все для меня было полно тобой. Борька, все напоминало тебя, и мою тоску. И вдруг письмо от Андрея с твоим адресом и через три дня записочка от тебя. Ты знаешь, когда я получила эту записку, я весь день была как опалась. Уж на что Трофим Денисович поглощён работой и своими мыслями, и то замечтал и спросил, что со мной. Тут-то я и объявила, что ты нашелся. Он очень обрадовался и велел передать тебе привет. Он очень хорошо помнит тебя, просто удовольствие было поговорить с ним о тебе».

«Да, мне самому это было бы очень интересно», — подумал Краивин, вспомнил слегка худощавого, сутулого человека с глубоко запавшими, тусклыми блестершими глазами и тонкими губами. Он разделял татьянин восторг перед Лысенко.

«...Ты просишь, чтобы я подробно рассказала тебе обо всем — как я жила

что думала, что делала за месяцы нашей разлуки. Вот и видать сразу, что ты глупицьши, хоть и доцент... Ну, как это все расскажешь? От долгоносика мы спасли свеклу, и когда подумашь, что урожай достался немцам, то просто руки в кулаки сжимаются. Но я думаю, что такие люди, как Фрося и Генибес (он помог мне выбраться, но сам, кажется, там остался), че дадут врагу воспользоваться урожаем».

Раздался звук взрыва. Мелко задребезжали стекла окна и задрожали стены избы...

«Снаряд разорвался метров за триста отсюда», — не отрываясь от письма, подумал Краливин.

«...Остальное время мое было занято работой под руководством Трофима Денисовича. Ты знаешь, случилось такое, что если бы я прочитала в книжке, я бы не поверила. На одной из станций вдруг увидела я с платформы Лысенко. Он стоял в вагоне, прижав острое, строгое, простое лицо к стеклу окна, и о чем-то думал. Никогда я не видела его таким опечаленным. Ты, конечно, представляешь себе, как я обрадовалась этой встрече! Я вломилась в вагон и дальше уже не отставала от него. Он тоже обрадовался встрече. Ты понимаешь, он с нами, учениками, да и со всеми разговаривает так, словно все мы — Лысенко и сразу понимаем и видим то, что видит и понимает он. А еще его считают надменным, заносчивым и гридицкой! Вот идет наш поезд по бесконечной равнине, я по обе стороны такой изумительный травостой и бескрайние ливы, и из остановок даже слышно, как жаворонок заливается. И уже давно никаких самолетов и бомб с неба, никто не боится. А он стоит у окна и смотрит, смотрит, и мы видим, что он печален. И на каждой станции молча шагает к полу, выгребает былинку, смотрит и снова идет к себе в запыленное купе и молчит. А потом, когда я подошла, он спрашивает:

— На Украине в этом году пропал наш хлеб?

— Пропал, — говорю, — и свекла тоже. И работа наша с долгоносиком пропала.

— Ну, нет, до тех пор есть советская власть, — наша работа прошлость не может, — говорит он, — по хлеб Украины пропал. Какой нам остался? Сибирский. Теперь посмотрите за окно, что же это такое?

И, положив локти на пыльную раму открытого окна, он выглянул наружу. Вокруг стояли густые, необозримые хлеба...

Ты ведь знаешь, что он всегда скажет что-нибудь и ждет, чтобы собеседник его выслушался по этому же поводу, и как ребенок радуется, когда собеседник скажет то же, что думает он сам, а еще больше, когда подскажет то, что он не заметил, или даже опровергнет его. Вот я и сказала:

— Сибирский хлеб спасет нас.

Он недовольно отмахнулся от меня и сказал:

— Для этого мы должны сначала его спасти! Посмотрите, какой он зеленый!

И впрямь, вокруг была сплошная зелень. Такая свежая зелень — не то что до весной спелости, зерги было далеко и до молочной. Многие хлеба только зелели. У нас, на Украине, разве только в начале мая такие хлеба бывают, а мы ехали в середине августа.

Весна здесь была поздняя и дождливая. Посевы в Сибири и Северном Ка-

— Да, — сказал Донат. — Все это не успеет вымерзнуть, все вымерзнет. Здесь в Сибири, в начале сентября всегда бывают сильные заморозки.

Достали метеорологические справочники. Ранние сентябрьские морозы за все последние шестьдесят лет.

— Чтобы сибирский урожай спас нас, — сказал Лысенко, — мы сначала должны его спасти. И если не мы, люди науки, то кто же?

— Но чем же может помочь здесь агробиологическая наука? — спросил я. — Ведь мы не в силах отодвинуть сроки заморозков, а зерно уже в земле смотрите — какой хлебостойк, и пересеять и повлиять на него мы не можем.

— Вот об этом и надо подумать, — сказал он. И два дня думал в своем купе.

Приехав на место, мы начали работу. Надо было заниматься анализом температур и осадков. Если бы мы ошиблись — пропадал урожай года! Какой урожай! Какого года! Стало ясно, что в этом году, если не будет чуда, урожай погибнет от мороза. И вот мы начали с 16 августа косить на небольших делянках далеко еще недозрелую пшеницу. Трофим Денисович срезал ради своей спелости хлеб и смотрел. Обмолачивали, сушили на воздухе зерно, и обыкновенных крестьянских печах и в термостатах, и получалось, как и предвидел Трофим Денисович, что хотя зерно было на вид сначала совсем зеленое, потом только зеленоватое, но и для размола и на всхожесть и как семенное оно удовлетворяло всем требованиям. Это мы выяснили в неделю, но какая это была неделя! Как мы работали! Так, я себе представляю, шеверное, быва в бою. Но если не так, ты не смеялся надо мной. Но когда мы это выяснили, тут-то и началось самое трудное. Трофим Денисович выступил и посоветовал уборку начать в конце августа, с наиболее зрелых массивов, а начиная с этого сентября скашивать все участки, независимо от состояния их зрелости. Ну, тут началось.

— Недобор зерна от этого будет, потому что и само оно меньше и щупленько... А вдруг заморозков не будет, тогда спишем такой урожай, какой дедам не снился.

Главный агроном говорит:

— А будут заморозки, что тогда?

А ему говорят в ответ:

— Здесь никогда зеленый хлеб не косили.

А пока эти разговоры идут, время и того быстрее движется. Трофим Денисович — в общем, там поставил вопрос резко, как он умеет. Если надо, он Сталина дойдет».

«Как я его узнаю, — подумал Крализин, — ученый другого склада в лучше случае стал бы ждать заданий от правительства, а этот сам волнуется народным делом, преодолевает все рогатки, ежели, психические надолбы и дает народу то, что надо».

Он снова переложил листок письма.

«...Когда встретимся, я тебе все подробно расскажу, как мы по районным колхозным активам ездили со спонсами и зернами. Ты бы меня не узнал, такой я стала агитаторшей. Хлеб-то ведь для бойцов!

И вот районный актив пригласил Трофима Денисовича к себе. А он говорил: «Пусть лучше ко мне на станцию приедут».

Ну, и приехали. Он, конечно, сразу, как у него водится, повел их в поле. Идут мимо участка одного. На вид совсем зеленый массив в тридцать га.

— Можно косить такой хлеб?

— Никак нельзя, — совсем еще зеленый, — отвечают ему.

— А хотите такой хлеб в закромах иметь? — и из кармана пиджака вытаскивает пачку жмепю зерна.

— Да, хотим! — дружно отвечают все.

— Так вот, зерно из этого же массива. — Подвел к выкощенному уже участку. Он в самой середине массива был. Участок плохо был скопен, привки остались. Но даже и это на пользу ему пошло — нагляднее было.

— Да у нас еще более спелые хлеба есть, — сказали колхозники.

И вопрос был решен.

Должна тебе сказать, что там, где начали убирать 5—10 сентября, получили хороший хлеб; кое-где доходил он в валках. Спасли урожай. А там, где не послушались нашего академика, там пришлось послушаться морозобоя... Вот, родной мой, какая у меня была жизнь за время разлуки с самыми любимыми мною людьми. Ведь я не только хлеб сибирский помогла спасать — и он меня тоже от тоски смертной спасал».

В эту минуту вдруг со скрипом распахнулись дверцы шкафа, и оттуда вышел человек. Крапивин вздрогнул, выронил листок и положил руку на открытую кобуру.

— Кто это? Кто здесь прячется! — спросил он.

— Не беспокойтесь, это я, фотограф!.. У меня в шкафу лаборатория. Знаете, иначе негде приютиться — ни проявить, ни отпечатать... А я тут одному товарищу обещал, — извиваясь топом вывалил фотограф. — Снимите руку с кобуры!

Крапивин улыбнулся. У него отлегло от сердца.

— Предупреждать надо! — строго сказал он. — А то мог бы и пристрелить пленороком. Идите, там вас Петин дожидается.

Фотограф заторопился.

Снова задрожала стена и задребезжали стекла.

— Слышите, как кладет! — сказал фотограф и вышел.

«...Прости, родной, что такое длинное письмо вышло, так хочется побеседовать с тобой о самом близком и дорогом, дай высказаться! — продолжал читать Крапивин. — Следующие письма будут короче. Сделай, ради бога, все, что можешь, чтобы узнать про Надюшу и маму. Может быть, ты что-нибудь знаешь про них, тогда напиши. Лучше знать самую страшную правду, чем так изнывать в безвестности. Крепко, крепко целую тебя и убеждена, понимаешь — убеждена, что мы встретимся и будем живы и здоровы и будем торжествовать победу. Только ты себя там, пожалуйста, береги. Чавечно твоя Таня.

Р. С. Матковский и Талицкий на фронте. Презент в Ленинграде. Говорят, геройствует. Остальные работают здесь. Чем занимаемся сейчас, об этом в следующем письме.

Р. Р. С. Теперь в Сибири и Северном Казахстане уже не страшны поздние весны и ранние заморозки. Родные, бейте сильнее немцев!»

«Да, своей работой лысенковцы и колхозники Сибири тоже напосят контрудар немцам!» — подумал Крапивин, вздохнул, сложив листки в конверт, и спрятал его в шолевую сумку.

— Девочка моя, Наденька! Надюша, где ты, что с тобой сейчас?.. — прошептал он. Он почему-то был уверен, что когда получила письмо от

Тани, что и с Надей будет все хорошо. Он живо представил себе дочь с короткими толстыми косичками, как она, заложив за щеку мошанье, бегает из комнаты на улицу, чтобы вытащить изо рта леденец, и, пришившись на свет, полюбоваться и самой удивиться, какой он стал прозрый. Дома бабушка запрещает ей делать это.

Он вздохнул и стал перебирать письма. Надо поскорее вручить. В столько от них радости может быть и счастья! Вот Маруся, вот Свирску — я сам отдам. И это, в третий взвод Н-ского полка, четвертой роты красноармейцу Степану Пьяных, я тоже сам передам. Как раз туда еду.

Он собрал письма, вложил их в полевую сумку и вышел на крыльце. Попрежнему пахало великолепное северное сияние, то было теперь в двери Крапивина что-то утешительное, простое и радостное.

Да и как же могло быть иначе, когда в один день произошли такие вещи, как перенос вперед командного пункта, письмо от Тани.

И под северным сиянием, низко, казалось над самой землей, вдали вспыхивали зарницы орудийных выстрелов, но звук их доходил сюда щелчущим.

Глава восьмая

ДОРОГА НА ЭНСК

Крапивин взглянул вниз и узнал дорогу, идущую по скату к реке.

Вот у того камня, прикрытоего теперь шашкой снега, которая делала из него похожим на белый гриб, были убиты Фадейкин, Вологда, Белоцерковский.

Вглядываясь в противоположный берег реки, скованный толстым ледяным панцирем, Крапивин снова явственно ощутил то притподнятое настроение, в котором он пребывал последние дни, и воспоминание о погибших в этом месте товарищах только укрепило это настроение. Еще бы! Там, еще так недавно они отдали свои жизни для того, чтобы задержать врага, сегодня враг прилагал все силы, чтобы не дать нам наступать. А мы наступаем! С юга от Энска в бой вводились прибывшие с Урала свежие часы отлично вооруженные. Они готовились к штурму Энска. Но и северная охрана продолжала настойчиво делать свое дело.

И теперь Байдалаков и Крапивин были уполномочены штабом опергруппы проследить за тем, чтобы войска и приданые им орудия и танки были переведены на другой берег, по возможности наиболее скрытно, с тем что в десять утра пойти на штурм укрепленной деревни Лазарево, примыкающей к северному предместью Энска.

Вместе со Свирским Байдалаков и Крапивин выбирали место для переправы.

О дальних закрытых позиций по укреплениям Энска и близлежащим рубежам неумолчно била наша артиллерия.

Немцы, коммуникации которых все время нарушались нашими мелкими группами, а в последние два-три дня и вовсе были перерезаны еще более крупными отрядами, накопившимися около рубежей, вели сильный ответный огонь, пытаясь разорвать сжимающееся вокруг города кольцо.

Над лесом стоял гул от выстрелов наших орудий и разрывов неожиданных снарядов. С легким шелестом, какой бывает при перелистывании кни-

пронес над головами, над вершинами деревьев снаряд и совсем не подалеку
шлепнулся в снег.

Крапивин прислушался.

— Нет, не разорвался! — спокойно сказал Свирский. — Третий разорвался
из-за четверть часа. Это не так уж плохо!

(Тысячная мешка для перевозки, пробираясь через густой лес, оглушенный
канонадой, он успевал еще считать разорвавшиеся снаряды противника.

— Да, вы правы, — сказал он Крапивину, — пожалуй, лучшего места
для перевозки не найти. Хотя есть и неудобства.

— Вот видите, — продолжал Свирский свою мысль, — этот кусок про-
стреливается и слева и справа.

Он был прав, здесь река образовала глубокий и живописнейший изгиб, и
дорога с обступившим ее лесом проходила по далеко выдвинувшейся вперед
луке и поэтому простреливалась с противоположного берега с обеих сторон.

— Зато есть и преимущества, — сказал Крапивин, — благодаря луке мы
как бы естественно вклиниваемся в расположение врага — раз. Во-вторых,
нигде в другом месте танки не выберутся на другой берег, а здесь только
придется нескольких саперов послать вперед для разминирования.

— Ладно, здесь, — сказал Свирский и добавил: — такая канонада нам
помогла. Немцы не услышат работы саперов.

Свирский, а за ним и Крапивин с Байдалаковым, пригибаясь, побежали
по краю дороги назад, к тому месту, где остановилась прикрытая еловыми вет-
ками выбеленная штабная машина.

— Ну, товарищи, я надеюсь на вас! — сказал Свирский, садясь в машину. Он посмотрел на ручные часы, светившиеся фосфорическим блеском.

— Самое время прибыть понтонерам. Да вот, кажется, шумят их
машини!

Он с треском захлопнул дверцу, шофер включил мотор, и медленно, с при-
тупленными фарами, автомобиль пошел в тыл.

Однако Свирский ошибся. Навстречу ему шли не понтоны, а танки, ко-
торые должны были пройти по тонкотиковому мосту.

Они подошли к группе бойцов, готовых двинуться через реку. Грунь о
чем-то лениво спорил с парикмахером из Старой Руссы.

— Что это за холода! Вот у нас, в Старой Руссе, в позапрошлом году
такие морозы стояли! Бывало, выйдешь на крыльце с джинсом воды, плес-
нешь в воздух, а на землю уже не вода хлопается, а ледышки ложатся.
Ой, сколько же людей тогда померзло!

— Ну, и сейчас не жарко, — отозвался какой-то боев, дыхавшим своим
тогревая кончиками пальцев, — и сейчас замерзнуть можно!

— А меня воробей на дне спас, а то бы я, пожалуй, и замерз, — тихо
сказал Грунь, и все повернулись к нему.

— Воробей! Вот это шутка! Как же это он сделал? — слегка подтруни-
вал, спросил Бомба.

— А так, — спокойно продолжал Грунь, — сижу это я в дозоре у доро-
ги, на рассвете, — это когда вместе со старшим политруком Байдалаковым
сидели, — и чувствую, что замерзать начинаю... без движения сидели ведь.
Вдруг вижу, передо мной по дороге скочет-поскаивает простой воробушек.
Лежит, и смотреть не на что, пучок перышков, — а вот живет, хлопает,
и замерзает! Кажется, — вратить не буду, — мяса нет, и крови капелька, и

объем у него такой, что со всех сторон холодом должно проникнуть, проморозить,— а живет! На мороз внимания не обращает... Смотри на ладоши его,— пог, сами знаете, как проволочки, так только что электротоку пронести удобно, а не прогревающей крови, а вот, поди ж ты,— живет, работа поскаивает! А что ест? Клюнет зернышко одно, может быть, за день. И подумал я о себе: мяса сколько и крови, объем какой проморози надо, и ем сколько,— по килограмму заворачиваю, и одежда какая — валенки, полушубок,— а вот сижу и мерзну. И так меня этот воробей восхитил, разозлил, что не то что замерз, а чуть от стыда не вспотел! Что я, думал я, хуже него? И вот видите — жив и здоров, фрицев еще не один десяток сшибу, вратить не буду!

— Так пойдем! — сказал младший лейтенант бойцам, взглянув на пошедших Байдалакова и Крапивина.

— Я пойду с ними, — сказал Крапивин, — а ты, Алексей, здесь с пошерами шока повозись! Ты ведь в душе инженер!

И Крапивин, скользя вниз по склону, отправился вперед со взводом разведчиков.

Они должны были выйти первыми на противоположный берег и под прикрытием перехода пехоты и орудий. Шли молча, гуськом, пробивая своим телом спеговую толщу, наталкиваясь погами на камни, цепляясь за ветки.

Дошли до льда.

Ночь была ясная и лунная. Поэтому решили перебегать реку не все вместе, а по одному, и пакаливаться под большой скалой на другом берегу. Крапивин переходил пятый. Через лед было птичко легко, спел доходит только немного выше щиколоток.

Отряд залег под скалой. Грунь и Бомба отправились вперед — разведка местности.

Крапивин сидел на камне и думал: «Займем рубеж здесь и уже может быть начинать ставить понтоны, вырубая лед; часть пехоты, не дожидаясь пока для танков и орудий наведут мост, можно перевести по льду, как в грушлу разведчиков».

Он подумал о том, что следующую точку, может быть, придется прорвать уже в Энске. Надо будет посмотреть знаменитый древний монастырь. И если он подумал о том, как он станет рассказывать Тане об этой ночи, о дне и ночах под Энском, о северном сиянии.

Сверху по склону посыпался снег. Крапивин поднял глаза и увидел возвращающегося Бомбу. Он шел по той же тропе, по которой две недели назад шел Семен Нетин. Ельцов поскользнулся и, чтобы не упасть, ухватился рукою за низко нависшую над скалой ветку большой раздвоенной березы.

И Крапивин вспомнил, что две недели назад он видел эту березу с пристройкой из скалой веткой, сохранившей еще несколько золотых листьев. Теперь эта ветка обдала Бомбу сухим снегом.

— Все в порядке, — доложил Бомба, — там мы с Грунем прикончили двух фрицев и теперь можно окончательно занимать. Они спали, — пояснил он Крапивину, — пог, мы их и взяли, как пасекой на паштесте, можете любоваться!

Младший лейтенант провел группу вперед. Крапивин добрался вместе с ними до ветвистой березы и остановился.

— Я подожду десять минут. Если все будет в порядке, я пойду обратно. Младший лейтенант со своим взводом ушел.

В чистом небе светились роями холодные звезды. Стволы деревьев стояли черные и точно обугленные.

Краливин, отсчитывая секунды, прислушиваясь к каждому случайному ночному шороху леса, простоял под береской четверть часа и, ничего не услышав, — он, зная исполнительность этого молодого круглоголового младшего лейтенанта, — со спокойным сердцем стал спускаться, а затем медленно перешел по льду на северный берег реки.

Попрежнему неумолчно била артиллерия, попрежнему работали пулеметы.

Взобравшись на кручу около изгиба реки, Краливин встретил Байдалакова, который разговаривал с подполковником-артиллеристом.

— Осколы на другом берегу мы заняли, — сказал он, подойдя вплотную к Байдалакову.

— А вот у нас нес骷аца, — сказал Байдалаков, — пора приступать к постройке pontонной переправы, а поптонеров все нет. Вот и танки уже подошли.

— Я полагаю, что мои орудия можно перетащить по бревенчатому пластилу, мед выдержит, — сказал подполковник.

Краливин молчал. Молчали и Байдалаков с подполковником, прислушиваясь к притупленному голосу танковых моторов.

— Ох, демаскируют они себя! Неладно получается! Сначала должны были pontоны притти. Теперь танкам ждать приходится, — и Байдалаков в сердцах выругался.

— Надо проложить какую ни па есть переправу и, не ожидая pontонеров, переправлять орудия, — сказал Краливин.

— Я тоже так решил. Кстати, саперный взвод не справится, придется еще кое-кого в это дело выгрячь, благо пришло пополнение, сотни две человек...

— Так я начну с переправой, а ты пойди к танкам, скажи, чтобы пока замаскировались, — сказал Байдалаков и вместе с подполковником направился к орудиям. Краливин пошел позад, к танкам. Гуськом на дороге стояло восемь штук средних танков и один Т-26.

Около головного танка Краливин нашел капитана.

— Мы готовы, — сказал ему капитан, — сейчас к переправе по одному, интервал будем держать точный. Где переправа?

— Переправа должна быть готова к четырем почт, — слегка заикаясь, как и всегда, когда он волновался, сказал Краливин.

— Тогда, где она должна быть? — спросил, нахмутившись, капитан. — Я должен кое-что указать pontонерам.

— Все дело в том, что нет еще па месте pontонеров, хотя они давно уже должны были притти. И неизвестно, где они сейчас и что с ними произошло. Сообщение о том, что они вышли, пришло шесть часов назад. А ходу-то всего три с половиною — четыре часа.

Капитан посмотрел па ручные часы с огромным циферблатом и тихим бежевым голосом выругался.

— Танки надо расставить теперь в этой роще, под прикрытием деревьев, пореже.

— Пореже, пореже, — заворчал капитан, — а наверное, теперь здесь людей и орудий — что сельдей в бочке. Куда пемец спарад пи положит, всюду попадание будет! Порядочки! Порядочки!

Танкисты стали разговаривать свои танки, расставляя их на опушке. Но-

слышался треск ломающихся стволов молодой щоросли. Моторы притуплены гудели.

— Вот сюда ставь, — сказал Крапивин водителю одного танка. Тот начал влезать в машину, затем остановился и неожиданно обратился к Крапивину.

— Прощу повторить, як казали?

— Вот сюда ставь. Что, разве попяятно? — раздраженно повторил Крапивин.

— Да все попяятно, разумеется, по я только просил, чтобы голос вел расслухать, Борис Иванович, в темноте лица-то не видать!

Голос водителя тоже показался Крапивину очень, очень знакомым. Если бы это мог быть?

— Гонибес, да ты ли это? — обрадовался он, узнав.

— А то кто ж другой? Конечно, Гонибес! — радостно отозвался водитель. — Вот трактор на танк сменил, как в песне поется... Давненько не видел вас. С Татьяной Андреевной во время войны виделся, на поезд ее подсаживал, а вот с вами не гадал, что в лесу встретусь!

И он, пахнущий бензином и табаком, перепачканный тавотом, широко распахнув руки, от всей души обнял Крапивина и с силой прижал его к своей крепкой груди.

«Совсем не изменился Гонибес», — подумал Крапивин. И сразу перед лицом встал закрытый со всех сторон высокой глинобитной стеной двор МТС и заползший под мотор, в замасленной, изодранной робе, молодой рослый тракторист.

Он тоже обнял Гонибеса, хотел спросить про Таню, но, вспомнив, что нет ни секунды, что нужно идти к другим машинам, торопливо сказал:

— После поговорим! А сейчас ставь быстро сюда машину.

— Ах, Борис Иванович, — продолжал Гонибес, — вот где довелось встретиться.

Крапивин хотел сказать Гонибесу, что это, наверное, про его Фросю писали в газетах, но тут его чуть не сплыл с ног идущий сзади танк, и пришлось быстро отойти в сторону.

Крапивин указал место второму танку, и пока танкисты ломали ветки, чтобы замаскировать машины, он снова подошел к головному танку.

— Капитан! — позвал он командира.

— Я здесь.

В эту секунду с обеих сторон по рощице, где были спрятаны танки, открыли огонь погранические пулеметы.

— Ложитесь! Ползите сюда! — сказал капитан и сам пополз к чернущей между деревьями туче танка.

Они легли в снег, закрытые от огня броней танка.

Слышно было, как пощелкивают пули по броне, словно по медному телку.

— Капитан, — повторил Крапивин, — сколько может в час сделать мотоцикл?

— По этой темпote — не больше сорока километров.

— Хватит. Дайте мне мотоцикл с прицепом.

Он хотел вырваться павстречу понтонерам, пойти их и поторопить. Капитан это понял без слов. Но для того чтобы дойти до мотоцикла, требовалось проползти метров пятьдесят через проползаемое пространство. Надо было

деть в снег и ползти влево. А это оказалось не так легко, как раньше представлял себе Краивин.

Он лег плашмя, и сразу же тело его осело в снег на четверть метра. Для того чтобы ползти, нужна была опора, и он хотел упереться руками, но руки погрузились в рыхлый снег, и холодные колкие комки снега падались в рукава.

Тогда, чтобы продвинуться вперед, Краивин хотел оттолкнуться ногами, но и ноги, не доходя до земли, не получали опоры и только разбрасывали пущистый снег.

Пригибая голову, почти физически ощущая над собой полет повизижающих пуль, Краивин полз по снегу, с трудом преодолевая метра три в минуту. Сердце колотилось где-то около горла, и пот крупными каплями проступал на лбу и пробивал теплую фланелевую рубашку. Спина стала липкой от пота, а руки мерзли от тающего снега. И хотя стоял тридцатиградусный мороз, Краивину было жарко. Он расстегнул ворот.

Наконец он выполз из простреливаемой зоны, шатаясь подошел к мотоциклиstu и труко сел в покачивающуюся на рессорах притянутую коляску.

— Застегните ворот, товарищ старший политрук! — сказал мотоциклист и рванул с места машину.

Холодный, обжигающий ветер ударили в потное лицо Краивина и сразу охладил его. Он застегнул ворот и весь сжался, стараясь как можно глубже уйти в кабину и прикрыться.

Коляска подбрасывала седока на ухабах, покачивалась, а мимо летели мохнатые, заснеженные до вершин деревья, проскальзывали мостики, пробежала окруженнная полянами, зияя выбитыми окнами, пустая черная деревня. Над дорогой стояла, высоко сияя, маленькая круглая луна. Краивину становилось все холоднее. Он нетерпеливо вглядывался в темноту, отыскивая в почном лесу следы понтонов, поставленных на грузовики, хотя отлично знал, что с дороги им не сойти. Потом он вспомнил радостное оживление лицо Гонибеса. «Непременно надо расспросить его о Фросе и Татьяне. Только бы он не погиб в этом бою. Ну, нет, — тут же подумал он, — не такой парень Гонибес, чтобы погибнуть!» Но память подсказывала ему имена и лица людей, которые ни в чем не уступали Гонибесу, и все же погибли. Коляска подскочила на ухабе, и он увидел чернеющий на дороге огромный, стоящий без движения прямоугольник, исподледу от него второй, потом третий. Затем дорога круто сворачивала, шла вниз, и ничего уже нельзя было увидеть.

Краивин понял, что это были понтоны.

— Сколько мы проехали? — крикнул он, стремясь перекричать шум ветра и стрекот мотора.

— Двадцать три километра, — прокричал в ответ мотоциклист и затормозил.

— Вы понимаете, что вы делаете? Вы понимаете, что вы делаете? — слегка заикаясь, сказал Краивин инженеру второго ранга, короткому человеку с большим носом, который он все время потирал, и с мохнатыми, совсем заплюснутыми бровями.

— Я знаю, что меня должно отдать под суд за невыполнение боевого приказа, — жалобно сказал инженер, и потом, вдруг разъярившись, он стал наступать на Краивина и, повысив голос, закричал. Впрочем и в этом крике съездались жалобные нотки.

— Ну, ладно,— кричал он,— расстреляйте меня! Я виноват! Но сядьте с места постона, дайте мне немедля горючего! Дайте бензин, а застолбитесь я и сам успею!

— Почему вы стоите на месте? Какое право вы имеете юрить на пия?— разозлился Крапивин.— А еще батальон на хорошем счету. Очков ратели!

Он выругался, и ему сразу стало стыдно оттого, что он погорячился.

— Видите ли, в чем дело,— стал совершенно спокойным голосом, прищуря нос, говорить инженер второго ранга, немного приподымаясь на почки.— Мы получили приказ возможно быстрее дойти до реки. У всех шин было горючего километров на сорок—сорок пять. Если направлять всем сразу на месте, это отняло бы больше часа. Вот я и решил пустить колонну. А тем временем, пока колонна идет, должна была застравиться цистерна и потом полным ходом идти за нами, догнать нас и затем на ходу поочередно и постепенно, наши машины все бы заправились. Так оно и вышло. Яправлялся по телефону. Через тридцать две минуты вслед за нами вышла цистерна. И вот приехали, вытащили все горючее до капли; последние километры на соплях шли и на самолюбии. Теперь стоим. А цистерны нет и нет. И мы — ни вперед, ни назад. Попутная машина проходила сказала, что цистерну на повороте в ров занесло и что сама она без помощи не вылезет. А это отсюда семнадцать километров... Я послал час назад туда взвод, но ведь раньше чем через два-три часа они не доберутся. Бог мой, боже мой! — сказал инженер второго ранга спокойным голосом, но этим спокойствием Крапивин услышал тревогу и горе.

— Теперь помогите делу, а потом можете расстрелять,— снова упавшим голосом сказал инженер.— Ну, что же вы молчите? — стал он опять насторожить на Крапивина.

— Так,— пробормотал в раздумья Крапивин, разглядывая мохнатые, зипневшие брови и ресницы инженера.— Это действительно, застрелить вы всегда успеете, вот горючего вам необходимо достать. Что ж, и достанем, достанем вам горючего,— сказал он решительно и, резко повернувшись, пошел обратно к своему мотоциклу.

И снова пошли мелькать перед ним деревья, мостики, слова подбрасывая его на ухабах, снова резал лицо и забивался в рукава плотный встречный ветер.

Капитан-танкист вместе с Байдалаковым стояли на дороге внизу, у самого берега, откуда начиналась взорванная раньше переправа и теперь строилась новая.

Саперы вплотную, одно к одному, укладывали на льду бревна. Положили дюжины стволов, с которых только что были обрублены ветки, они в бокам скрепляли их железными скобами, забивая длинные толстые гвозди неокоренные, церазделанные стволы.

Для того чтобы не разредить лес на самом берегу и шумом порубки демаскировать себя, Байдалаков приказал валить деревья в двухстах метрах от реки.

Весело и споря подпиливали и валили сосны на снег. Правда, специалисты лесоруб нашел бы, что работают они очень расточительно, оставляя слишком высокие пни, отсекая слишком много ветвистые кроны. Нужно было срубить так около семисот бревен и каждое бревно протащить по снегу двести

метров, до переправы. Метров пятьдесят волочить надо было через пространство, ваемое место.

По так как на рубке и разделке леса было занято свыше ста человек, а тащить на себе бревна вызывалось очень много охотников, — и оттого, что хотелось согреться, и оттого, что было обидно в такое время стоять без дела, — то работа подвигалась очень быстро. И когда сквозь канонаду привычное ухо капитана-такиста услышало стрекот мотоциклетного мотора, было готово уже метров тридцать гати.

Капитан, промерив цацкой в прорубленной круглой проруби толщину дьба, покачал головой.

— Рисковать машинами я не могу. А вот аккурат и мотоцикл вернулся, поводи пасчет понтона привез, — сказал капитан и, оставив у края переправы Байдалакова, медленно пошел наверх.

— Вот что, товарищ капитан, — решительно сказал Кропивин, — у вас здесь имеется полная цистерна с горючим. Ее немедленно надо отправить назад, к понтонерам. У них машины стоят из-за отсутствия бензина.

— Помилуйте! — возразил капитан. — Горючее это нужно для танков, получаем мы строго по лимиту. Я паршу приказ паркома, если буду раздавать его налево и направо.

— Так-то это так. Только это даже не напоминает разбазаривания, товарищ капитан. Танки у вас заправлены! И если не подойдут понтоны, они у вас целые сутки будут стоять без дела, и вы парушите боевой приказ.

— Не по нашей вине! Я хоть сейчас готов в бой.

— Вы не можете перейти без понтона, а они не смогут притти скоро, если вы не дадите им горючего. Задомаобразно. Они вам отдаут. А если не хотите этого сделать так, я прикажу вам сделать это от имени командующего.

Кропивин опять начал заикаться.

— Письменный приказ? — спросил капитан.

— Письменный, если хотите.

— Ничего я не хочу, — сказал капитан. — Одного я хочу сейчас — поскорее в дело. И если вы честным словом гарантируете, что задомаобразно, — тогда больше мне ничего и не надо.

И капитан отдал распоряжение отыскать автомобиль-цистерну к понтонерам.

— Только нельзя рассчитывать, что она дойдет раньше, чем через час! — сказал он Кропивину.

Кропивин погрузился в расчеты: цистерна дойдет к понтонерам за час, минут двадцать — заправка, час сюда ходу, — таким образом первый понтона придет и можно будет начать работу по наведению моста не раньше чем через два с половиной часа.

Кропивин раздвинул полы шинели и вытащил из маленького карманчика ватных брюк часы. Стрелки показывали десять часов. Увлеченный делами сегодняшней ночи, он забыл завести часы.

— Кто скажет сколько времени? — обратился он к группе танкистов.

— С великим удовольствием, — отозвался бас Годибеса, — для вас, Борис Ефимович, я даже с секундами сказать могу. Сейчас по московскому вре-

мени — чуто, по московскому — три часа, двадцать семь минут, сорок пять секунд.

— Спасибо, товарищ Гончаров!

«Значит, — думал Кралишин, — начнется паводка моста не раньше шести утра. Раньше чем за три-четыре часа этого не сделашь, а в девять тридца назначенный час общего штурма. Чорт побери, что же делать, что же делат И, быстро пробежав по дороге простреливаемое место, задыхаясь, обгоняя бойцов, идущих с бревнами на плечах, Кралишин стал спускаться к переправе где с подполковником-артиллеристом и старшим лейтенантом Глебовым стоял Байдалаков.

— Ну, как дела с понтонами? — спросил Байдалаков.

— Плохо, Алексей, раньше чем через два с половиной часа не подойдешь. Байдалаков задумался, мысленно производя подсчет.

— Та-а-к, — протянул он, — что же делать? Мы должны принять на себя и решение и ответственность.

— Но-моему, — совсем тихим голосом, но уверенно сказал Кралишин, — таком случае мы должны пойти на штурм без танков. Товарищ Глебов, товарищ подполковник, я полагаю, что вы поддержите такое решение?

— Я не могу поддерживать или не поддерживать решения, молодой человек, — сказал, раздражаясь, подполковник. — Я должен выполнять приказание. Но если вы спрашиваете мое мнение, то оно такое: я могу перетащить свои орудия на тот берег по этим бревнам, могу сопровождать пехоту огнем. Буду бить прямой паводкой; а если уничтожат орудия, прислуга пойдет в штыки; если же прислуга будет убита, то расчеты орудийные у меня подготовлены на основе взаимозаменяемости. Я приучал своих людей и приучен сам приказывать выполнять!

— Без танков, так без танков, — сказал Глебов, — а дело свое мы будем делать!

— Тогда пехота пусть сейчас же начнет переход по леду, а вы, товарищ подполковник, дайте приказ, чтобы через час первая пушка выпала на переправу.

Подполковник приложил руку к козырьку и пошел к своим орудиям.

На лед вступили шагающие врасыпную, но организованно, бойцы подразделения старшего лейтенанта Глебова.

В лунном свете кверху поднималось мелкими расходящимися струйками дыхание сотен людей, и тень от этого светлого дыхания темнела на белесом покрывающем под валенками снегу.

Проходящие справа от гати бойцы с интересом смотрели на сооружаемую переправу.

— Это для танков! — сказал один.

— Как же, держи жарман шире! Танки теперь палили все под Москвой, столицу держат... Знаешь, говорят, все в ряд кольцом стали, без единого шага пропуска, и все палят. Одно слово — бронированная стена! И нет прохода в Москву!

Когда хвост пехотной колонны уже заканчивал переправу, пешцы, охваченные сильным агулеметным огнем по лугу, по лесу, где теперь оставали лишь орудия и танки. Кралишин услышал, как с противным свистом, стоном и взрывом проносились над головой и с треском лопнули в лесу мины.

«Хорошо, что пехота ушла оттуда!» — подумал он и увидел, как по склону, по дороге, съезжает упряжка первого орудия.

На льду, около его ног, саперы копали забивать гвозди в отверстия последней скобы. Переправа была паведена.

Понукаемые ездовыми, уширяясь всеми четырьмя копытами и все же скользя, лошади потащили орудия вниз к переправе.

Совсем близко позади разорвалась мина.

«Нашупали, сволочи!» — с досадой подумал Крапивин. Первая упряжка въехала на гать. Подковы ударили о бревна, колеса загрохотали по пастылу. Наверху, на скате, показалась вторая упряжка.

Ездовые хлестали лошадей. Лошади тянули орудия, осторожно переступая ногами по бревнам, видимо, боясь попасть ногой в расщелину.

— Тротай, тротай, милая! Выноси! — шептал один ездовой, паклюясь к уху кобылы и соскочив с седла, и повел ее вперед, обеими руками держа повод. И вдруг под самой мордой лошади с треском разорвалась мина. Лошадь рухнула передними копытами на колени и захрипела.

— Милая моя, выпоси! — воскликнул ездовой и упал рядом.

Широко дыши, вбирая и выпуская бока, кобыла скапивала набок задние ноги, рядом бились, перепутав постремки, другие лошади.

Крапивин подскочил к орудию.

— Цело?

— Цело, — ответил наводчик.

— Поломана нога у коренной, — сказал второй номер и одной рукой стал вытаскивать индивидуальный пакет.

— Что у тебя? — спросил строго Крапивин.

— Кажись, кисть прострелило, — ответил второй номер.

— Иди в тыл, на пункт.

— Охота атаку поглядеть, — отозвался боец и подставил руку подбежавшему санитару.

— Выпрыгай лошадей, — командовал подполковник, — выпрыгай!

Несколько бойцов-артиллеристов бросились выполнять его приказание.

Они работали быстро и ловко, но Крапивину казалось, что они почему-то медлят.

Лошади неестественно раздували бока, пар густою волной шел из их раскрытых ртов, мягкие губы обвисли. Из широко открытых глаз сыпалась слезы. Каждая перстинка на животах у них заинеяла и завивалась отдельно от другой.

Бойцы убрали лошадей с гати. Подполковник подошел к кобыле, у которой была сломана нога, сунул ей в ухо пистолет и выстрелил. Кобыла мотнула головой и затихла.

— А теперь, товарищи, на руках, на руках выкатим! — сказал подполковник бойцам, взявшимся за спицы колес. — Только без шума, без «ух-нем», — добавил он, когда один из бойцов громко произнес: «А ну, раз!»

Орудие сдвинулось с места и загрохотало колесами по бревнам пастыла.

Рядом с настилом ухнула вторая мина. Она пробила лед. Люди продолжали работать, как будто ничего не случилось. Ухнула третья мина, и один боец отпустил колесо и, схватившись руками за грудь, сел на край бревна.

Первое орудие уже подкатывалось к противоположному берегу.

Вторая упряжка выезжала на переправу. Третья появилась наверху, на склоне.

Крапивин хотел подойти к раненому бойцу, который сидел на бревнах, безмолвно покачиваясь взад и вперед, но не успел он сделать и двух шагов, как что-то блеснуло перед его глазами, он услышал словно шепот произнесенную команду: «Впрягай лошадь!» и затем будто полотенцем всего размаху клюснуло его по уху, по глазам, по груди. Отброшенный два шага в сторону, он упал в снег.

«Умираю», — подумал он, ощущая кожей лица холод льда.

Но Крапивин не умер, он не был даже ранен, а только контужен. Прошло немногого времени, и он пришел в себя. Он увидел посередине реки, гати, орудие, которое на руках продвигали артиллеристы. Увидел орудие скате и другое у противоположного берега. Крапивин подумал, что прошел минута с того мгновенья, как он упал. На самом же деле, если бы подсчитал число воронок на льду или знал, что через реку передвигалось последнее орудие, то понял бы, что прошло гораздо большие времена.

Он ощупал себя. Крови не было. И пигде он не чувствовал боли, по-тому что после сильных побоев. И почему-то Крапивину казалось, что капонада происходит где-то очень-очень далеко. Он потрогал ухо, оно было холодное.

«Так, — подумал он, — отморозил уши».

Это была правда, как правдой было и то, что он оглох на левое ухо, лопнула барабальная перепонка. Но Крапивин еще не знал этого. Он встал шатаясь, пошел вперед.

— Куда ты запропастился? — спросил его Байдалаков, встретив наверху хлопотал около «Т-26».

— Что ты шепчешь? Говори громче! — сказал ему Крапивин.

Байдалаков удивленно посмотрел на товарища. «Нашел время острить», подумал он и сказал капитану: — Поизобуем...

Уже занимался над лесом серовато-розовый рассвет, и люди, и машины и деревья в этом пеяспом молочном свете стали виднее.

Байдалаков еще раз взглянул на Крапивина. «Боже мой, как устал!», подумал он.

Щиток перед лицом водителя приподнялся. На Крапивина взглянул из бразуры Гонибес, дружески кивнул ему и включил мотор.

Танк, неуклюже повернувшись на одной тусенице, заскользил вниз по дороге, оставляя глубоко врезанные следы в снегу. Внизу он выровнялся, взошел на бревенчатый пастырь. Гусеницы его заскрежетали, и, угрожая урча и фыркая, он медленно пошел, выворачивая гусеницами бревна, которые при этом срывали железные скобы, вытаскивая гвозди из их гнезд. Танк прошел по гати, но на подъеме застрял и, несмотря на все старания водителя, не мог стронуться ни на метр. Он только закрыл дорогу, и сапожками мин остановились позади. Возчик в недоумении разводил руками. Он попробовал было обехать стороной, но, сойдя с дороги, лошадь погнулась в снег по самое брюхо.

— Нет, с тапками без понтона не выйдет, — сказал Байдалаков, и капитан печально подтвердил:

— Ведь я же вам говорил!

— Борис, тебе следует, по-моему, поехать и доложить в штабе, что артиллерия и похота переведены и будут штурмовать в назначенный приказом

Крапивин слышал то, что сказал Байдалаков, потому что тот стоял вдали от него.

— Нет, это ты поедешь доложить, я хочу оставаться здесь и принять участие в атаке!

— Не будем спорить, — сказал Байдалаков и вытащил из кармана полушибка спичечный коробок.

Достав две спички, он у одной обломал головку и зажал спички в кулак.

— Тащи! Если вытащишь с головкой, едешь ты, если сломанную — я.

— Алексей, ты слишком отдаешься на зволю слепого случая, нужно трезво решить — кому, — сказал Крапивин, по тем не менее взялся тащить жребий, потому что видел, как расположил спички Байдалаков.

Но тот оказался хитрее, чем думал Крапивин. В последнюю секунду быстро переменил положение спичек. Крапивин вытащил спичку с обломанной головкой.

— Придется ехать!

Он недовольно пожал плечами, почувствовал при этом боль и пошел по дороге к грузовику, запрягенному в чарце.

— Гони почем зря, — приказал он шоферу, — может, успеем к началу вернуться!

Сидя в кабине, Крапивин задремал. Изредка на ухабах, когда его подбрасывало на холодном клеенчатом сиденьи, он открывал глаза, смотрел по сторонам, видел заиндевевшие деревья, и тогда ему казалось, что едет он так часы, дни, недели. И все же, когда грузовик остановился около здания штаба опергруппы и Крапивин, открыв глаза, увидел знакомый дом в Бору, сон мгновенно отлетел от него, и ему показалось даже странным, как быстро он приехал. И только когда он захотел взбежать на лесенку крыльца, ноги его заплыли, и он вспомнил о своей контузии.

В комнате телефонист попрежнему повторял: «Одесса, Одесса!», попрежнему стояли около закипающего самовара чашки, — и Крапивин вдруг ощутил себя в глубочайшем тылу, в уютнейшем и безопаснейшем в мире местечке. То, что время от времени дребескали стекла, сотрясаясь от недальних разрывов пешмистельских снарядов и от работы пашей артиллерии, проходило мимо его сознания. Оставалось только ощущение, что здесь тыл, безопасно, спокойно, тепло и уютно. А командир в хрустящих новельских ремнях, который прибыл с поручением из штаба армии и был отнюдь не из трусливой породы, невольно вздрагивал от каждого фурийного выстрела, и ему казалось, что прибыл он на передовые позиции. Так отпосительное чувство тыла.

Из второй комнаты, застегивая на ходу пуговицы, вышел взъерошенный Степняк.

— Не видал Волкова? — спросил он тревожно. — Должен был уже три часа назад быть у меня и пропал. Не знаю, где, не знаю, что с ним? Парень горячий, не полез бы зря на рожок!

Вслед за Степняком вошел Суслов, что-то говоривший Свирскому. Он был раздражен, особенно в последние дни, получая выговор за выговором от командующего. Разговаривая теперь со Свирским, он спорил по существу с командующим.

— Ну что, как дела? — резко спросил он у Крапивина.

— Артиллерия и пехота переведены на другой берег и к удару в назначенный час готовы. Танки перевезти не удалось.

— Как?! — закричал Суслов. — Вы не перевели танки и осмеливаетесь вляться ко мне с допесением! Да я вас немедля расстреляю за грыз штурма, за неисполнение приказа!

— Товарищ генерал! — побледнев, сказал Крапивин. — Я за каждый свой отвечаю и могу ответить и перед трибуналом и перед нашей партией. Но, прошу вас, выслушайте обстоятельства дела, а потом принимайте решение.

— Никаких оправданий в невыполнении приказа быть не может!

— Я не оправдываюсь, — сказал Крапивин. — У него возникли и пошли цветные круги перед глазами, но он пересилил себя и, стараясь не плакаться, продолжал: — Не пришел pontонный батальон, а мы тем не менее перевели без моста не только пехоту, но и все до одного орудия. Я прошу вас, если даже вы меня отведите под суд, представить артиллеристам награде...

— Одесса! — громко проговорил связист и торжественным голосом возгласил: — Товарищ генерал-майор, вас к телефону просит командующий Суслов, оставив Крапивина, метнулся к трубке.

Оттуда в треске электрических разрядов раздавался громкий голос.

— Ладно, ладно, — упавшим голосом ответил Суслов и, вручив трубу связисту, обратился к Свирскому.

— Командующий отзывает меня в свое распоряжение. Приказано непременно сдать командование опергруппой вам. Боевой приказ без изменений! Суслов, прищелкнув каблуками, повернулся и вышел во вторую комнату.

— Мы с Байдалаковым решили идти на штурм даже без танков, — сказал Крапивин.

— Правильно, — одобрил Свирский, — тем более, что заказ авиации давно было бы трудно его отменять, к тому же это час атаки во всех пунктах.

Потом он взглянул на Крапивина, опустившегося на скамейку, и таким официальным голосом произнес:

— Товарищ старший политрук Крапивин, от лица службы объявляю благодарность!

Крапивин не рассыпал всех его слов, потому что Свирский находил слова от него, а переспрашивать было неудобно.

— Разрешите вернуться обратно, я хотел бы принять участие в деле, — сказал Крапивин, выходя из штаба вслед за Свирским, — еще, кажется, можно успеть!

— Едем! — спокойно ответил Свирский. Из вас бы хороший командир, — шел, товарищ, Крапивин, — добавил он, усевшись рядом с шофером.

Крапивин отвалился назад и, как только тронулась машина, заснул.

В это время pontонеры под сильным минометным и навесным артиллерийским огнем выбурали из реке лед и ставили уже второй pontон. Их время торопили танкисты, хотя те работали так, что не нуждались в помощь.

Над лесами шла вызванная Свирским авиация, пушки подполковника подтягивались к переднему краю, и бойцы старшего лейтенанта Глебова накливались для атаки.

А саперный батальон Соколенко, слева, на дороге, ведущей к Эпску, начал свою знаменитую атаку против немецких танков. И над землей встало морозное, солнечное зимнее утро.

БЕССМЕРТИЕ

Соколенко, касаясь шинелью почтовой стеклы, вышел из землянки и, прилонившись к сосне, на которой был прибит весь обледеневший синий жестяной умывальник, разорвал пополам письмо. Затем, мельком взглянув на почерк, продолжал рвать письмо на все более и более мелкие кусочки. Он всегда разыгрывал получаемые на фронте письма, чтобы, если его убьют, кто-нибудь засмеялся равнодушно, а то и цеприязненно к нему относящийся, не стал перечитывать эти важные для него и полные значения строки. Сегодня он разрывал письма, полученные вчера от Тоси, чувствуя, что прощается со своим прошлым, в котором теперь вдруг увидел очень много хорошего, и ему было жалко этого прошлого, хотя мысли о будущем с Анной рисовали ему одно только счастье; и еще ему было жалко Тосю, которая любит его, ждет и скоро получит от него такой неожиданный, незаслуженный удар... Он видел, как она перечтет, задыхаясь, его письмо, и даже если никого кругом нет, она удержит слезы и только вечером, лежа в постели, уткнувшись в подушку, будет долго беззвучно рыдать. Он видел ее утомленное мукой лицо, и сердце его сжалось от сострадания; и тем больше разыграл его ее нежные, любовные слова, выразленные в почти деловой отчет письма о том, как чувствуют себя детишки, что говорят, просясь по утрам, как играют, как помнят его и просят, чтобы поскорее он разбил врагов и вернулся домой. Но он чувствовал, что поступает неправильно, что иначе не может. И еще он чувствовал себя в ту минуту, когда получил и прочитал тоскны письма, страшно одиноким, потому что до сих пор всякой волнующей и тревожащей его мыслью, всяким горьким своим переживанием он делился с Анной, и она почти всегда находила, чем его успокоить или утешить. Но сейчас его горем были мысли о тоскном страдании, и меньше всего Анна могла бы утешить его. Он ведь даже не мог ей об этом сказать! Не мог обратиться за поддержкой, зная, что ей трудно будет понять его переживания и, не поняв их по-настоящему, она, вероятно, обидится.

Не желая, чтобы Анна подумала, что он от нее что-то скрывает, Соколенко изорвал конверт и медленно прочитал все четыре страницы письма, написанные точным и круглым, почти мужским почерком.

Это было вчера вечером, в домике санслужбы на хуторе. Опять на столе стояли три письма. Выздоровливающий Кошкин, отужинав здесь последний раз, только что уехал в штаб армии. На той машине, которая его увозила, прибыли эти письма.

Когда нужно было уходить из избы, Соколенко подошел к Анне и взял ее за руку.

— Я так счастлив,— сказал он,— когда думаю о том, как мы будем жить, как нам будет хорошо...

— И весело,— вставила Анна.

— И весело!— подхватил Соколенко.— И я просто не нахожу слов, чтобы объяснить тебе все это.

— Прокофий,— загрустить совсем серьезно сказала Анна,— знаешь, чего мне больше всего хочется, когда я думаю о том, как мы будем жить? Чтобы ты подружился с Наталикой. Впрочем, если ты появишься перед нею в военной форме, половина дела сделана.

— И ей свой финский нож подарю!— с готовностью сказал Соколенко.

Анна испуганно посмотрела на него, и оба засмеялись.

Провожая его на крыльце, Анна сказала:

— На всем свете мне нужен только ты один. Я люблю тебя и поэтожу с кем не могу быть. Вот, иди, мой дорогой!

Уже потом, лежа на хвое в своей землянке, он повторял себе все, что ворила Анна, и очень жалел, что вчера на крыльце от смущения он не сказал ей, кроме нее, ни одной женщины на свете не надо.

Проснувшись в землянке, он почувствовал, что прород, и по создавшему уже привычке немного подвинулся, чтобы спиной ощутить тепло спящего товарища. Но рядом никого не было. Он оглядел землянку и вспомнил сожалением, как было тесно в этой землянке, когда она была только выкопана. Теперь народу поредело, но с какою охотой отказались бы все от этого прохода, предпочтя ему недавнюю тесноту. Соколенко подбросил на ходу в огнестрельные ветки и вышел на воздух.

Стоял зимний рассвет.

В 9.30 надо было перейти в наступление. Как предполагалось боевым штабом, батальон должен был пройти пять километров и занять разведенные дороги; одна из них вела в деревню Лазарево, которую атаковал Глебов. Саперы на развилке должны были отрезать немцам путь отхода. И вот сейчас, песят как поднять свой отряд, с приданной ему ротой БАО и минометчиками Соколенко стоял около своей землянки и рвал на мелкие клочки письма Толстого.

Затем он обшарил карманы, чтобы избавиться от лишнего.

В кармане гимнастерки нашупал партийный билет.

«Все в порядке», — подумал он, проворил, заряжен ли маузер, и, приложив его к ложу деревянной коробки, решил так и оставить. За этим занятием стоял его Столетов. Боренастый, с квадратными плечами, еще более увенчанными полушубком, он шел, неуклюже переступая через провод связи, ведущий к землянке.

Увидев Соколенко, он обрадованно улыбнулся.

— Сам от хутора иду, — сказал он, — чуть не заблудился. По проводам вам и вышел.

— Рад вас видеть, товарищ Столетов, — сказал Соколенко, — но, к сожалению, сейчас ни я, и никто из нашего батальона не сможет с вами разговаривать, — мы идем в бой. Так что придется подождать до вечера, пока почитите материал для газеты.

Столетов, сбивая веткой снег с валенка, возразил:

— Ну нет, если я нахожусь в части в тот момент, когда она идет в атаку, я не могу ждать; я пойду с вами.

— Ладно, — согласился Соколенко, — идите, только не зарывайтесь в нужды вперед.

И они пошли мимо снежных окопов минометной батареи.

Минометчик опускал мину в круглое зияющее жерло и быстро отдергивал руку. Раздавался негромкий взрыв. Если в этот момент посмотреть прямо вперед, можно было простым глазом увидеть черную, устремляющуюся в небо туча. Это и была мина. Громко и близко работали пулеметы. «Словно в клепальном цеху — треск пневматической клепки перемежается с простой, — так и эта пулеметная стрельба с ружейной», — подумал Столетов.

— Здесь, — сказал Соколенко и соскочил в невысокий сугробовой окоп. Связной Галактионов стоял тут же. Телефонист тянул сюда аппарат из

лянки. Симаков, Комодин, два незнакомых Столетову лейтенанта, старший лейтенант Арутюнов — командир минометчиков, тоже был в окопе. Симаков заменил сейчас Кошкина. Он посмотрел на часы и сказал:

— Ну, можно начать! Идите к себе, товарищи. Я рассчитываю, что не подведем, не осрамимся. А?

Начался огневой минометный налет на район, заливаемый противником.

— Да, товарищ Соколенко, — вспомнил вдруг Столетов, — военврач Короткова хотела со мной передать вам какую-то записочку, но потом захлопоталась, у меня не было времени ждать, и я пошел. Но... что это?

Столетов увидел, как Симаков выпрыгнул из окопа и громко закричал:

— Вперед! За родину! За Сталина!

И тут из-за кустов, из окопчиков выскочили люди и, держа наперевес винтовки, побежали вперед, проваливаясь в снег.

Они останавливались и стреляли, потом, выбросив пустую гильзу, снова продолжали движение вперед.

Соколенко оставался в окопе рядом со Столетовым, но не слушал его и только смотрел вперед на Шевелева с черным диском дегтяревского пулемета, на Галактионова, не отходившего ни на шаг от Симакова, на Гасана Исмаилова.

★ ★ *

Анна, прокипятив все инструменты, поставил на примус котелок с кипятком для дезинфекции и разложив на столе бинты и вату, хотела написать несколько ласковых, подбадривающих слов Прокофию. Но пока она разыскивала затерявшуюся в спешке карандаш, дверь скрипнула. и вошедшая девушка, сенфельдершер второго ранга, сказала:

— Первого раненого доставили!

Анна взглянула на черный циферблат больших автомобильных часов. Белые стрелки и четко отмеченные белые цифры показывали половину десятого.

— Рано что-то, — промолвила Анна и, быстро накинув белый халат, встала. Она оказалась права — это был не сапер, а боец из другой части, и доставили его сюда не санитары, а женщина лет сорока, повязанная большим перстяным платком; концы его перекрещивались на груди и были завязаны скати узлом выше поясницы. Круглое русское северное, немного скучающее лицо, с добрыми серыми глазами от утомления казалось старше ее лет.

Она вела бойца, прихрамывавшего на каждом шагу и опиравшегося всей тяжестью на ее плечо, другую рукою он сжимал винтовку.

Галанов, проверявший на морозе карбюратор, махнул женщины рукой.

— Привет, товарищ Степанова, снова встретились с вами!

Степанова ласково кивнула ему. Ей и в самом деле приятно было снова увидеть людей в родной красноармейской форме.

После двухнедельной командировки в оккупированную немцами часть района она возвращалась домой. Перебираясь через поваленное дерево, она вдруг увидела бойца, сидевшего на снегу и притулившегося спиной к стволу. Он засыпал. Она растолкала его.

Это был разведчик, раненный в бедро. Он потерял много крови и, пробираясь обратно, ослабел и присел у дерева. От слабости и утомления на него ляпала дремота и, одолеваемый ею, он наверняка бы замерз, если бы на него не набрела Степанова.

Она подняла его, заставила встать и медленно, от дерева к дереву, в нескольких часов.

Сначала он принял ее появление как должное, но, очнувшись, стал размышлять и удивился, что его ведет шаткая, вольная женщина.

— Откуда вы, гражданка? — спросил он.

— Я ведь тебя не спрашиваю, голубчик, — улыбнулась Степанова, подая бойцу перейти через ложбинку.

— А ну как шпионка? — усомнился он.

— Ну ладно, доведу тебя до части, а там проверишь меня...

Когда Галанов окликнул Степанову, боец почувствовал себя успокоенным.

Анна не заинтересовалась сначала Степановой, обратив все свое внимание на доставленного ею пациента.

Она смазала обезвоженным вазелином обмороженные пальцы, щеки и нос бойца, затем ловко ножницами разрезала штанину и занялась раной.

— Рана легкая, юрови только потеряно много. Придется подождать часа два: тогда вместе с ранеными, которых я ожидаю, отправлю вас в тыл; а теперь полежите, отдохните.

Она показала на носилки, тесно уставленные на наснаженном полу кочеты, затем перевела взгляд на Степанову, присевшую отдохнуть на табурете.

Взглянув на ее лицо, Анна почему-то безошибочно прочитала в нем доброту, и честность, и трудолюбие, и упрямство.

— Голубушка, не поможете ли вы нам? — спросила Анна.

Степанова вздрогнула, вопрос Аппы прервал ее размышления о том, как она будет рассказывать на бюро о своей команитровке. Ну, что же! Она рассказала про доклад товарища Сталина колхозникам восьми деревень... Только в двух деревнях осталось население, и там можно было разговаривать с людьми в избах. Остальных, забытых в землянках, нужно было отыскывать в лесу, по тропам, с льноволосым мальчишкой-помощником, который очень быстро изучил все расположение вновь открытых землянок.

— Я здесь по лесам все знаю, тут колхозных коров заблудившихся скотко отыскивал, — объяснял он ей.

— Голубушка, — продолжала Анна, — пол у нас грязный, помогите нам его вымыть.

— Это можно! — отозвалась Степанова.

Она нетерпливо развязала узел платка, сняла его, бережно сложила в табурете, взяла ведро из кухоньки, достала половую тряпку и принялась мыть досчатый, некрашеный пол.

Аппе почему-то хотелось говорить с ней просто и обо всем, как в детстве, когда она с няней. Но как начать?

— Голубушка, — снова сказала она, хотя Степанова почти вдвое была старше ее. — Голубушка, у вас есть дети?

— Ваня, сын мой, сколько лейтенантов окончил в Ленинграде; Лиза, младшая, десятилетку прошла, теперь она в Вологде, в учительском институте.

Степанова выпрямилась и стала выжимать мокрую половую тряпку.

— А где ваши? — спросила она.

— У меня одна только дочурка, она в тылу, далеко... А муж ваши где?

— Утонул в тридцатом году... А с тех пор, знаете, милая, я детей подыскивала... Хороший человек был, — он меня в колхоз, в партию втянул. Одно душой жили.

«Вот и у нас с Прокофием так же будет», — подумала Анна и вся как-то
внутренне просияла.

— Если бы только Степа мог увидеть, какие люди па селе выросли, как
они слушали мой рассказ про речь товарища Сталина, как уходили в партиза-
ны, как решали для Ленинграда половину того, что у самих осталось, отдать!
Как бы он радовался, па них глядя!.. Да и меня похвалил бы, пожалуй, —
сказала Степанова.

Анна с удивлением взглянула на нее.

— Ведь поймите, товарищ доктор, если всех нас речь товарища Сталина
здесь подняла, то как же должна она была тем, кто там под немцем томится!
Помните, какие слова: «Смерть немецким оккупантам!»

В эту минуту Гасан Исмаилов доставил первых трех раненых во время
атаки.

— Вот, получай, Анна Петровна, — сказал он, — а я обратно, за другими.

— Как там дела? — спросила Анна.

— Все в порядке, — весело сказал Гасан. — Все в порядке, немцев из
окопов выбили! Они бегут, наши преследуют! Отличные дела — и командир
и комиссар довольны!

И действительно, можно было быть довольным. После первой же атаки
немцы оставили свои окопы и стали быстро отходить назад к развилке. Около
двух километров продолжали преследовать врага саперы. Потом, когда немцам
удалось оторваться от преследующих, Симаков остановил бойцов. Он решил
с основной частью пойти через лес, с тем чтобы обойти немцев, выйти им с
тыла на дорогу. Соколенко же должен был оставаться на месте с группой
бойцов — заслоном, а в случае необходимости вести бой и, держа оборону,
не пропускать противника, ежели бы он вздумал собрать силы и перейти в
контратаку.

* * *

Соколенко лежал в снегу и смотрел на дорогу, вслушиваясь в неясный
еще гул моторов. Через минуту не оставалось никаких сомнений, что это
были танки и они приближались.

Гасан Исмаилов в нескольких шагах от Соколенко наклонился над ранен-
ным бойцом. Он уговаривал раненого, чтобы тот обхватил его шею.

— Дай, я тебя снесу! — говорил он.

Но боец отмахивался.

— Перевязал меня, — и спасибо, и ладно, иди других спасай, а я еще
пострелять могу, в сознании нахожусь.

— Но ведь у тебя оторвана ступня, — сказал Гасан.

— Я лежа стрелять могу, приходи часа через два, а сейчас другими
людьми займись!

Справа от него на подстилкой плащ-палатке стонал другой раненый и
время от времени жалобным плачущим голосом возглашал:

— Ой! Зачем я здесь лежу! Ой, зачем я здесь лежу...

Лицо его было желто от боли. Зубы стучали, не попадая друг на друга...
Людина вместо слова «ой» он матерился, жалобно повторяя:

— Зачем я здесь лежу!

Пуля пробила у раненого мочевой пузырь, каждое движение причиняло
ему невыносимую боль. Гасан поджидал санитара, чтобы вдвоем па плащ-ша-

матке, как на носилках, осторожно перенести раненого к тому месту, к
могло подвезти санитарную машину. Он подошел к раненому и хотел вз
его винтовку, но тот схватился рукой за ложу и строго сказал:

— Не трожь, я живой еще!

Рядом с Соколенко лежал Галактионов. Шевелев кончал набивать
тронами диск. Столетов дышал на свои пальцы, отогревая их.

Соколенко внимательно оглядел своих бойцов, гранаты были уже изр
ходованы, только одна, у пояса Столетова, была цела. Бутылка с восплам
няющейся жидкостью совсем не получали потому, что на этом участке не
не ждал неприятельских танков.

А теперь из-за леса слышно было, как они приближаются. Надо было
что бы то ни стало остановить их.

«А что у меня есть? — с тоской подумал Соколенко. — Ручные пулем
ты — как горох об стеклку! А если танки проскочат, то мы не выполним
приказ; да что приказ, — они смогут зайти во фланг атакующим наш
подразделениям...»

П он еще раз огляделся. Бойцы лежали, готовые по первой команде о
крыть стрельбу, итти в атаку.

«Они даже не представляют, что им сейчас предстоит», — подумал Сок
оленко и сказал:

— Передайте по цепи, что приближаются фашистские танки, пусть буд
головы!

«Надо остановить, — мучительно думал он. — Как? А вот...»

И он что-то сказал Галактионову так, что мог слышать только тот.

Галактионов весело улыбнулся.

— Попимаю, реквизит! Бутафория! — и он оглянулся внимательны
взглядом, отыскивая какой-то предмет.

Затем, спаяв с себя мешок, вытащил две пачки печенья «Ленч» и, держа
их в руках, осторожно вышел на дорогу.

Маленькой шашечной лопаткой он быстро выкопал прямоугольные ямки
какие роются для мин, положил в каждую по пачке печенья, вытащил
шашки вкотую в нее иголку, обмотанную толстой черной ниткой, раскрути
и протянул ее от этой ложной мины к краю дороги.

Все это он делал быстро, ловко, словно показывая друзьям на вечеринке
замысловатый фокус: Во-время мать посыпочку прислала!

Едва только он успел все это проделать и уйти с дороги в лес, нарочито
оставляя следы поглубже, как из-за поворота показался первый немецкий танк.

Он был небольшой, с не сильной броней, но все равно без крупнокалибре
ного пулемета или противотанкового ружья его нельзя было взять.

«Вот и он», — подумал Соколенко, глядя на танк.

За этим вышел второй, третий. Танки шли медленно, опасаясь мин на
дороге, и слышно было, что позади идут еще скрежещущие металлом гусеницы
машин.

Соколенко видел, как медленно по зубцам перекатывались траки гусеницы
первого танка, видел черную свастику на белом круге башни.

«Отличная мишень», — подумал он, — да стрелять нечем».

Передний танк дошел до сооружения Галактионова и остановился. Затем
медленно приподнялась верхняя круглая крышка люка, и оттуда на руку
выжался немецкий танкист. Он ловко перебросил свои ноги через край башни

и, не касаясь гусениц, соскочил на снег дороги и стал растирать ладонями уши. За ним таким же манером выскочил из машины второй танкист и стал рядом. Оба они были статные, румяные и молодые.

«Вот они какие», — подумал Соколенко, наблюдая и навсегда запомнивая каждое движение этих молодчиков.

Они подошли к сугробым бугоркам, оставленным на дороге Галактионовым, и, нагнувшись, стали рассматривать ниточку.

Танкисты тоже стали осталавливаться.

— Хальт! — вдруг громко крикнул первый немец и высоко поднял руку.

— Огонь! — скомандовал Соколенко и сам, поймав на мушку маузера второго немца, с чувством огромного облегчения нажал на спусковой крючок и выстрелил.

Шевелев бил из своего пистолета. Галактионов из полуавтомата, изо всех кустов раздавались выстрелы. Оба немца рухнули на землю.

Рейхвист поднялся. Он хотел сделать то же, что и в бою у хутора, но крышка люка первой машины с треском захлопнулась. Однако ее пистолет и пушка теперь были безвредны. Мотор яростно гудел, но водитель боялся поехать танк вперед, чтобы не взорваться на положенной на дорогу мине.

— Бей по щели! — крикнул Соколенко Шевелеву, и сам стал целиться.

Весь лес, казалось, был поднят бешеной стрельбой. Столетов сунул капсюль в гранату и расконтрил предохранитель.

Танки вели непрерывный огонь по лесу, по кустам изо всех своих пистолетов, били изо всех орудий.

И Соколенко, и Столяров, и Галактионов, и все, кто только был в лесу, лежали, прижавшись всем телом к снегу.

Бить по танкам можно было только прицельной стрельбой в смотровое отверстие. Но целиться было трудно так же, как и сохранять в такие минуты присутствие духа. В эти минуты непрерывной, неприцельной, беспорядочной стрельбы фашистских танков весь лес казался сплошным выстрелом.

«Да ведь это похоже на огневую панику», — подумал Соколенко и увидел, как молчаливый первый танк стал медленно поворачиваться.

«Вот он как!» — подумал Соколенко, мысль его лихорадочно работала все эти мгновения. Он все отлично видел, все отлично соображал. Пусть он станет непрек, и тогда ни один танк не пройдет.

— Ой, зачем я здесь лежу, — вдруг снова услышал он жалобный возглас раненого. И совсем рядом послышалось какое-то хлюпанье, похожее на кашель. Соколенко оглянулся. Шевелев лежал, уронив голову на вороненую сталь царевного ствола пистолета. Череп его был пробит немецкой пулой, в отверстие входил холодный воздух — и вот он-то и производил этот странный хлюпающий звук. Сбитая с головы изрешеченная пулами шапка Шевелева лежала тут же у руки, сжимающей ствол пистолета.

И Соколенко на мгновение представил себя лежащим на снегу, как Шевелев, и вдруг с какой-то непостижимой ясностью увидел, как дома, узнав о его смерти, будут стоять друг против друга сын и дочурка и плакать горючими детскими слезами, растирая кулачками глазенки, шмыгая носом... И когда он представил себе эту картину, ему вдруг стало очень жалко своих детей, но он сразу оборвал себя:

«Если жалеешь по-настоящему, останови танки! Сделаем так! Захватим первый, прогоним другие, надо учитывать и психический момент».

Он привстал и голосом, которого сам не узнав, крикнул:

— Товарищи, вперед, за мной, за детей наших, за Сталина, ура!

Он побежал по дороге. Отовсюду, послушные командирскому приказу, поднялись со своих мест саперы и бросились в атаку на неприятельские танки.

Они шли на семь неприятельских танков, вооруженные одними винтовками с плотно прижатыми штыками.

И перед этой броней, перед этой орудийной и пулеметной стрельбой, были как бы безоружны и все же, не думая об опасности, поднимались и жали вперед к неприятельским бронированным, плюющимся раскаленным таллом чудовищам... Падали, поднимались и, выкрикивая непонятные звуки, снова бежали к танкам. Иные из упавших больше не поднялись никогда.

Вместе с Ренковистом к первому танку добежал Галактионов и еще один боец, и они в упор стреляли в глазницы танка. Мотор заглох. Надо было ворить крышку. Она не поддавалась, хотя Галактионов исцарапал в края руки...

Столетов, тоже охваченный общим порывом, поднялся и, размахивая пистолетом, бежал к дороге.

Впереди него были люди. Он оглянулся и увидел, что позади тоже поднимаются и устремляются к дороге товарищи.

И он почувствовал такое неразделимое родство, такую связь с этими людьми, которые шли впереди, и с теми, которые поднимались за ним. Вдруг с нее укладывающейся в грамматические правильные фразы и с ясностью, он почувствил свое единство со всем великим народом, поднявшимся защищать родину. И еще больше он почувствил, что сейчас он действительно находится на переднем крае, а позади — деревни, города, дети, мужчины, женщины, перелески, реки, и снова дети, и люди, родные и незнакомые — народ. И он — часть этого живущего, неистребляемого и непокоренного народа.

Он кричал «ура» и бежал. Он не думал в эту секунду ни о какой опасности, хотя рядом и падали люди, и он почувствовал такое счастье и радость этого слияния своей воли, своей жизни, своей смерти, своих дел с жизнью народа, как никогда до сих пор не переживал.

И вдруг он увидел, что немецкие танки начинают поворачиваться и уходить. И еще он увидел, как Соколенко валится на снег дороги и рядом рвет снаряд. Изо всей силы вдогонку уходящему танку, к гусеницам его, метят Столетов свою гранату.

Немцы, испугавшись, уходили. Они думали, что идущие наближавшиеся ими советские бойцы несут с собой связки гранат, бутылки с воспламеняющейся жидкостью. Им никогда и в голову притти не могло, чтобы любые вооруженные одними винтовками, решили пойти в атаку на танки.

Первый танк стоял неподвижно на дороге. Трофей саперов!

Гасан Исмаилов склонился над телом Соколенко.

— Мгновенная смерть, — сказал он подошедшему Столетову, — снар 37-миллиметровый прошел через грудь.

Исмаилов встал и обнажил голову.

— Командовать буду я, — услышал Столетов голос младшего лейтенанта Нескова.

— Вперед! Через десять метров у развязки остановливаемся, раем круговую оборону... — И бойцы пошли вперед, вслед за ним.

Столетов стоял и глядел на распростертное на снегу тело Соколенко... Ему хотелось плакать.

Песков подошел к Столетову.

— Мне надо сообщить о случившемся в штаб. Однако каждый боец у меня на счету. Очень прошу вас — щите назад и передайте мою записочку. Только не обижайтесь, пожалуйста...

— Ладно, — сказал Столетов и взял из рук Пескова донесение.

— Товарищ писатель, вы куда пойдете сейчас? — подошел к нему Гасан Исмаилов. — Если обратно, то передайте там, пожалуйста, чтобы машину сюда пригнали, раненых увезти. Теперь можно беспрепятственно до этого места доехать.

— Ладно, передам, — сказал Столетов и пошел по дороге обратно к хутору.

Около трофейного танка хлопотал еще Ренквист. Увидев Столетова, он сконфузился.

— Нет, этот не оживет теперь. Я около него оставил... чтобы не повторилось.

Он стал объяснять, что не должно повториться. Столетов сам знал об этом.

Когда он доехал до хутора, уже начинались сумерки. Он послал за ранеными машину, передал с делегатом связи записочку Пескова и взошел по ступенькам на крыльцо. Анна хлопотала около раненых и, увидев Столетова, показала ему рукой, чтобы он проходил в следующую клетушку.

— Можете есть, если голодны, там уже пакрыто, — сказала она. — Жаль, что утром зарядки не дождались. Ну, как там?

— Если я когда-нибудь сумею, я напишу о том, что я видел сегодня, одну правду, и люди не будут верить... — сказал Столетов, проходя в соседнюю клетушку.

— Вот и отлично! — П. Анна подошла к раненому.

На столе стояли три прибора. Горячий гороховый суп был очень приятен после зимнего дня, проведенного в лесу. Аппетитные ломти толстого нарезанного свежего ржаного хлеба лежали на деревянном подносе.

— Для кого этот третий прибор? — спросил Столетов санитарку.

— Для комиссара, — ответила та и улыбнулась.

— Чего ты смеешься? — грустно спросил Столетов. И слова в ушах его раздались голос Соколенко: «За наших детей!»

— У доктора с комиссаром любовь, — сказала санитарка и снова довольна улыбнулась.

«Как же я, дурак, этого сразу не заметил? — подумал Столетов. Ему не захотелось есть.

В комнату вошла Анна.

— Садитесь кушать со мной, — тихо сказал Столетов.

— Нет, спасибо. Я подожду Соколенко, — ответила Анна и, взять что-то полочки, снова вышла. Но, выходя, она взглянула на Столетова, тоже вставшего из-за стола.

— Что с вами? У вас такой странный вид!

— Ничего особенного, просто очень устал.

Когда она вошла к раненым, один из них рассказывал другому, прибывшему раненые:

— Я думаю, теперь комиссару нашему Героя Советского Союза дадут.

— Да, это и после смерти бывает, — поддакнул другой.

В ту секунду Анна даже и не подумала, о ком шел разговор. И только когда через полчаса прибыла машина с ранеными и она, выйдя навстречу, окликнула Гасана, а он как-то странно, робко посмотрел на нее, не пошел на зов, а постарался, зайдя с другой стороны машины, незаметно скрыться, она вдруг поняла, что случилось что-то неладное. Не впая Прокофия среди прибывших раненых, она сразу вспомнила и лицо Столетова, и разговор бойцов, и поведение Гасана — и все поняла.

После этого она еще часа три делала перевязки, вытаскивала наружные осколки, стягивала разошедшиеся края ран, накладывала шины, но в сердце уже ширилась и ширилась какая-то небывалая пустота. И в глазах, хотя она оставались все время сухими, началась режущая боль.

Сделав все, что было нужно, ни о чем не думая, с ощущением того, что сердце ее вынуто, что все внутри выжжено, Анна вошла в соседнюю клетушку и увидела на столе два прибора.

— Дайте супу, — приказала она санитарке и показала на обе тарелки. Та наполнила их гороховым супом с мелко нарезанными ломтиками корейки.

Анна сидела безмолвно над своей тарелкой два часа, не берясь за ложку. Затем встала, посмотрела на вторую тарелку и с чувством отчаяния, злости и беспомощности своей, с непонятной силой, неожиданно для самой себя, вдруг ударила по ребру тарелки и столкнула ее на пол. Только тогда пришли к ней от самого сердца обильные горючие слезы. Они только еще больше усилили чувство беспомощности перед поразившим ее несчастием. Она плакала, положив голову на руки, и все тело вздрогивало от душивших ее слез...

Так плакала она долго. Потом, когда кончились слезы, она встала и, вытерев платком глаза, вышла обратно в соседнюю комнату.

— Кто здесь новый? — спросила она деловым голосом.

Глава десятая

ЗАЧЕМ ТЫ ПРИШЕЛ НА НАШУ ЗЕМЛЮ

Немецкий офицер стоял у саней и, размахивая руками, кричал на женщину. На санях лежали бревна. Женщина-возчик стояла попуро около входа в землянку и не подымала глаз па офицера.

— Ну, что ж, — сказал старший лейтенант Глебов и опустил бинокль, — их, по всей видимости, больше, чем нас. Но ничего, возьмем!

И он стал подсчитывать еще раз в уме огневые точки неприятеля. Перед тем как отдать приказ об атаке, он хотел сам проверить сведения, принесенные ему разведчиком.

В нескольких метрах от него лежали сейчас Бомба и Грунь, которых он на этот раз взял с собой.

С того места, где они лежали, был виден даже пар, вылетавший изо рта немецкого офицера, и скорбное выражение лица женщины.

— Теперь мы идем влево, посмотрим у дороги, — сказал, подползая, разведчиком, Глебов.

Все трое отползли среди кустов немногого назад и затем, поднявшись, пошли по снегу во весь рост, перазличимые среди кустов в своих маскировочных халатах.

Бетка оборвала завязки халата Бомбы.

— Эх, Егорку и Митьку бы! — произнес он с сокрушением.

— Что! — спросил Грунь.

— Иголку и нитку! — пояснил Бомба.

Дальше они шли уже молча. Молчал и Глебов, обдумывая предстоящую через час атаку.

Он хотел выслать несколько человек с пулеметом на дорогу, в тыл немцам, чтобы бить их, когда они начнут отходить, и сейчас Глебов просматривал подход к этой дороге.

Под приказом, полученным в полку, стояла подпись — Свирский, которая подавляла у него целый рой воспоминаний. Он знал, что всякий приказ должен быть выполнен, но к приказу, подписанному Свирским, относился с особым уважением. Эта подпись сразу напомнила ему детство — кубанские жирные бескрайние степи, конюшни артдивизиона, роющих копытами круглобоких коней и расписание занятий, белевшее на черной доске, внизу которой всегда стояла подпись командира дивизиона Свирского. Потеряв отца и мать в 1922 году, Глебов долго беспризорничал, пока не стал воспитанником артдивизиона. И вот сейчас, когда он увидел под приказом тонкий ресчерк Свирского, ему припомнились хруст овса на зубах лошадей, и детство в конюшнях артдивизиона, и вся жизнь, вплоть до третьего кубика на штетлицах, полученного на днях.

«После взятия Лазарево, — решил Глебов, — пойду к Свирскому, напомни ему о старом знакомстве».

Вдруг Грунь, шагавший впереди Глебова, остановился.

Он стоял и смотрел на дорогу, до которой было метров сорок. Глебов и парикмахер из Старой Руссы тоже стали всматриваться.

С края у дороги темнело какое-то тело, в черном зипуне, с головой, повязанной платком. На снегу лежала женщина. Около нее стоял встревоженный и растерянный мальчуган лет четырех. Голова его тоже была повязана шерстяным платком, на ножках одеты узорчатые валенки.

«Совсем как у моего брательника, — вспомнил Бомба, — совсем как Мишка».

«Надо бы подойти, да опасно у дороги, можно обнаружить себя», — подумал старший лейтенант, сделал шаг вперед, но остановился, услышав гудение танковых моторов.

Танки шли по дороге из деревни Лазарево.

«Вот хорошо, — обрадовался Глебов, — они уводят танки, нам легче атаковать будет».

Танки шли по дороге, направляясь к развилке, на помощь группе, отброшенной саперным батальоном. Это были те самые танки, которые через час атаковал Соколенко. Они шли уверенно, не торопясь, взметая по дороге снежную пыль, грохоча гусеницами.

— Уходит! — радуясь, прошептал Глебов.

Мальчик на дороге, услышав шум приближающихся танков, повернулся лицом к вынырнувшим из-за деревьев машинам. Они приближались к тому месту, где стоял этот забавный, трогательный каралуз.

И тут Глебов увидел то, о чем никогда и никому он после не мог рассказать, боясь, что у него остановится сердце.

Мальчуган со страхом посмотрел на идущие по дороге танки, поднял робко и беспомощно кверху ручонки в пестрых пуховых варежках, как бы сдаваясь в плен.

«Сколько он должен был пережить, этот бутуз, — подумал Глебов, — чтобы узнат, когда нужно поднять руки вверх!»

Танк шел, не замедляя ход... Он уже прошел мимо мальчика, но видно, водитель передумал, и танк, вильнув, сошел с середины дороги, прямо наехал на ребенка, не достигавшего даже протянутой рукой верхнюю гусеницу. Он подмял и раздавил мальчика и затем, продолжая свое движение вперед, вернулся на середину дороги.

За ним спокойно шли другие танки.

— Ох, — со стоном сказал Грунь.

— Идемте назад, товарищи! — позвал Глебов. — Вы все видели?

— Совсем как мой Мишка! — пробормотал Бомба и заплакал. Они покинулись и пошли обратно. Конда они подходили к своим, Грунь внимательно посмотрел на старшего лейтенанта.

— У вас снег на волосах? — спросил он.

— Может быть, — ответил Глебов и провел ладонью по волосам, убирая этим движением подушечку поседевшую за это утро прядь волос.

Подходя к бойцам, уже совсем готовым к атаке, они услышали близкий рокот авиамоторов. Нади бомбардировщики пикировали над передним краем немецких укреплений. Видно было, как черными каплями отделяют бомбы от самолетов, как взметают они в воздух черные гейзеры земли. Грозы, казалось, наполнял уши каким-то плотным веществом.

Оглушительными очередями автоматических зениток встретили немцы самолеты. Но те развернулись и ушли обратно невредимыми.

И бомбейка, и то, что самолеты ушли нетронутыми, доставляло Глебову огромное облегчение, — как будто к воспаленному месту прикладывали холмский, освежающий компресс.

Выдвинутые вперед орудия дали прямой наводкой несколько выстрелов. Снаряд влетел во вражеский блиндаж и поднял его крышу стоймя. Из немецкого расположения тоже ударило орудие, и снаряд его покарекал дуло наушники.

Глебов оглянулся, посмотрел на часы и, взмахнув рукой, закричал:

— За родину! За Сталина! Урра! — и, выскочив из-за кустов, побежал немецким окопам.

«Я, наверное, делаю неправильно, я командир — должен руководить, а драться, как рядовой боец», — в то же мгновение подумал он. Но не бежал вперед с автоматом в руке, посыпая очереди на врага, было бы сейчас свыше его сил. Он оглянулся: широко раскрывая рты, с криком бежали за ним немецкие окопы бойцы. Бежал невысокий Грунь, рядом с ним еще боевой слева Бомба. Бежали и другие знакомые бойцы, младший лейтенант-артиллерист, бежал Петин, разворачивая катушку с проводом, сандружинница Мару. И рядом с пею, тоже крича и проваливаясь в снег, бежали, держа наперевинтовки, артиллеристы из расчета только что подбитого немцами орудия.

Прямо в гущу атакующих ударили снаряды противотанкового орудия, которое немцы вытащили на гребень блиндажа. На мгновение, еще раз оглянувшись, Глебов увидел, как разметанные разорвавшимися снарядом падают на снег бойцы, но и это, мгновенно промелькнувшее перед его глазами видение, тоже

придаю ему новой силы. Он был уже в нескольких шагах от немецкого окопа. И разрядил диск в высунувшего голову немецкого унтера. Ответная пуля перебила ремень, па котором держался автомат. Глебов выхватил пистолет и прыгнул в немецкий окоп. Сразу сзади себя он услышал тяжелое сопение Груня, и громкий голос этого сильного коренастого паренька прорезал воздух:

— Зачем ты пришел на нашу землю? — кричал Грунь и вонзил свой штык в немца.

— Зачем ты пришел на нашу землю! — подхватывали этот крик и другие бойцы, напрягая все свои силы для того, чтобы поскорее достичь немецких окопов.

— Зачем ты пришел на нашу землю! — повторил Глебов, пробегая по ходу сообщения к двери немецкого блиндажа.

Ход был узкий, и широкими своими плечами Глебов все время задевал стенки, сбивая ярко-желтый песок. Дверь была заперта, — он поднаждал своим сильным плечом и сорвал с петель досчатую дверку блиндажа. Вбегая в блиндаж, он хотя и наклонился, но все же зацепил головой притолоку. Нажав гашетку пистолета, тяжело дыша, Глебов выпустил сразу все десять пуль в полуоткрытую блиндажа. Свет проникал сюда через маленькие целлулоидные оконца, снятые с грузовиков.

Навстречу Глебову метнулся немецкий офицер, Глебов бросил в его голову разряженный пистолет, услышал, как хрустнула черепная кость, и затем, ип на мгновение не прекращая движения, вытащил из-за пояса длинный тесак, тесаком зажав рукоять, бросился вперед и с чувством облегчения вонзил его во что-то мягкое, затем вытащил и, снова слегка повернувшись, ударил тесаком вправо и вдруг почувствовал на своей шее жесткие давящие пальцы. Он захрипел и повернулся тесаком, в глазах его поплыли, перекатываясь радугой, круги, и тут он услышал за собой возглас Бомбы: «Это вам за Мишку! За брательника!» И пальцы, душившие его, разнялись.

Глебов глубоко вобрал в себя воздух... В дальнем углу большого офицерского блиндажа жались спинами к стенке, подняв вверх руки, два немецких солдата.

Бомба бросился к ним.

— Ты мне отвечаешь за их жизнь! — бросил Глебов и выскочил из блиндажа, в котором было чадно от порохового дыма. Ему казалось, что он бежит, в то время как он с трудом переставлял ноги. Выйдя в ход сообщения и высунувшись наружу, он сразу, привычным глазом охватил все детали, все мельчайшие схватки, которые другому могли бы показаться беспорядком, — для него они были естественным течением боя. Он увидел, как его люди еще дрались с прислугой немецкого орудия, услышал стрельбу и отчаянный, перекрывающий все звуки мат в немецких окопах. Неподалеку, у самой стенки безопасного тоннеля блиндажа, Маруся, с разгоряченным, разрумянившимся лицом, склонившись над раненым, вытаскивала из открытой сапитарной сумки ленту кровоостанавливающего бинта. Впереди запятой теперь пами линии окопов ко второй линии немецких блиндажей полз артиллерийский наблюдатель.

Полушубок Глебова был забрызган кровью, в первую секунду он подумал, что запачкался, но затем почувствовал, как что-то горячее и липкое тянется по левой руке. Он взглянул и увидел, что полушубок его распорот и штыком задета рука.

Бойцы из расчета разбитого орудия поворачивали захваченную немецкую пушку дулом к недавним хозяевам. Подоспевший уже поставил замковому бывший медью гильзы узкий снаряд.

— Огонь! — скомандовал сержант — командир орудия, и хотя оно стояло в пятидесяти метрах от Глебова, все же он отметил, что и на этом расстоянии он раньше увидел вспышку и лишь после услыхал грохот выстрела.

— Огонь! — скомандовал второй раз сержант и упал.

— Вперед! — крикнул Глебов.

Но в этот момент ожила вторая линия немецкой обороны, затарахнувшись пулеметы. С противным визгом в нескольких шагах от окопа разорвалась неприятельская мина, и поверх снега легла серая пыль взорванной разрыхленной земли.

«Нет, — подумал Глебов, — так нельзя — в лоб на пулеметы» — и приказал занимать оборону.

Он снова вступал в свои командирские обязанности.

Глядя на подбирающегося к немецким ДЗОТАм второй линии корректировщика в маскировочном халате, он решил, что сначала надо ударить из оружия по блиндажам.

Корректировщик прижал к губам трубку и произнес какие-то, не слышанные Глебову слова.

Через полминуты раздался орудийный выстрел, и через головы бойцов занявших первую линию, разрывая небесную синеву, понесся со звуком, который бывает, когда продавец раздирает материю, снаряд; он разорвался метров в пятидесяти позади второй линии.

Глебов видел, как снова корректировщик прилип к трубке и что-то с горячностью говорить, затем с досадой положил ее на снег, видимо, провод был порван осколком мины.

Вместе с Глебовым, не отрывая ни на секунду глаз, наблюдал за корректировщиком Петин. Он также видел, с какой бессильной досадой положил на снег телефонную трубку корректировщик.

Он видел, как рвался первый снаряд за немецкими укреплениями и второго снаряда не последовало. Он посмотрел внимательно вперед, поле было чистое и ровное, снег гладкий, — впереди разрыва линии не было.

«Значит, позади», — подумал Петин.

Ему очень не хотелось выходить из окопа, казавшегося теперь самым уютным местом в мире, на открытое поле, где то и дело с леденящим дыханием, хрупким и повизгиванием лопались немецкие мины. Он еще взглянул вперед на корректировщика и подошел к старшему лейтенанту.

— Товарищ командир, — тихо сказал он, — пожми мне руку!

Глебов обеими руками пожал руку связиста.

— Ну, с ботом! — сказал он, и Петин, опершись руками на край обрыва, решительно перебросил ноги за край.

Глебов, не переставая наблюдать за тем, что творится впереди, то и обворачивался и смотрел, как Петин ползет по снегу вдоль телефонного провода. Когда вблизи от него рвалась мина, Петин переставал ползти и лежал несколько секунд без движения, вобрав голову в плечи, припрятав всем телом к земле. Затем он полз дальше в сторону леска, где находились из атакой красноармейцы. Один раз Петин приподнялся на локтях и увидел дальний темнеющий лесок.

«Какая неправильная пословица про хвойные леса, — подумал он: «

мою и летом — одним цветом!» Ничего подобного — зимою хвоя темнее, матово и, смешанная со свинцовыми белилами спекта, дает совсем другой цвет! Совсем другой эффект, но странно, почему это я раньше так мало различал?»

И в эту минуту, метрах в пятнадцати от него, разорвалась немецкая мина. Петин замер, хотя сейчас ему хотелось передвигаться прыжками. Он увидел место, где осколок порвал проволоку.

Через минуту он был уже около этого места, быстро нашел второй конец оборванного провода, подтянул его к первому и, держа оба конца защатыми в одной руке, другую быстро вытащил кружок липкой изоляционной ленты и начал соединять концы проволоки, предварительно заголовив их. Он был весь поглощен этим делом, когда шагах в десяти от него разорвалась немецкая мина. Петин почувствовал страшный удар по руке, по кисти

«Ранен, что ли», — с досадой подумал он и взглянул на руку.

Кисти не было. На том месте, где она должна была начинаться, торчали ключьями рваные кусочки мяса и струилась кровь, пятна белый снег.

Другая рука отпустила оба конца провода, и они лежали на снегу, отделенные друг от друга пространством в два-три вершка.

«Странно, почему не болит? — подумал Петин, — и вслед за этой мыслью пришла вторая. — Как соединить концы провода?»

Он боком пододвинулся к проволоке и снова левой рукой взял один провод, потом наложил один конец на другой и сжал их.

Кровь не перерывно, горячей струей, лилась на снег и, смешиваясь с ним, замерзала багровыми ледышками. И вдруг Петин почувствовал, что его неудержимо клонит ко спну. И рука тоже начинает пытать, то пока боль была, к удивлению Петина, невелика.

«Это слабость от потери крови», — подумал Петин, — борясь с желанием закрыть глаза, ледь на снег и заснуть.

«Но если я засну или умру, провода выскользнут из руки, и все это выйдет ни к чему...»

Он лег на грудь, взял наложенные друг на друга концы в рот и крепко зажал их зубами.

«Челюсти так легко не разжимаются», — подумал Петин — и уткнулся лицом в снег. Холод стал сводить челюсти, зубы начали дробно, мелко стучать. Петин языком ощущил холодный кисловатый привкус металлического провода. Усилием воли он сжал челюсти и еще плотнее прикусил зубами концы провода. Примерзающей кожей языка он почувствовал, как по проводам пошел ток, — и улыбнулся еще раз.

«Действует, — подумал Петин, — все в порядке».

Перед его глазами поплыли радужные круги.

«Я умираю», — подумал он и почувствовал, что теперь уже он сам не в состоянии разжать зубы. Ему вспомнилась страница ученической тетрадки в клетку, на которой Крапивин острым и узким почерком писал ему рекомендацию: «Партии и родине предан...»

«Я не подвел тебя, товарищ комиссар», — подумал он, и это было его последней мыслью.

И в то время, когда он так лежал, умирая, через его тело шел ток, и Глебов увидел, как корректировщик, еще раз поднесший па-авось трубку к уху, вдруг ожился и заговорил. И один за другим пошли рваться снаряды, все приближаясь и приближаясь к немецким блиндажам.

Глебов обернулся и увидел ничком без движения лежавшего Петина, темный лесок вдалеке, и огромное, пустое, высокое, синеватое небо над щи

Краливин со Свирским не успели прибыть, как им хотелось, к атаке первой линии потому, что задержались около монтсеров.

Над их головами прошли бомбардировщики. Послышались глухие разрывы бомб, бойкая звонкая отповедь зениток и крики «ура!». Это они слышали уже подходя к орудиям, стоявшим в леске на другом берегу.

Груэнный, добродушный подполковник держал, не отрывая от уха, телефонную трубку и отдавал распоряжения связному.

Бой шел в окопах.

— Первая линия занята, — торжествующе сказал подполковник, не отрывая трубки от уха. И громко спросил: — Где Голубец? Где Голубенко?

— Голубец и Голубенко повели лошадей в лес, от обстрела прятаться, — отозвался боец.

— Это тоже правильно. Молодцы! — попрежнему весело сказал подполковник. — Сейчас огня дадим! Дадим фрицам жизни! Огоньку подбросим Ориентир!

И он подал команду артиллеристам.

Последовал выстрел.

— Под Лазаревым, я вижу, все в порядке, — сказал Свирский. — Ялагаю, что и у Соколенко в порядке будет... Пожалуй, и впрямь будем получать сведения в Энске, в прославленной обители чудотворной богоматери...

— Я пойду вперед, к Глебову, — сказал Краливин.

— Плите, скажите, что мы рассчитываем, что он к двум часам займет деревню Лазарево.

Подполковник, не отрывая от уха трубки, отдавал распоряжения.

— Два деления! — кричал он. — Огонь! Огонь! — Так! Правильно!

Грохот орудийной стрельбы был оглушителен.

— Знаете, Краливин, — сказал Свирский, и лицо его просияло улыбкой, — знаете, Краливин, чем я займусь после войны?

Краливин взглянул в серые утомленные глаза Смирского.

— После войны я займусь пчеловодством. Понимаете, ульи... Пасека Тиштана, тиштана... Ну, идите!

И Краливин отправился вперед, к Глебову.

— Товарищ полковник, — обратился подполковник-артиллерист к Смирскому, — прошу вас отметить, что мой корректировщик, младший лейтенант Саломатин, корректирует сейчас огонь па себя.

Немецкие пулеметы не давали поднять головы. Немцы вели рассеянный огонь и, боясь повторения штыковой атаки, не жалели патронов.

— Товарищ Грунь, — подозвал к себе Глебов разведчика, — понимаю, надо уничтожить немецкий пулемет, который бьет в лоб.

— Понимаю, — сказал Грунь. — Разрешите с собой товарища Смирина взять?

— Ладно.

Через минуту Грунь и Смирнов ползли по разреженному лесу ко второй линии немецкой обороны, находившейся на небольшой высотке. Они ползли, прячась за кочки, останавливаясь за голыми стволами срезанных спарадами деревьев.

И все же через тридцать-сорок метров немецкие пули, одна за другой, попали в руку и ногу Смирнову.

— Лежи, — приказал ему Грунь и пополз вперед один.

Он подполз к небольшому завалу перед немецким блиндажом и затаился, чтобы перевести дыхание и высмотреть лучшее неприятельское расположение.

Глебов посмотрел на свои ручные часы: они были разбиты. Стрелок не стало, но он чувствовал, что пора начинать. Он оглянулся и увидел рядом с собой Краливица.

— Свирский привет передал... На тебя надеется... К двум надо занять Лазарево, — сказал Краливин.

— Знаю! Только, видите, легче пройти полмира, чем эти восемьдесят или ста метров, — и Глебов кивнул на лежащий перед ними и отделяющий их от немецкой линии прореженный лесок.

Требовалось большое усилие воли, чтобы, хоть немного присподнявшись, высмотреть вперед, а встать во весь ростказалось просто невозможным.

— Ладно, — сказал Краливин и громко произнес: — Товарищи бойцы, командиры и политработники! Сейчас получено сообщение о том, что наши доблестными товарищами — бойцами Красной Армии разгромлены немецкие части под Ельцом, уничтожены тысячи фашистов, взяты огромные трофеи, город Елец освобожден от немецких насильников! Товарищи, будем достойными наших братьев под Ельцом, разгромим и уничтожим немецкую сволочь, освободим Энск, поможем славному Ленинграду. Вперед! За родину! Ура!

— Вперед, ура! — крикнул Глебов, и они выползли из окопов, по десятки людей уже успели опередить их и бежали вперед под неприятельским огнем.

— Хлопцы, я ваш бог! — услышал Краливин голос Сухарева. — Бей за Белодерковского! Бей за Фадейкина! Бей за Иванова!

— За Минку! — кричал парикмахер из Старой Руссы и снова повторил свой клич: — Зачем ты пришел на нашу землю?

— Ура! — песлась по полю.

Как только Грунь услышал команду Глебова и боевые крики товарищей, он, разорвав в клочья обмунирование, переметнулся через завал и, сделав несколько шагов, бросил в открытую дверь блиндажа ручную бутылочную гранату. Он не знал, что в ту секунду блиндаж был пуст. Метнув с шумом разорвавшуюся гранату, Грунь побежал к ближайшей сосне, чтобы, притаившись за выступающим ее толстым и узловатым корнем, оглядеться. Но не успел он подбежать, как с дерева, с высоты четырех метров, соскользнул немецкий солдат, «кукушка», стрелявший в Смирнова.

Это был огромный детина. Соскользывая, он уронил винтовку, но, быстро встав на ноги, бросил в подбегающего Груня круглую ручную гранату.

Грунь продолжал бежать на немца. По счастливой случайности граната проскочила мимо и разорвалась в нескольких метрах позади, только забрызгав шинель каплями жесткой земли.

Немец, увидев, что Грунь невредим, повернулся и побежал от него, но не успел сделать только три шага — Грунь выстрелил, и его пуля пробила немца павылёт. В то же мгновение Грунь бросился к срубу недоделанного

еще блиндажа, открытого сверху. Оттуда продолжал строчить по наступающим немецкий пулемет. Грунь перегнулся через край и увидел, что за ним лежат два солдата, а офицер с пистолетом стоит на коленях рядом с ними. Грунь нажал курок, но только напрасно щелкнул: патроны были расходованы.

Офицер поднял голову и, увидев возникшее перед срубом лицо Груни, быстро поднял руку и выстрелил в него из пистолета.

Но еще быстрее, чем произошел выстрел, Грунь присел на корточки, пули только сбили ушанку с его головы. А офицер был уверен, что у дерзкого красноармейца.

Грунь, быстро и часто дыша, перезарядил винтовку и, переместившись на два шага, встал за спиной офицера, выстрелил в пулеметчика, лежащего около работающего пулемета, и сразу присел. Пулемет захлебнулся. Офицер начал стрелять из пистолета по сторонам. И тогда, сняв предохранитель, встремившись гранатой, Грунь осторожно, чтобы не перелетела, перебросил ее в блиндаж. Сразу прохнул взрыв и встал столб дыма с землей. Не дожидаясь пока уляжется дым, Грунь прыгнул в блиндаж и, не глядя на убитых немцев, бросился к пулемету. Увидав, что пулемет не испорчен, он начал поворачивать его дулом в обратную сторону. Руки немецкого пулеметчика застягнули у рукоятки пулемета. Грунь с силой расправил застягнувшие наручники, затем повернул пулемет и улегся за ним.

Группа немцев бежала от домов к линии блиндажей на подкрепленным своим.

«Иль ты! Ловко!» — подумал Грунь и нажал гашетку.

Солдаты, подкощенные длиной, неизрываемшейся до тех пор, пока была истрачена лента, очередью, падали один за другим. Падали по-разному — и пласями, и павзичь, и становясь сначала на колени, подпрыгивая. Каждый из них был личным врагом Груни, и поэтому, видя как падают солдаты в зеленых шинелях, он испытывал наслаждение.

Больше двадцати человек уничтожил он из немецкого пулемета, когда всем рядом раздались громкие родные голоса.

Справа от своего блиндажа Грунь услышал возглас:

— Хлоинцы! Я ваш бог, за мной!

Слева прозвучал знакомый голос Бомбы:

— Зачем ты пришел на нашу землю?

Рядом с Грунем очутился Кративин.

— Вперед! — сказал он, помогая Грунью взять коробки с лентами.

Когда Свирский уходил от орудий, он увидел клубы черного дыма, поднимающегося над деревней Лазарево.

— Вы давали зажигательные снаряды?

— Нет, — ответил подполковник.

— Значит, немец поджег! Прекрасный симптом! Они уходят из деревни

— Огонь по дороге! — скомандовал подполковник.

Когда наша шехата, захватив вторую линию немецких окопов, вошла деревню Лазарево, с гудением и лязганием перешривившись по лопотущему мосту, прошли, взметая слег, танки. Пройдя свободно Лазарево, они неоднократно ворвались с севера в город и доверили на том участке разгром

неб. В это время с юга и с востока в город входили, прорвав немецкую обороночную, части других опергрупп.

Может быть, это и к лучшему, что танки запоздали к началу боя, — думал потом Краинин.— Тем неожиданнее и страшнее было их появление в заключительный момент. А пехота и без них хорошо начала.

Итак, город Энск освобожден!

Илан немецкого прорыва на северные коммуникации республики, о завершении которого объявило немецкое командование, был сорван. Ставка на окружение Ленинграда на его дальних подступах была бита.

Наши части, насыпя контрудар, продолжали преследовать неприятеля.

Слава этой операции прошла по всему миру, но ни Краинину, ни Байдалакову, ни Свирскому, ни Глебову не удалось, как они мечтали, в эту ночь попасть в отбитом у немцев Энске. Полк Глебова, получившего в эту ночь звание майора, прошел по окраине и, не заходя в город, устремился по дороге, преследуя отходящих в беспорядке и бросающих сражне и машины немцев.

Краинин с Байдалаковымшли по улице города и считали в быстро наступающей тьме брошенные немцами трусы и кишки. Краинин подходил к каждому и, отворачивая краиник, проверял, выпущена ли вода из радиатора.

— Так мне велел Соколенко!.. Ты понимаешь? Ты чувствуешь? — говорил он Байдалакову.— Мы ходим по улицам Энска! Кажется, кто-то не верил, что мы его отобьем?

— Вот так мы с тобой будем ходить и по Берлину.

Снег поскрипывал под их валенками, и им казалось, что рядом кто-то едет.

— Ей-богу не хочется спать!

Над темным разбитым городом в густом синем небе вставала холодная луна, высоко к небу поднимались касавшиеся черными при луне луковицы ногоглавой церкви старинного, печального, много видавшего монастыря. Близу над обрывом шла выложенная из кирпича монастырская стена, измазанная кремлевской.

Еще темнее казались провалы выбитых окон. Как Байдалаков ни глядел, не мог найти ни одного целого дома. Сорванные железные крышки жалобно громыхали, раздирая сердце своим металлическим визгом. Оборванные троихи высирили из стен. Деревянные стены домов кособочились, иные из них уже обуглились. Через разбитые окна была видна лесенка. На втором этаже после площадки марши ее, с кованой решеткой перил, никуда не прыгнул и обрывался, как бы стремясь в небо.

— Ну, знаешь, работы, работы будет после войны! Стекла одного понадобятся сколько! — сказал Байдалаков.

Они прошли дальше по улице, сорвав на углу прибитую немцами допинку: «Гауптштрассе». Под ней темнела эмалированная синяя табличка, большими буквами было выведено: «Советская».

Краинин с Байдалаковымшли в свою временную штаб-квартиру в пиз-м свободчатом подвале разбитого каменного дома.

Им казалось, что в городе совсем не было жителей. Кругом — только короткие березовые кресты немецких могил, врытые в газоны, в мос-

товые и толпящиеся даже во внутренних дворах домов. Около некоторых стов стояли горшки с замерзшими геранями, олеандрами, китайскими развязанными солдатами в оставленных населением квартирах.

Напротив штаб-квартиры с промерзшим каменным подвалом, на которого блестел лед, горел двухэтажный деревянный домик.

Около него стояли бойцы и наблюдали за высокими вьющимися языками пламени. И так странно было видеть стоящий на подоконнике второго этажа высокий цветок бальзамина.

«Уж не композиторский ли это домик? — подумал Кралишин, и его озабочила страшная тоска. — Неужели и с Киевом, и с Вишницей, где была моя любовь, они сотворили такое?»

— Надюшка, родная моя, — сказал он вслух. — Грязные мои ноги! По улице проходили орудия на конной тяге,

На корешком сидел Голубенко, на пристяжной — Голубец. Они оба напевали: «Ой за гаем, гаем, гаем зеленельким».

— Так, — сказал Кралишин и, пагнувшись, стал спускаться по скользким ступенькам. — Не удалось нам с Соколенко встретиться в Энске, как сорвались, и не удается вместе побывать в Ленинграде.

И он представил себе, как Соколенко вытаскивает большой посовой и ток с голубой каймой, чтобы прортереть запотевшие очки.

«Что же, после об этом вспомним, все вспомним, — подумал он и поклонился вдруг: Нет, не после! Сейчас, сейчас, ни одной минуты, ни секунды, ни памятью ума, ни памятью сердца нельзя забыть ни Соколена ни моих четырех у переправы, ни этого разрушенного, опустошенного города... Ничего не забывать. Как это ни тяжело, все это надо нести в себе, своем!»

И пока Байдалаков разговаривал с бойцами, таскавшими мотки телефонных проводов, пулеметы, ящики с патронами и прочими трофеями, Кралишин примостился у края стола и при свете оплывающей свечи стал записывать быстрые строки в свой дневник, который он вел для Татьяны, для того чтобы при встрече отдать ей все написанное. И даже теперь, когда он знал адрес, он все еще продолжал вести тетрадь для нее.

Голубец и Голубенко, проехав со своими орудиями через город, вступив на темную лесную дорогу и, утомленно покачиваясь в седлах, шели:

Как во первом во садочке
Кукушечка куковала,
Как во втором во садочке
Соловейка распевала,
Как во третьем во садочке
Мать сыночка провожала.

Глава одиннадцатая

НАСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Кралишин еще издали, из-за косых плетней, заметил толпу на деревянной улице, среди которой, как монумент, возвышался огромный и пепелистый Степняк.

Казалось бы, после такого напряжения, которым сопровождалось освобождение Энска, Кралишин должен был чувствовать себя усталым. Но его

приподнимало, прогоняло прочь усталость какое-то новое чувство, похожее на то, что поэты называют вдохновением, — чувство, которое вместе с ним разделяли сотни людей, узнавшие, что сегодня утром Советское Информбюро на весь мир сообщило о разгроме врага и освобождении Энска.

— Товарищи, товарищи, это про нас с вами говорят, — радовалась Маруся, перебинтовывая раны и слушая радио.

— Ловко, ребята! На весь свет про нас слава! — сказал Груль своим товарищам.

— Ну, теперь гремит останавливаешься! — крикнул Сухарев, узнав о своем. Он шагал по дороге, по которой еще недавно проходили немцы.

Это же чувство владело Ельцовым — парикмахером из Старой Руссы, когда, увидев догонявшую их походную кухню, он провозгласил:

— Ну, нет, ребята! Если мы остановимся на обед, то и немцы за этот час успеют победить или оторваться от нас. Не будем задерживаться.

И бойцы в один голос сказали:

— Не будем останавливаться.

И они шли по дороге, запесенной снегом, по дороге, где таились мины. И с каждым пройденным шагом, с каждым замеченным у дороги немецким трущом, немецкой брошенной машиной это чувство все возрастало и возрастило.

Всего шестнадцать часов прошло с той минуты, как мы ворвались в Энск, а уже Глебов находится на сорок пятом километре, — радовался Крапивин, шагая по дороге и запево переживая то общее приводненное настроение, которое затем в политдокладе сформулировано было как «высокий наступательный порыв войск».

Подходя к деревушке, где сегодня располагался штаб, нащупывая в кармане хрустящие листы с описью трофеев, он собирался доложить обо всем, что видел и слышал, командованию.

Крапивин подошел к толпе, окружавшей Степняка.

Суровый седой старичок с редкой бородкой держал за руку молодую, красивую женщину, которая нагло глядела в рябоватое лицо Степняка, и высоким голосом кричал:

— Если ты настоящий комиссар! Если ты настоящий комиссар, то ты расстреляешь эту тварь!..

Крапивин взглянул на женщину. Большой шерстяной платок спал с ее гладко зачесанной головы на плечи.

— Что она сделала? — строго спросил Степняк.

— С немцами снохалась, — раздались выкрики.

— Ямы с картошкой показала!

— К нашим землянкам в лес проводила, немцы пас сюда обратно и пригнали!

— На патефонах разыгрывала! Теперь потанцуй!

Дело в том, что, когда немцы вошли в деревню, Руслана Джибовскую пошла по избам и, собрав все патефоны с пластинками, принесла их немецким солдатам.

— Нетъкү Зверева выдала! — сказал совсем спокойным голосом старик, который держал женщину за руку, словно боясь, что она скроется от возмездия.

Петрка Зверев был тем колхозным пастушонком, который служил вождиком Степановой по землянкам в окрестных лесах.

— Немцы парнишку с собой угнали, ему всего двенадцать лет был, — сказал старик, — отец его в Красной Армии ездовым служит... А мать солдат.

И все обернулись и могли смотреть на женщину, прислонившуюся спиной к пиле. Руки ее были опущены вдоль темнокоричневой шубенки, обивкой краем черной блестящей с тисненым рисунком каймой. Оша беззвучно погнула сухими губами, и только глаза ее влажно блестели.

Наглая краинская женщина тоже посмотрела в эти глаза и, прочитав в них приговор себе, вырвала руку у старика и, вздрагивая от холода, нахмурила на голову платок.

Старик вдруг снова схватил за руку предательницу и высоким голосом прокричал Степняку:

— Если ты большевик, если ты настоящий комиссар, ты расстреляешь эту тварь!

— Есть расстрелять эту тварь, — твердо сказал Степняк.

Красноармейцы уволили Джировскую.

Выбрались из толпы, Степняк и Краинин вошли в просторную избу.

— Здесь будет штаб на сегодня, — сказал Степняк, улыбаясь, и Краинин только в первый раз заметил, какая у этого рослого и грузного мужчины располагающая улыбка.

Когда они вошли в комнату, мимо них прошмыгнулся белобрысый, голубоглазый мальчуган лет десяти-двенадцати. В комнате их встретила молодая благообразная женщина в зеленом платье, с ребенком на руках. Увидев вошедших, она начала всхлипывать.

— Что с тобой, милая? — ласково спросил ее Степняк. — Немцы обидели?

— Они, товарищ командир, опять, — заплакала женщина и сквозь слезы стала рассказывать о своем горе: — Понимаете, товарищи, входит он в избу с пистолетом, берет у меня из рук Олеинку, кладет на стол и бросается на меня. И тут же Ванечка мой стоит — парнишка одиннадцати лет, и все понимает... Он с тех пор как оглушенный ходит... Молчит все... И воопрекинул меня солдат на кровать, опоганил и ушел. А я с испокоренной головой стою. В прорубь бросаться хотела с Олеинкой, да Ванечку оставил жалко. А как подумаю, что Петр с войны воротится, и как он на меня посмотрит и что скажет, так думаю, что в прорубь, может быть, лучше myself минуту...

Она стояла перед товарищами, всхлипывая, утирая глаза концом платка, держа в одной руке малютку, обхватившую ее шею обеими ручонками. Степняк подошел к ней и ложился свою тяжелую, пухлую руку на ее плечо.

— Не убивайся, родная! — сказал он. — Твой муж — боец Красной Армии, он поймет, что ты ни в чем не повинна. Право, это всякий человек поймет. Ты же ни в чем не повинна, — повторил он и погладил ее плечо.

И от этой неожиданной ласки женщина начала плакать промчке, плечо ее затрягалось.

— Горе твое, — наше горе, — сказал Степняк и пододвигнул ей стул, — разве у нас нет матерей, жен, сестер? Ну вот — таким же голосом, без перехода, продолжал он, — мы хотели бы разместиться у тебя в избе.

— Никак нельзя,— продолжая еще всхлипывать, отозвалась женщина,— меня уже остановились... медицинский пункт... Военная женщина...

Степняк встал со стула.

— Ну, мы пойдем, голубушка, прости...

В эту минуту в комнату, сопровождаемая Гасаном Исмаиловым и девушкой-военфельдшером, вошла Аниа. Лицо ее осушилось за эти два дня. Глаза истекли. Крапивин не мог в них найти того блеска, который запомнил ее еще в тот дождливый августовский день, когда Соколенко предложил ей из юбок сделать носилки.

Крапивин мучился тем, что не знает, что сказать Ание, чем утешить ее в огромном постигшем горе. Гибель Соколенко была и его скорбью, но что ей сказать? Что смерть его благородна? Что за отчизну отдать жизнь есть величие души и бессмертие в народе? Эта правда, он знал это и знал, что и она это знает, и не мог в эту минуту повторять слова, которые были известны и ей. Он подумал о том, как бы стал говорить Соколенко Татьяне о его гибели. Подошел к Ание, взял ее за руку и тихо сказал:

— Мы ведь с вами друзья, большие друзья, Аниа, правда? И я не знаю, что сказать, чтобы и вам и мне стало легче. Бывает в жизни людей такое горе, единственным утешением в котором является сознание того, что ему нет утешения,— и, нагнувшись, он поцеловал ей руку.

Аниа благодарными глазами посмотрела на Крапивина. Она ждала этого часа, сжав зубы, боясь своей болью омрачить общую радость, радость победы.

— Аниа! У меня что-то с ухом творится. Контузия! — смущаясь своей болезни, которая ей в эту минуту казалась чепуховой, сказал Крапивич. Он полагал, что в такие минуты лучше всего залигать мысли Ании ее привычным делом.

— Не болит? Не ноет?

— Нет, теперь никакой боли нет, только глухота...

— Вот вам ватка... Закладывайте ею ухо, поглубже, чтобы не застудить за морозе. И вот вам капли. Пускайте по пять перед сном. Но только при условии, что спать будете в тепле,— сказала Аниа, роясь в большом сундуке своей походной аптечки.— А если контузия, то со временем пройдет,— закончила она, подавая Крапивину маленький пузырек.

— Спасибо. Если вам что-нибудь нужно будет... Если, одним словом, трудно будет... приходите ко мне... Вдвоем легче. Придете? Обязаны, одним словом... Ладно?

— Ладно,— тихо ответила Аниа.— Прокофий очень любил вас... Да, подите секундочку,— вдруг вспомнилась она, подошла к своему чемоданчику, щелкнула замком и, вытащив пачку шерстяных серых носков с заштопанными коричневой шерстью пятками, сунула их в карман Борису.

— Вот возьмите. Это Прокофия... пригодятся...

Крапивин, догоняя Степняка, сбежал со ступенек.

— Ну, я намечаю штаб в том угловом доме. Скажи об этом Свирскому...
он здесь в баньке сейчас с пленным разговаривает...

В низкой баньке было жарко. Перед Свирским, сидящим на лавке около группы черных, закопченных камней, стоял немецкий белобрюхий унтер-офицер в русских валенках.

— Полюбуйтесь на этого героя Крита! Все, что знает, выложил, как на ладони.— Такими словами встретил Свирский Крапивина.

В апреле месяце, когда Крапивин читал каждый день новые телеграммы о том, как остров Крит был взят парашютистами с воздуха, ему казалось, что эти люди, наверное, по-особенному мужественны. Теперь один из юных, испуганный и обреченный, стоял перед ним в низкой баньке.

— Вы присягали, так отчего же вы все, что знали, рассказывали?

— То, что знает солдат и унтер, не может быть тайной. Тайной являлся замысел командования, который мне неизвестен. Я очень прошу вас, убивайте меня. Это с вашей стороны будет неблагородно.

— А женщин насиловать благородно? — спросил Крапивин. — Сколько девушек вы изнасиловали?

Юный вздрогнул.

— Что вы можете сказать про нашу армию? — спросил Свирский.

Юный снова вытянул руки по швам.

— Нам говорили, — ответил он, — что в русской армии много разных национальностей. Среди убитых мы видели и восточный тип, и монгольский тип, и семитский, и даже арийский... Это правда. Но в бою это никак не заметно! Все дерутся одинаково. У нас тоже есть венгры, и итальянцы, и румыны, — унтер презрительно улыбнулся, — но они ни в какое сравнение с немецкими солдатами не идут. А у вас, — немец пожал плечами, — все одинаково презирают смерть.

— Он прав, говоря о нерушимой дружбе народов нашего Союза, — сказал Крапивину Свирский уже на улице, — да это мы и без него знаем... И он мне помог расшифровать эту схему, и тем самым его существование на земле оправдано.

И Свирский показал Крапивину подробную карту, на которой красными крапальцами были перенумерованы дороги, заметные объекты местности и даже отдельные немецкие блиндажи.

Они вошли в комнату штаба. За столом, расстегнув полуушубок, над сложенной гармошкой картой сидел Степняк.

— Вот, товарищ Крапивин, мы в эти дни кое-кому показали, что немцев можно бить!.. Битый немец бежит за милую душу. Но вся беда в том, что он хочет остановиться, и вот этого-то мы и не должны допустить... Были бы у меня резервы, — мечтательно закончил Свирский. — Впрочем, раз не так надо с тем, что есть, немца бить и гнать.

В комнату вошел раскрасневшийся с мороза Волков.

— Товарищ полковник, — обратился он к Свирскому, не поздоровавшись ни с кем из находившихся в комнате, — все дороги минированы. Очень густо... Снегопад скрывает следы. Итти прямо на мины — очень большие потери! И потом они все время бьют прицельным огнем по дороге из дальнобойных орудий. Скажите, что делать, и я немедленно — обратно в часть. — И, обернувшись к Крапивину, он сказал: — Я ведь теперь быстро, я на трофеином мотоцикле папарю! Два цилиндра! Через любую мину проскочим раньше, чем та разорвется.

— Товарищ старший политрук, — тихо сказал Степняк, — а нельзя ли доложить все по порядку, поподробнее и по карте?

Волков резко повернулся к нему, быстро наел только что снятую ушку, отдал честь и сказал:

— Слушаюсь, товарищ батальонный комиссар.

Степняк протянул ему карту.

— И, представьте себе,— уже спокойнее заговорил Волков,— там дорога бывает на километр замощена поваленными бревнами. Так вот, пройдет танк, и ничего. Пройдет за ним грузовик — и тоже целехонек. А затем идут простые однолошадные розвальни и — бац! — взлетают в воздух на мише... В чем дело? А дело в том, что мины подложены были под бревна. Бревна смерзлись и стали, как ледяной покров. Прошли танки, грузовики, расшатали настил, и теперь даже пешеход и сапи могут взорваться.

— Так вот, товарищи,— сказал Свирский, тоже наклоняясь над картой,— для меня вопрос ясен. И решение здесь может быть только одно. А именно то, которое немцы считают невозможным. Сорок пять километров мы гнали их по дороге,— и он синим карандашом отметил на карте эти сорок пять километров. — Тем временем тыловые их части успели заминировать изрядный кусок дороги. Сколько километров — пять или десять — нам пока неизвестно. Но это не так важно. Важно то, что если мы зайдемся разминированием, мы потеряем время, потеряем темп, а немцы тем временем еще сильнее укрепят свои узлы сопротивления и встретят нас на дороге прямым лобовым огнем. Дорога у них и теперь уже пристреляна. Вот видите, у нас в руках их карта с цифровыми обозначениями целей и оставляемых ими рубежей. Все пристрелято... Что же из этого следует? Итти прямо и взорваться в угоду врагу на минах? Нет, такого приказа я не отдаю. Тогда останавливаться. Нет, такого приказа я тоже не отдаю! Надо завершить успех. Надо продолжать наступление. Но в этом наступлении приказываю никогда не занимать немецких окопов и блиндажей и вообще остерегаться останавливаться в тех местах, где находились раньше немецкие гарнизоны! Хоть это и труднее, но зато наверняка будет стоить меньшей крови; надо каждый раз немедленно на остановках оканчиваться самим, не используя пристрелянных немцами объектов... Пусть садят свои снаряды, пусть расходуют по пустым окопам, а мы посмеемся! Но где же и как наступать, если у нас дорога одна, а вокруг леса и поросшие лесом, занесенные снегом болота? Видите, немцы ждут нас на дороге и готовятся. Но дороге мы пустим самерший батальон, пусть занимается своим делом, разминирует. А вот здесь, с левого фланга, они нас не ждут, смотрите, у них на карте обозначено непроходимое болото... Самое большое, чего они могут бояться с этой стороны, это небольшой группы лыжников, и к этому они готовы. А мы появимся здесь главными силами, с артиллерией с тыла и уничтожим их! Так! «Там, где пройдет олень,— русский солдат пройдет, там, где олень не пройдет,— там русский солдат тоже пройдет», — так говорил Суворов. И это было тогда, когда русские солдаты дрались на чужой земле, за чуждые им интересы! Сейчас же перед нашими бойцами стоят самые великие и благородные задачи, какие могут стоять перед войсками,— защита отечества! Нас под Эльсом было меньше. Мы окружили, разгромили врага, в полтора раза превысившего нас по численности... Взяли меньшей кровью. Но для этого мы должны были, проникая в тылы, перерезая коммуникации, все время действуя на фронте, создавать у врага впечатление, что нас много, больше, чем на самом деле. Теперь, когда он разбрался на груши, пошел такие потери, теперь, когда вступили в действие наши резервные дивизии, идущие по соседним дорогам, теперь нас стало больше, и, следовательно, мы должны тянуться и держать себя так, чтобы враг подумал, что нас мало, что нас меньше, чем на самом деле! А как лучше всего это сделать? Еще раз повторю:

шию: сойти с дороги в лес, пройти через него, пройти через болото, через которое проходят охотники, войти в этот пункт,— и, перевернув карапад, он поставил жирную красную точку на карте,— ударить по немцам с тыла. Сорок таких километров мы пройдем! У вас, товарищ подполковник, дни молодости, кажется, был такой случай с претаскиванием орудия там, где не то что немцы, даже и финны считали невозможным пронести? Сумели вы сегодня провести свой артиллаж?

Подполковник встал и строго сказал:

— Я воспитан так: полученный приказ должен быть выполнен! Разрешите сесть?

— Садитесь... А вы, товарищ,— обратился он к начальнику штаба, — напишите точный приказ. К двенадцати завтра укажите мой командный пункт! Свирский сделал паузу.— Вот мой командный пункт,— он ткнул в карту карападом,— деревня Зеленки.

Начальник штаба посмотрел на Свирского.

— Товарищ полковник,— сказал он,— по ведь деревня Зеленки еще не занята нашими. Опа...

— Вот и отлично! Именно там я и назначаю свой капе. Таким образом все командиры поймут, что я не сомневаюсь в том, что они могут продвинуться вперед и что приказ не допускает никаких толкований. Только вперед. Знание того, что командование убеждено в успехе, подымет людей! Я все сказал.

Свирский улыбнулся Крапивину, вспомнив разговор с ним на грузовике психическом плачале.

Гамбург глядел на карту и мусолил карапады, приступая к составлению боевого приказа на предстоящие сутки. Адъютант снимал крышку с ремингтона.

— Товарищ Крапивин,— сказал Степняк,— мы решили тебя временно поставить комиссаром у Глебова, там исполняет эти обязанности отсекр. Я это не то. Я думало, что ты справишься.

Крапивин почувствовал, что он краснеет от удовольствия и волнения. Давно мечтал о такой работе, работе прямо с людьми, и только иногда боялся, что еще не имеет большого опыта и не совсем усвоил тактику и материальную часть пехоты. И вот теперь его желание осуществлялось. Он встал.

— Имей в виду, что полк сильно потрепан. Но Глебов молодец... Ну будь счастлив! Желаю тебе удачи, дружище!— Степняк протянул обе руки Крапивину.— Не унывай, помогать будем!

«Ну, нет, он все же таки не психолог,— улыбнулся Крапивин,— если думает, что я унываю».

Через десять минут он вместе с Волковым уже выходил на дорогу, где вплетая стоял мотоцикль...

Волков, запустив мотор, похлопал кожаной перчаткой по багажнику, предлагая Крапивину садиться позади себя.

Крапивин сел. Машина рванула с места и понеслась, подбрасывая седов на ухабах.

— Ну, вот ты и прибыл,— встретил Крапивина Байдалаков. Он стоял рядом с Глебовым около поваленной сосны.

Войска уже сошли с дороги и углубились в лес километра на три, пока Крапивину удалось догнать передних и разыскать Глебова.

— А мы уже здесь успели на оглобле победить,— сообщил Байдалаков.

— То есть как на оглобле? — удивился Крапивин.

— А очень просто! Повесь себе жотелок на оглоблю и хлебай ложкой из котелка.

Глебов был очень рад, что в его полк комиссаром назначили Крапивина.

Пока они разговаривали, рядом бойцы подпиливали и валили деревья, расчищая путь для орудий, для кухонь, для танков и саней с фуражом.

Огромные деревья накрепялись и падали вихрем, разбрасывая по сторонам мокнатые слои снега.

Если лохотинцам трудно было пробираться по лесной чаще, то орудия протаскивать было еще труднее. Сначала лошадей запрягали гусыном. Но колеса зацеплялись за шипы, лошади спотыкались о коряги и проваливались в снег между кочев.

— Слезай, Голубенко,— сказал ездовому товарищ его,— слезай, Голубец, и вытягай орудие. Надо будет на руках тащить, нельзя пертить животную.

Подполковник приказал разобрать орудия. Отделять тело от лафета. Снимать и нести отдельно замки. Каждое колесо вести по отдельности.

В таких необычайных условиях пришлось Крапивину окунуться в обычную жизнь своего полка, который шел вперед, протаптывая путь оставленным. И необходимо было на этом марше воссоздавать партийную организацию, распределять коммунистов поротно.

Собрать их вместе сейчас не было возможности, и Крапивин разговаривал с каждым в отдельности, около кухни, на марше, на часовом привале. Это были простые, непохожие друг на друга люди. У каждого совсем недавно была особая жизнь, но сейчас их всех — и безусых, и уже седеющих, и колхозников, и рабочих, и интеллигентов — объединяло одно дело, одна страсть.

— Мы с вами должны быть примером для других,— говорил им Крапивин,— и в том, как паматывать портняжку, и как стрелять, и как итти, и как колоть. Мы должны вести всех за собой, объединять!

Он чувствовал, что товарищи верят ему, и сам любил этих простых, небогатых, но всегда готовых отдать все для друга, для родины, людей. Он видел, как в бою и на марше создавалась и крепла мужская дружба, боевое товарищество. И хоть он часто бранил их, по всей глубиной своего сердца он любил этих подчас грубоватых на первый взгляд людей. И даже щетина их небритых щек, и порой соленое словцо, и утомленная их походка казались ему родными и милыми. И только потому, что он по-настоящему любил и понимал их, всегда приходили к нему нужные, верные слова и шла к нему ответная волна доверия.

Костров нельзя было раскладывать, чтобы немецкая авиация и разведка могли узнать, что по лесу движется колонна.

Крапивин никогда не забудет этого бессонного, изнуряющего марша; но если он начнет кому-нибудь рассказывать о нем, то о чем спачала: о сухах, хрустящих на зубах? О том, как было жарко в тридцатиградусный мороз? О том, как люди вдруг с ходу падали на колени и, стоя на коленях, спыкали глубоким сном? О том, как, засыпав, что рвутся немецкие спаряды с другой стороны на дороге, бойцы дружно смеялись? Или о том, как он увидел танки, давшие переправы у широкого ручья?

Лед был топок, и танкисты, наломав сучьев, положили их плотиной на лед, а затем полили этот слой водой, взятой из пробитой проруби. Вода тут же на морозе замерзала. И тогда поверх этого слоя танкисты и кладывали новый слой сучьев и снова поливали его водой; и так делали в тех пор, пока не нарастили слой льда, способный вынести груз танка. И в это время Крапивин снова увидел хлопочущего у прутьев Гонибеса. Крапивин хотел расспросить его о Татьяне, какой он видел ее в последний раз, рассказать, что слышал о Фросе, но в эту минуту его окликнул боец, и опять нужно было идти вперед и показывать другим дорогу, и не оказалось минуты для разговора с Гонибесом.

Все эти часы, встречи, пейзажи слились у него в одну какую-то пепельно-дрящеющую картину, как кадры быстро мелькающего кинофильма. И однажды, увидев небритого Столетова, который, присев на поваленное дерево, что-то писал, он сказал ему:

— Вы теперь пишете книгу «Лесной поток».

— Никто не поверит, скажут — писатель выдумал! — ответил Столетов.

И войска вышли на болото. Шли, по грудь проваливаясь в снег. Несмотря на морозы, вода не замерзала. Валенки быстро промокали, и вода в них леденела, ноги ломило от нестерпимого холода.

По лесному болоту, по брюху проваливаясь в снег, изнуренные лопаты тянули на санях тело орудий. Артиллеристы, сами впряженные в сани, помогали лошадям молча, без подбодряющих криков. Так прошел день, ночь, второй день был уже в разгаре.

Спереди жарким шепотом поплыло:

— Стой! Стой! Стой!

Это Глебов издала увидел немецкие укрепления.

«Как же, должно быть, устал Глебов, — подумал Крапивин, — ведь все время впереди, с разведкой».

Отдан был приказ остановиться.

Вперед пошла разведка. А артиллеристы тем временем собирали свое орудия. Другие подливали деревья, расчищая сектор обстрела. Но, подлив стволы, по приказу подполковника бойцы оставляли их стоять, как они стояли, для того чтобы раньше времени не демаскировать огневых позиций. И лишь тогда, когда было готово, в наступившей темноте раздалась команда: «Рухнули одни за другими в снег десятки деревьев, и от их падения взвихрился ветре снег.

Собранные орудия прямой наводкой ударили по немецким блиндажам. Один, другой, третий выстрел... Беспыхнула и пошла гулом канонада. Из немецких блиндажей послышались крики.

Немцы отвечали беспорядочной стрельбой во все стороны, потому что неизвестно было, где находятся наши части, и во всяком случае они ждали их с другой стороны.

«Начнем, — решил Глебов, — только молча!»

И в то время, когда наши орудия прямой наводкой били по немецким укреплениям, первый батальон с Глебовым во главе молча двигался к этим блиндажам по снегу. Второй батальон, с Крапивиным, так же молча подбирался к немецкой батарее. Третий уступом шел вслед за первым.

Один из бойцов споткнулся о кочку, упал и остался лежать. Крапивин прошел мимо него и отглянулся. Боец продолжал лежать ничком в снегу.

«Неужели убит?» — подумал Крапивин и повернулся. Он патнулся на лежащим бойцом и тронул его за плечо. Это был Грунь. Он лежал на снегу и, сладко посапывая, спал, ничего не помня, ни о чем не думая. Крапивин поднял его. Со слышающимися глазами Грунь стоял перед Крапивиным.

— Заснешь в снегу, замерзнемши, — сказал ему Крапивин, — у меня самого ноги отваливаются. Подожди час, отдохнешь тогда!

— Иду, понимаете, и на ходу сны досматриваю, — смутился Грунь. И они пошли вперед.

Первым на батарею ворвался младший лейтенант, тот, что сменял у дороги Байдалакова. Он молча ударил штыком наводчика. Так же молча, с штыками наперевес, на огневых немецких позициях возникли из ночной темноты и другие бойцы. И так же молча, не говоря ни слова, без единого выстрела бросились они колоть немцев. И в этом молчании было столько силы, такое чувство неотвратимости, что изо всех батарейцев только два немца начали отстреливаться из револьверов. Остальные побежали, оставляя свои орудия. Но и они попадались идущим павстречу бойцам пятой роты, которые принимали их на штыки. И в этот момент у немецких блиндажей слева раздались выстрелы, пулеметная дробь и взогласы «ура».

«Это первый батальон дорвался», — подумал Крапивин, останавливаясь около немецкого орудия. Рядом с ним отчалились Голубенко и Голубец. Вместе с другими бойцами они повернули немецкое орудие и стали его заряжать.

— Дозвольте, товарищ комиссар, разок пальнуть, — попросил Голубенко.

— У нас ведь весь расчет на взаимозаменяемость перешел, — подхватил Голубец, — только не давали нам по врагу стрелять... Ездовые вы, говорят.

— Бейте, товарищи, — разрешил Крапивин и стал прислушиваться.

Укрепления слева, очевидно, были уже заняты. К захваченной батарее подходили Свирский с Байдалаковым.

— Немцы отходят. Удар был неожиданный. На правом фланге тоже. Ваш полк все время шел головным, теперь даю ему сутки отдыха. В преследование пойдут другие полки.

Спали все там, где застало их разрешение на отдых.

Когда Крапивин проснулся, было уже совсем светло.

Он это чувствовал, хотя и лежал, по раскрытию глаз, ощущая тепло, идущее от чугуна раскаленной печурки и слыша веселое потрескивание дров. Над самым ухом у него тоненько похранивал Глебов.

Крапивин открыл глаза и увидел, что за столиком немецкого офицера, немецкими чернилами, немецким вечным пером Байдалаков что-то с увлечением пишет. Алексей поймал на себе взгляд Крапивина.

— Да вот пишу па одного танкиста наградной лист. Забавная фамилия у него: «Гонибес...» Представь, подбили у них пулемет и орудие, а он продолжал сопровождать пехоту в преследовании с недействующими орудием и пулеметом... «Это я делал для поддержки духа пехоты! — говорит он, — чтобы они не заколебались». И знаешь, он с собой в танке возит врученный ему на хранение акт о передаче земли колхозу... Пёт, говорит, надежней места!

В землянику вошел член военного совета Краснов.

— Свирского здесь нет? Где искать? — Взглянув на Байдалакова пристальное и узнав его, член Военного совета, улыбнувшись, сказал: — Поздравляю вас от всей души. Вы награждены орденом Красного Знамени.

Байдалаков растерялся, он не знал, что ответить, что сказать. Как это не походило на его разговор с членом военного совета месяц назад!

— Товарищ дивизионный комиссар... — начал он.
— Поздравляю, — повторил член Военного совета. И вдруг, вспомнив все наставительно сказал: — Только, смотрите, не пейте!
— Да я и не пью, — разозлился, вспомнивши, Байдалаков, — я...
— Ладно, ладно! Не пейте, и тогда не надо будет оправдываться.
И член Военного совета вышел из землянки.
— Нет, ты только подумай! — с досадой сказал, обращаясь к Крапивину, Байдалаков.
— Поздравляю тебя, — засмеялся Крапивин. — Я очень, очень рад тебе. — Свесив ноги с кровати, он икнул сказал: — Знаешь, Алеша, когда я по-настоящему понял, что мы победили?
— Мы еще не победили, еще столько надо сделать! Еще, ух, сколько трудов и трудностей впереди! Еще боя и бои...

— Чолю, Алеша! Я все это понимаю. А все-таки знаешь, когда я понял, что мы победили? Шестого ноября, когда мы слушали в землянке речь товарища Сталина! Помнишь, еще утром какую мы ходили рассстроенные! Все отступаем, и никаких просветов, и все рушилось в душе. Жизнь каждый из нас с охотой бы тогда отдал, чтобы все повернулось... И вдруг этот голос... Это спокойствие! Эта уверенность! Этот расчет! Вера в народ! Понимание! Я сам на голову выше и сильнее стал, когда речь эту слушал. А тогда думал, что вот так же Москву, Сталина с замиранием сердца, боязлив пропустить хоть один звук, слушают в кубриках кораблей на Баренцевом море и в Ленинграде, и в землянках в лесу, и в степных колхозах, и в сакле, и на аэродроме. Эта речь еще не кончилась, она еще длилась, а ведь мы с тобой уже знали, что и через сто лет ее дети в николах изучить будут! Вот тогда я попытал, что мы победим... А ты?

— Знаешь, Борис, ты сейчас очень торжественные слова говоришь. А на самом деле, конечно, так! Только, знаешь, как еще надо будет на драться за победу... Ух! — И Байдалаков зажмурился.

Глебов пошевелился и, еще спросонья, спросил:

— Товарищ комиссар, который час? Когда приказали выступать?

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Судьбы героев этой повести остались в книге незавершенными. Вместе с судьбами миллионов граждан нашего отечества, вместе с судьбами грядущих поколений они решаются сегодня на полях сражений отечественной войны.

Великий бой еще не кончен!

В дни, когда дописываются эти строки, гвардейский полк, которым командует Борис Крапивин, ведет упорный, жесточайший бой с врагом. Его бойцы как былинные богатыри, сражаются за свою родину, чтобы снова буйно зацвели поля наши, и снова земля наша до краев наполнилась радостью творческого труда, обилием и счастьем.

*Действующая армия.
Беломорск*

МИХ. МАТУСОВСКИЙ

РОССИЯ

Иылает степь, насколько хватит
глаз,
То голубым, то красным, то зеленым.
Достаточно ее увидеть раз,
Чтоб быть в нее без памяти
влюбленным.

Кто знает, как бессмертен наш
народ,
Какие нам доступны будут дали.
Моей судьбой на сотни лет вперед
Мы всей земле загадку загадали.

Нам будущее видно, как с горы,
И наш язык стремителен и ярок.
Мы были так богаты и щедры,
Что дали миру Пушкина в подарок.

И наши битвы, книги и дела,
Города, и рослиси по своду,
В золоте червленом купола
Под солну лишь великому народу.

Мы нашу правду поклялись сберечь,
Мы нашу древность возродили
снова.

Мы дали людям ленинскую речь,
Мы воплотили сталинское слово.

Того, кто с нашей вольностью
знаком,

Не приучить к покорству и оковам.
Мы знали лед на озере Чудском.
Мы помагим кровь на поле
Куликовом.

Когда бывали войны на Руси,
Мы на смерть шли, одно лишь
твердо знаем.
Что рядом за «шлемянем оси» —
Родное небо и земля родная.

Где не ступала русская нога,
Где есть преграда выводкам
орлиным?
Слыхали нас альпийские снега,
Видали нас под сумрачным
Берлином...

Страдая с ним и бережно любя
Его характер и его природу,
Как счастлив я, что чувствую себя
Одной пылинкой этого народа...

Великодушной, мудрой, молодой,
Пожарами и гневом озаренной,
Окрешшей под кремлевской звездой,
Не быть, но быть России
покоренной!

Северо-западный фронт

СЕРГЕЙ МАРКОВ

В ТЕ ДНИ...

Железный холод подступил
к Москве,
Огонь и стужа встретили врага...
Штыки мерцали в грозной синеве,
И голубели жесткие снега.

Враг осквернил нетронутую синь,
Пробел в полях пылающую грань...
Сладчайшие названия — Медынь,
Звенигород, Путивль и Обоянь,
Широкий Днепр и тихая Тверца,
Озерный край и крымские сады —
Взыгали к вам, отважные сердца,
И ваша доблесть растопляла льды.

Так пусть историк подберет слова,
Чтоб рассказать, как встретила
врага
Мать городов — бессмертная
Москва,
Спокойна, величава и строга!

Еще в долинах подмосковных рек,
Что помнили татарские шатры,
Шумел хвастливый рейнский
печенег,
Справлял свои кровавые пиры.

Еще над краем ледяных пустын
Шумел сонъ и колыхалась мгла
И на камнях разрушенных
святын
Обугленные корчились тела...

Страна клялась твердынею Кремля
Штыки — на запад! Нет пути
назад
Поруганные русские поля
Воспрянут, не забудут, не простят

Величье дальних подступов, горы
На острие гвардейского штыка
Краснее крови и нежней зари,
И светлое, как нали облака!

Когда уста стальные батарей
Произнесли последний приговор
Тела длинноголовых дикарей
Усеяли сверкающий простор.

В Можайск вступают красные
войска
Далеко слышны грозные шаги,
Прекрасней солнце, чище облак
Когда молчат убитые враги.

ЛЕВ КАССИЛЬ

ВДОВА КОРАБЛЯ

Рассказ

Шаль эту мы выбирали вместе: боцман и я. Накануне Трофим Егорович Штыренко пришел в мою каюту, помялся немножко, спросил, чтобы солидности приличия, не засоряется ли у меня умывальник, отвернул кран, пустил воду, убедился, что все исправно, а потом, как бы собираясь уходить, смущенно облизав на себе робу, проговорил:

— Вы не будете такие добрые, что завтра сходите со мной до города. Хочу присмотреть гостинец для жинки. Шаль, там, какую иль, мабуть, одеяло и прочее. В целом сказать, чтобы была память за Испанию.

Я согласился.

— Ну, и спасибо,— обрадовался он.— А то я сам никогда ихнего бабьего скуса не понимаю, что им такое требуется. А вы, как поможете, то, конечно, в этом деле еще разбираетесь. Так вот, будьте добрые, найдите времечко.

Наш теплоход «Менделеев» стоял под выгрузкой близ Валенсии. В Испании шла война, и далеко, за семь морями отсюда, дома, тревожились за нас жены. Рейс был опасный.

Из Батуми мы ушли почью, пас никто не провожал. Со всеми простились еще с вечера. Я слышал, как в конторе порта наш старый боцман гудел в телефон, прикрыв рожок трубки своими сивыми обвисшими усами:

— Ну, счастливо, Феня, бывай здоровенька. Не сумлевайся, все в порядке будет... Феня... Фе-э-эя!.. Ты слыхай!..

Он вздохнул, покосился на меня, совсем зарылся усами в трубку.

— Главное, зря не сумлевайся. Вполне обыкновенный рейс. К сроку будем. Здоровье береги, Фенечка. Деньги в конторе двенадцатого получишь. Ну счастливо, Фенечка.— Он медленно, как допитый стакан, отнял трубку от рта, бережно повесил ее на рычажок аппарата и клетчатым платком, купленным в Стамбуле, отер усы.

Я никогда не видел его жены, но то той нежности, с какой он говорил о своей Фене, и по осторожным шуткам, которыми команда памекала на задушевную любовь нашего боцмана, составил себе довольно ясный портрет супруги Трофима Егоровича. То была маленькая тихая женщина, привыкшая терпеливо спосить долгую разлуку и благодарно радоваться недолгим днем свиданий, которые не так-то часты в семейной жизни моряка дальнего плавания. Я охотно согласился помочь боцману и пойти с ним выбирать гостинец, чтобы угодить его Фене.

Почти нас бомбили. Пароход, стоявший под мексиканским флагом у стеек недалеко от нас, загорелся. У нас, на «Менделееве», все обошлось без приспешствий.

Утром, пока мы шли от порта до города, Штыренко рассказывал мне о том, как хорошо у него дома и до чёго славно живут они с женой, и как она отрадуется гостинцу.

В лучшем магазине Валенсии «Ольтра» мы добрый час выбирали подарок для Фени. Увидев на моей фуражке золотого краба с красной звездой — герб Севторгфлота, и узнав, что мы «маринос дель барко руссо» — моряки советского корабля, продавцы радушно выложили перед нами самые лучшие товры. Для нас расстилали на прилавках знаменитые валенсийские одеяла. Розовые тореадоры и пляшущие девушки были изображены на них. Они были легки как пух, эти одеяла, и так мягко ворсисты, что края, казалось, истаивают воздух. Но выяснилось, что у жены боцмана уже есть дома хорошее одеяло. И, кроме того, Трофим Егорович хотел привезти своей Фене такой гостинец, чтобы она могла в нем покрасоваться перед людьми.

— Только что-нибудь такое, поглядите. Да чтобы в глаза очень не шло, — объяснял мне Штыренко. — А то же наденет, она у меня тихая, в целом сказать. Да и годы ее уж под смиренный цвет подходят. Вот что-нибудь такое.

И после долгих звездательных поисков мы, наконец, выбрали шаль. К вам описать эту шаль?.. Вот, если бы снег был черным и из черных микроскопических звездочек-снежинок одна с одной — было бы сплетено кружево. Вот тогда бы, наверно, получилась шаль, которую мы выбрали с Трофимом Егоровичем в магазине «Ольтра». Она казалась смыгучей, готовой развеяться от дуновения ветра и осесть черными снежинками на прилавке. Продавец направил шаль, взмахнул ею, как матадор плащом, и над нами пронеслась легкая тепль, вся в блестках, вся прохваченная насквозь мерцающим светом. Потом продавец скомкал ее, взял боцмана за руку, спаял с его твердого пальца мое обручальное кольцо и пропустил через него всю шаль. Пышное кружево прошло сквозь узкий ободок, как черный песок через воронку песочных часов.

Эту шаль мы и выбрали для жены Трофима Егоровича.

На «Менделееве» шаль тоже одобрили. Вся команда перебывала в каюте Трофима Егоровича. Боцман для каждого с великой охотой распаковывал свечки, и перед глазами матросов, механиков, мотористов, электриков взлетала сияющая чернозвездная тень кружевной испанской шали. А вечером смеясь с вахты моторист Валахов, настроив гитару, пел нам, вздыхая и шмыгая боцману:

Смотрю, как безумный, на черную шаль
И хладную душу терзает печаль...

Трофим Егорович, довольный и сконфуженный, топорщил усы.

Что было с нами на обратном пути, вы, вероятно, помните, если читаете газеты.

Мы возвращались домой и уже прошли мыс Матапан. Справа оставался греческий остров Кифера. По голым каменистым склонам берега бродили синие овцы. Как всегда, когда корабль проходил это место, Штыренко, убежденно гудя в усы, рассказывал, что греческие пастухи наполняют тут своим племенем зеленые очки, чтобы они лишай и всячую там дрянь за траву считали. До того это бедная местность...

Так разговаривали мы, сидя на палубе за камбузом. Валахов лениво

щупывал какую-то мелочью на гитаре. Солнце уже садилось за Матапан... И в это время вахтенный затопал над нами, скатился вниз с мостика и спрятал нас, где капитан. Вид у него был такой, что мы сразу все вскочили и бинулись к борту. Нося я старался рассмотреть, что происходит на море, глядя на Штырепко, уже все появив с одного взгляда, негромко и озабоченно пробасил:

— Подводная лодка на нас идет... Как в газетах пишут, неизвестной национальности, но по всей ясной видимости, что сволочь... А пу, хлопцы, в целом сказать, давай по местам! Живенько, моментом!

Навстречу нам от архипелага, буравя волны, оставляя пенный след, неслось узкое, злое и горбатое тело подводной лодки. Она мчалась прямехонько на нас. Нас уже предупреждали по радио о том, что в этих водах шпирят единственными подводами, топя мирные суда, ищащие в Испанию или возвращающиеся оттуда. И мы поняли, что предстоит...

Сигналами нам приказали остановиться и дали десять минут на то, чтобы спустить шлюпки и оставить судно. Для большей убедительности, чтобы подорвать нас, с лодки выстрелили из орудия, и снаряд проворещал над нашими мачтами.

— Паразиты, чтобы им якорем печопки ловыскребло,— пробормотал Штырепко.

По приказанию капитана, он распоряжался посадкой на шлюпки. Все уже спустились, матросы, стоя на взлетающих шлюпках, отталкивались веслами от борта корабля. На палубе оставался лишь боцман. Он хозяйственно связывал мешки с провизией, принес хлеб, опять побежал куда-то. В эту минуту, без предупреждения, лодка пустила торпеду. На шлюпках заметили ее пенний след и стали быстро отгребать в сторону.

— Штырепко, прыгайте! — приказал капитан, и боцман понял, в чем дело. Он вскочил на плащир и бросился в воду. Но вместо обычного всплеска косматый столб воды, пронзенный огнем, ревя, встал там под самым бортом «Менделеева». Корабль стал оседать на корму. Мы увидели среди обломков на воде, по которой расплывались бронзовые круги нефти, голову Штырепко. Обе шлюпки разом повернули к нему еще до того, как прозвучала команда. Люди не думали о гибельном водовороте, в который неминуемо втянет шлюпки, если они окажутся близко от опрокидывающегося судна. Штырепко вытащили на шлюпку. Боцман был тяжело ранен. Когда стали стаскивать с него рубу, чтобы сделать перевязку, он застонал, прикусив обвисший седой ус, и тихо предупредил:

— Полегче, хлопцы, кровью не замарайтс,— и стал тащить из просторного кармана робы мокрую черную шаль.

Часа через три мы добрались до острова Кифера. И там, на берегу, мы похоронили нашего боцмана. Перед самой смертью он взял меня за рукав, тихонько притянул к себе, чтобы я нагнулся, и жесткие усы его укололи мне ухо.

— Шаль ту... Фене передашь... Ребята адрес скажут... Передашь? Вместе выбирали. Цвет правильный, пришелся... по форме... к случаю... Нехай носит ее мне...

На могиле боцмана мы сложили памятник из камня, укрепили обломок края «Менделеева» и привязали к ней спасательный круг с нашего корабля.

Мне не удалось самому вручить шаль вдове Штырепко. После возвращения на родину меня сразу вызвали в Москву. Моторист Валахов отвез вдове моего боцмана шаль вместе с моим письмом.

Года через три я шошал в Повороссийск. Дела привели меня в порт. И на берегу, когда я уже собирался уезжать, до моего слуха долетели слова, ставившие меня повернуться:

— «Штыренко» еще не приходил? — спросил кто-то у человека в море Форменке, стоявшего у ворот порта.

— «Штыренко» с утра должен был притти, — отвечал тот равнодушно. Только это вам не железная дорога, гражданин. На море всяко бывает. Чеч час, полагаю, будет.

«Штыренко» пришел через три часа. Это было маленькое парусно-моторное судно, двухмачтовое, не очень опрятное, видимо, запущенное. Но когда увидел на спасательных кругах надпись «Штыренко», я ощутил волнение, в торое должен был испытать Маяковский, впервые увидев «Теодора Нетте» у не человеком, а пароходом.

«Здравствуй, Трофим Егорыч, — хотелось крикнуть мне. — Как я рад, что живой — дымной жизнью труб, канатов и крюков...»

И когда загудел на кораблик тифон, мне показалось, что это пали боны, своим знакомым гудящим баском стал звать жену: «Фе-э-э-ня!»

— Прибыл-таки, наконец, — услышал я позади себя женский голос, грустной и сердитый. Я обернулся. За мной стояла высокая дородная женщина. Упершись в бока крепкими узловатыми руками, она смотрела на подходящий кораблик строгим, неодобряющим взглядом. На могучие плечи ее была накинута черная кружевная шаль, которую я узнал с первого взгляда. Я хотел говорить с ней, но она промчалась мимо меня, в разевающейся шали. И едва с причалившей к стенке шхуны опустили сходни, у них появилась роскошная фигура в черной шали.

— Эй, на «Штыренко»! — зычным раскатистым голосом позвала женщина. — Ты что ясны очи выставил? — прикрикнула она на молодого матроса, вышедшего на ее зов. — Я тебе такое скажу, сразу заморгаешь. Давай скажи капитана вашего, я ему, водопаду, выскажу, что причитается. — Опа, — грозно подниматься по сходням. Доски гнулись подней. Матрос пытался преградить ей путь, но она пренебрежительно отвела его рукой в сторону. Матушки родимые, чистый трактир развели, засвиначили коранель. Это раз судно? Таращанья лоханка это! Ах вы курошепы, демоны, барбосы. Эх, Трофим Егорыча на вас нет. Знал бы он, на каком страме его фамилию дергах, так раскидал бы всю могилку свою, бедняжка, на Кяфере, да изобразил вам всем своим словами, чтобы вы могли понимать, какие вы есть. Чем вам всем яшики высмелило, бичкомеры.

Это было уже слишком. «Бичи», или бичкомеры, — это старая презрительная кличка моряков, которые не дорожат своим судном, готовы погибнуть на бой корабль. Всякий уважающий себя советский моряк презирает бичей, считает эту кличку оскорбительной.

— А ты кто такая? — спросил матрос, воспользовавшись тем, что женщина, наконец, перевела дух.

— Я вашему судну вдовой прихожусь, вот кто я! Скажи капитану Аграфена Васильевича Штыренко пришла и хочет с ним иметь разговор.

— Косюк, — закричал матрос, — скажи капитану, что штыренкина сестра живется.

Через минуту вся немногочисленная команда «Штыренко» вылезла на лубу. Капитан, маленький живой абхазец Джакаев, почтительно поклонился.

вдове и представил ей других членов команды: своего помощника Топусова, моториста Семенова, рулевого Косюка и кока Галюшкина.

— Галюшкин, — застенчиво поправил молоденький кок, сделав ударение на первом слоге.

Тут же капитан стал объяснять вдове, что судно только что везило марганцевую руду из Чнатур, а известно, что после нее сразу корабль не отскребешь. А что касается опоздания, то на это были также свой веские причины. Но вдова была неумолима.

— Никогда вы эдак не отмоете, — наступала она на капитана. — Вы только поглядите, разве так приборку делают? Морду себе небось перед свиданием не так скоблите. А сейчас только грязь по палубе развозите. Что вы, ребята, на самом деле!.. Нет, морячки, у нас с вами большой разговор будет. Уж если такое название дали себе — вот у вас всюду написано: Штыренко, Штыренко, — то уж надо все соблюдать, как полагается. Что я сама не служила, что ли? Двадцать три года ходила, все моря облавила, все ветра пюхала, из-за ревматизма только и ушла. Я такого безобразия сроду не видела. Трофим Егорыч моряк был во всем справильный. Мы и уголь возили, когда приходилось, а ни шута подобного безобразия у нас не было. Товарищ капитан, я этого дела так не оставлю. Пли чтобы все было, как следовает, или я в управлении кому надо слово скажу, чтобы у вас имя сняли. Я своего Трофима Егорыча пакостить не дам. Вот весь мой сказ.

Через год я был в управлении Черноморского торгового флота. Мне захотелось узнать, как идут дела на «Штыренко».

— Ну что же, — сказали мне, — судно, конечно, не очень видное, план у него не ахти какой большой, по справляется молодцом. У них там история была забавная. Этого самого Штыренко вдова прямо истерзала их. А ребята там хорошие. Молодежь все. Только сперва обижались, что их на такую маленькую посудинку определили. А эта вдова не давала им, прямо, ни спа, ни отдыха. Ну, и добилась своего. Теперь у них там и портрет Штыренко в кубрике висит — вдова подарила. Вообще, все честь-честью.

Может быть, вам попадалась на глаза маленькая заметка в «Правде», она называлась «Последний рейс «Штыренко». Если вам интересно, я расскажу, как было дело, так как участвовал в этом рейсе.

Весной этого года я спускался на палубу «Штыренко». Я встретил его у стекни мола. На нем только что кончилась приборка. Все сверкало на кораблике. И отмытый до блеска, оттертый скребками, только что окоченный из брандспойтов, словно помолодевший, мгом свернув паруса, он представил передо мной, как человек, с которого в парикмахерской только что сдернули простию. Дородная женщина тряпочкой очень по-домашнему обтирала на корме ствол зенитного пулемета.

— Знакомьтесь, — сказал мне капитан Джакаев, — Аграфена Васильевна Штыренко, тетя Фея, так сказать почетная вдова нашего корабля.

— Мы как будто знакомы, — сказал я.

— С первых дней войны у нас работает, — продолжал капитан. — Явились прямо с вещами и говорит: «Теперь не время мне на берегу отсиживаться. Вот вам моя мореходка, документы все при мне. Давайте, какая есть у вас работа. Притожусь еще».

— А что, неправда? — откликнулась вдова.

Аграфена Васильевна, тетя Фея, была у нас чем-то вроде уборщицы,

помогала она также и коку. Судно было небольшое, двести тонн, экипаж маленький. Дело находилось. И хотя характер у Аграфены Васильевны не исправился, к ней все очень привязались.

Недавно мы получили задание — отвезти боеприпасы на одну батарею. Берег там был занят немцами. Но как раз против входа в бухту расположился искусственный островок. На нем есть крепость. Через весь остров пробит тоннель. В нем имеются входы в казематы, электростанция, пекарня — все это скрыто под землей. А сверху посажены маслины, акации, устроен палисадник, и в зелени незаметно укрылась батарея. Остров этот лежит дугой перед входом в бухту, словно подкова прибита на счастье. Только эта подкова была тут немцам на горе.

Батарея наша была с островка, беспокоила немцев. Но подошли к концу спаряды. Все запасы были израсходованы. Командование вызвало капитана Джакаева и дало ему задание: доставить на остров снаряды.

Вечером Джакаев собрал наш маленький экипаж и передал приказ: «Дело трудное, но почетное, — сказал капитан, — доверие, одним словом, оказано. Вопрос ясен».

Мы решили в этот рейс вдову не брать. Дело опасное, крайне рискованное. Капитан нарочно отпустил Аграфену Васильевну до утра в город. А ночью мы тихонько спялись, подошли к известному месту, приняли курс и взяли курс на остров. Шли мы в полной тьме, не зажигая отней. Вдруг у входа в каюту я наткнулся на кого-то. Черная фигура показалась мне незнакомой. «Это кто тут?» — спросил я.

— Кто? — услышал я в ответ. — Уже и призывать не хотите! Это вы что же, барбосы, от меня бегать вздумали? И есть у вас после этого совесть или вы ее на берегу оставили.

Передо мной в своей черной шали стояла тетя Феня. На шум спустился капитан.

— Ну, что, понимаете, за баба такая, — пробормотал он.

Стали выяснять, каким образом тетя Феня разузнала, что мы уходим? Как она лопала на корабль? Оказывается, часовой на берегу просто пропустил тетю Феню, так как документы были при ней. А ребята, видно, в темноте проморгали. Она укуталась в свою черную шаль и прошла незаметно в каюту. Капитан даже рассердился, плонул и закричал на Аграфену Васильевну. Но тетя Феня была не из таких, чтобы разрешить кричать на себя.

— Ты на меня не гавкай, капитан, — промолвила она и перекинула конец шали через плечо. — Я и в мирное время никому не дозволяла, чтобы на меня голосом закидывались, а в военное время совсем не допущу.

Мы пробовали объяснять ей, что рейс у нас особенный и мы не хотели подвергать ее опасности.

— Значит, соленые огурцы возить — тетя Феня, пожалуйста, а как настоящее дело, так тетю Феню за борт. Очень премного вам благодарна. — Несожиданно она всхлипнула. — А что у тети Фени покойный муж от чортовой фашистской торпеды погиб, это забыли? Забыли про моего Трофима Егорыча. Вы еще по берегу на карачках ползали, а я уже все моря обомила. У меня свой счет для фашистов припасен. У меня с ними война с того дня идет, как Трофима Егорыча они убили... Говорите лучше, чего мне делать сейчас, за что приниматься?

Капитан только рукой махнул.

Нам нужно было прокочить мимо берега ночью. Днем бы пас немцы разделяли из своих орудий. Известно было, что фарватер там между островом и берегом весь минирован и есть мели. Мы пребирались тихонько, идя самым малым ходом. Потом капитан велел совсем выключить дизель. Судно у нас было моторно-парусным. Подул подходящий ветерок, мы подняли гафель и осторожно двигались по фарватеру. В три часа ночи стали около островка.

Немец начал пускать ракеты. Нас, как будто, сперва не заметили. Мы изгрузили первую шлюпку порохом, и вот тут началось... Большая ракета освистала нас, и мы почувствовали себя голеньками, будто вместе с тьмой содрали с нас и одежду. Немцы стали бить по нас замками. Они стреляли и по крепости и по «Штыренко». Командир крепости приказал нам укрыться на островке. Но наша вдова опять заутирилась.

— Не стану своим весом порох вытеснять.

Сперва мы не поняли даже, о чём идёт речь. Тогда она очень деловито объяснила, что весит, мол, больше восьмидесяти шести кило, раз, и лучше вместе нее па шлюпку еще несколько балок пороха забрать — два...

Снарядом у нас срубило кормовую мачту. Через минуту продырявило верхнюю палубу, разбило каюту. Тетя Феня бегала с огнетушителем, заталкивала огонь, покривившая на пас:

— Давайте, паренечки, орудуйте! Шуруйте, хлопцы. Не дадим Трофима Егорыча фашисюкам в обиду. Чтоб им кинки на брашиль навернуло, куропатам. Давай, моряки, ходи веселей!

Завыл воздух, и спарадом пробило пасквэзь машинное отделение. Впуть хлынула вода.

— Болт! — сказал капитан. — Подзаныр пойдем.

Наша корма стала погружаться в воду. Уже заливало палубу. Но наше счастье место там неглубокое. Мы врезались кормой в грунт. Трюм у нас был под водой, но дальше мы не погружались. Немцы прекратили огонь — решили, наверно, что потопили пас. Мы стояли по грудь в воде, держась за поручни на затопленной палубе, и решали, что делать дальше. Может, как-нибудь еще дотянем снаряды из трюма? Командант крепости, когда мы прибыли, сказал: «Нам лучше хлеба не давайте, а снаряды спасите...»

Посудинка наша и так валится на бок, а если еще тут из трюма снаряды вытащить, совсем на перекувырк пойдет.

И тут золотая наша вдовушка присоветовала нам:

— Вы, хлопцы, привяжите судно концами за деревья, что на острове, оно и не перевернется, ветер-то павальный...

Это был превосходный совет, но берег отстоял от нас метров на пятьдесят. Моторист Семенов и рулевой Косюк поплыли в темноту, подтянули концы, обмотали ими деревья, закрепили кораблик за переднюю мачту и за корму. Понаду небольшой ветерок. Пошла зыбь. Нас покачивало, и, скрипя во тьме, покачивались, с нами в лад, деревья на островке. Семенов и Косюк вернулись на судно, отдохнули и стали поочереди нырять в трюм. Но снаряды мы привезли тяжелые — каждый пудов по восемь. Мы тогда что сделали? Мы взяли пеньковые копцы, приделали к ним крючки, Косюк и Семенов пыряли в трюм, нащупывали снаряд, охватывали его щетлей, а мы на палубе вытаскивали на верх, потом тащили снаряды на шлюпки и отправляли на берег. Так мы работали всю ночь.

Уже начало светать, когда мы грузили последнюю шлюпку. Капитан опять

стал уговаривать Аграфену Васильевну немедленно сойти с судна. Тетя Ф закоченела в воде. Она уже еле губами шевелила, то мы рассыпали:

— Бросьте вы, ребята, этот разговор. Не о том забота... И так шло с перегрузом идет, а я свои телеса прибавлю — куда же тут?..

Когда последняя шлюпка была разгружена, капитан сам отправился на за вдовушкой и тюком, которые оставались на «Штыренко». Но когда возвращались, было уже так светло, что немцы заметили шлюпку и открыли ей огонь из миномета. Осколком мины капитана ударило в руку. Ещё одна мина взорвалась у самой шлюпки, разнесла ее, и когда опала вскинута вверх вода, Джахаев и Галюшкин увидели на поверхности черную шаль, медленно уходившую в воду. Загребая одной рукой, кинулся туда капитан. Галюшкин вырнулся и не дал Аграфене Васильевне уйти на дно. Кое-как они добрались до островка, с двух сторон придерживая тетю Феню. Она была ранена в грудь и в голову. В каземате ей сделали перевязку. Она открыла глаза:

— Все взяли?

— Все.

— Ничего не осталось?

— Ничего, тетя Феня.

— И я все свое взяла, — проговорила она. — Сходила-таки в последний рейс с Трофимом Егорычем. — Она помолчала немножко и, обведя нас медленным взором, словно стараясь запомнить каждого, тихо сказала:

— Отываю, парепечки... счастливо вам... штырепковцы...

В первый раз она называла нас так. Потом попросила поднять ее к амбразуре, чтобы проститься с морем.

Рассвело, начался прилив. Все выше и выше поднималась вода. Вот уж на нашем кораблике залило крышу каюты, потом только мачта осталась на поверхности. И сказала нам тетя Феня: — Вот, как она в воду уйдет, та и я с ней... — И стала собирать на себя мокрую черную шаль, из рук не выпускала ее. Натянула шаль по грудь, по плечи, потом, словно хотела покрыться ей, подняла руку к голове. И упала рука.

Невольно мы все обернулись к морю. Только прибой там шумел, волны катились по троливчику, и ничего не осталось от нашего «Штыренко».

Мы похоронили тетю Феню тут же на островке в крепости, между камнями, в углу палисадничка, под акациями. Проволокой укрепили круг с нашим кораблем и на круге приписали — Аграфена Васильевна. Получилось: «Аграфена Васильевна Штыренко», — и повили круг сбоку черной шалью.

Молча, обнажив попуррые головы, стоял наш экипаж у могилы. Ребята даже переодеться не успели. Утренний холодный ветер пробирал нас, но стояли не шевелись. Капитан Джахаев вышел вперед и сказал короткую речь:

— Прощай, хороший человек, Аграфена Васильевна, подруга моряка, здешка корабля нашего. Спасибо тебе. Матерью ты нам была, тетя Феня.

Рассвело. Немцы на берегу зашевелились. И комендант падел фуражку.

— Товарищи моряки, попрошу в казематы. Мы почтим вдову нашего корабля таким артиллерийским салютом, какого ни одному адмиралу не давали.

И задрожал, заходил ходуном остров, над могилой тети Фени заревели установленные нам спаряды. Дымом и пылью закрылся весь тот берег, залыпал немецкие казармы. Немцы начали отвечать, по скоро их батареи умолкли, и давленные мстительным огнем с островка. А батарея паша все била и била. Яростный, гремучий воздух, казалось, пригибал акации в палисадничке. И на каждом залпе слегка вздымалась траурная шаль на белом пробковом круге.

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

30 СЕКУНД

(Из записок летчика Ч.)

1

Когда ты говоришь о быстроте,
Рассказывай замедленно, иначе
Все очертанья растекутся в дым.

Петело их двенадцать. Я один.
Уйти? Пожалуй, поздно. Тут
сраженье
Решалось только быстротой
решенья:
И я рискнул! Случилось это утром
На высоте 3 500.

2

Бой работает, как мысль!
Это небо и биплан,
Этот мир летящих миль —
Все слилось в единый план.

Вьются ювальбы нумерных
Сближившихся в пары птиц...
Ну-ка, сокол! Прямо в них
По секущей напустись!
Белой трассой бьют они —
Только пули невпопад.
Лишь огни, огни, огни,
Как на солнце звездопад.
Я врываюсь головой
Прямо в эти «мессера»,
Воздух нежно-голубой
Красной трассой озаря!

А вокруг меня они:
Все кресты, кресты, кресты...

Только им с моей брони
Даже лак не соскести.
Объегорил я врага:
Как вести со мной войну?
Чуть промаз — паверняк
Угодят по своему.

Но сереет на земле —
Ввысы туманы забрели:
Растекаются во мгле
И турели и рули...
И эти зги средь бела дня —
Только цифры едут вкось,
Точно мир вокруг меня
«Сто девятками» оброс.

3

Тогда я от ведущего отбил
Ведомого. Я звал его к дуэли
В прогалину голубизны. И вот
На встречных курсах две стальных
машины,
Как вьюгами просвистанные
льдины,
Помчались друг на друга ближ
о блик.

Мои пятьсот да и его пятьсот...
Но он не выдержал.

Мы разминулись
На волосок. И только близко,
близко
Туманная полоска промелькнула,

Как берег на далеком горизонте.
Он, видимо, был очень молод. Я
Сужу об этом по тому, что «мессер»
Не догадался тут же подсосаться
К течению вихря за моим хвостом.
Огромная ошибка! У меня
Секунды оказались выше! Миг —
И я у хвостового оперенья.

Он хочет увернуться, оторваться,
Стряхнуть с себя крылатую акулу,
Плывшую в его струе. Но я
Уже припал к прицельному стеклу
И в огневом с деленьями кольце,
Который под крестом пересекали
Две электрические паутинки,
Увидел очертанья самолета.

Теперь вся анатомия его
Была расчленена по цифрам. Бью!
Вот он попал безумными кругами,
Прихрамывая на одно крыло;
Вот завалился на бок и упал,
Напоминая мельницу в пожаре,

Огнями вниз... Кружась;
кружась, круг
Как бы тася за крылом крыла
И быстро уменьшаясь...

4

Если время не засекут,
Сердце выстукает ого!
Ровно тридцать прошло се
Юность возраста моего:
Мальчиком я подымался в
Зрелым мужем вернулся ви

Но если бы старость отмо

Тою же мерой в 30 секунд
Снова бы я залетел под зу
Не заботясь о седине,
Минутой одной в голубом
Выразив сразу жизнь свою.

Действующая армия, 1942

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

КАПИТАН СИВЕРЦЕВ

Капитан Сиверцев боком сидит на складном стуле. Правая рука его, с жал-
тыми от холода кончиками пальцев, бессильная и тяжелая, висит на грути
в зеленой, защитной цвета, косынке.

Не отрывая глаз от стереотрубы, капитан Сиверцев диктует телефонисту
цифры. Телефонист передает цифры на батарею. Батарея находится в шести
километрах позади ИП — в лесу. Орудия отвечают глухим, как слово «да»,
выстрелом. Через несколько секунд с раздирающим шелестом пролетает сна-
ряд.

В расположении немцев подымается на воздух черный сугроб земли. Звук
разрыва долетается только тогда, когда дымящаяся куча медленно опадающих
бломков исчезает из поля зрения.

В блиндаже сырьо, как в погребе, и тесно. В амбразуры небооруженным
глазом видны немецкие окопы, трясущаяся пыль от пулеметных очередей.

Капитану Сиверцеву на вид лет сорок. Сухое лицо. Одет со строгой щег-
ловатостью кадрового командира.

На наблюдательном пункте, который находится от немцев в 700 метрах,
он расположился с удобствами. Пары накрыты теплым одеялом, в изголовье
толстая белая подушка. На фанерной доске бритвенный прибор, зеркало, боль-
шой силий чайник с квасом.

Это неважно, что за двое суток капитан только один раз прилег. Важно
то, что здесь, в семистах метрах от немцев, более уютно, чем на КИ, который
находится далеко, там, позади, па опушке леса.

За двое суток беспрерывного наблюдения капитан засек огневые точки па
переднем крае противника. И теперь, называя сухие цифры, он давит зары-
вшихся в складках нашей земли немцев.

— Но это пока все «вони», — так выражается связист Грызлов, сидящий
на корточках у влажной стены.

Самое трудное впереди. Предстоит дуэль с немецкой тяжелой батареей, ко-
торая сейчас молчит.

Эта немецкая батарея пристреляла по собственному переднему краю. Когда
наша пехота прорвёт укрепления, немецкая тяжелая батарея постарается на-
крыть нашу пехоту. Этот маневр оборонительного огня является одной из раз-
глаженных особенностей тактики немецкой обороны.

И вот в момент штурма, когда немецкая батарея выявит себя, ее нужно
разбить.

От исхода поединка во многом зависит план операции.

Когда капитан отводит лицо от стереотрубы, чтобы дать передохнуть палепым от напряжения глазам, сидящие у стены бойцы управляются вскаивают и вытягиваются. Капитан снова обращает усталое лицо к стеклу. Войцы медленно садятся, не сводя настороженного взгляда со стены капитана.

Бойцы знают — командир придирчив. Жестокие прямые слова свойственны ему.

Вчера утром, когда капитан, лежа на нарах, отдыхал, разведчики привели в блиндаж пожилую женщину. Она плакала, хватала бойцов за плечи, все спрашивала: действительно ли они свои, русские? Она казалась помешанной.

Капитан спросил женщину, что она делала в лесу. Женщина сказала:

— У меня в доме немецкие офицеры живут. Они очень землянику любят. Я каждый день хожу для них ягоды собирать. А если приношу мало, они меня по голове кинжалами в чехлах бьют. И всю мне память отшибли, от этого стала глупая.

Капитан подвел женщину к стереотрубе. Павел стереотрубу на деревни попросил женщину указать, где ее дом.

Женщина, глядя в трубу, испуганно всхлинула:

— Вот тот, меж двух тополей, которые в грачинах гнездах.

Капитан на секунду притпал к трубе, потом подал команду:

— Правее поль шестнадцать — два снаряда фугасными, второе орудие огонь!

Когда взрывы смолкли, капитан попросил женщину снова посмотреть трубу.

Женщина наклонилась и... вдруг бросилась на капитана и стала кричать на него и рвать на себе волосы.

Капитан стоял вытянувшись, с бледным лицом, и заслонял левой рукой простреленную руку, чтобы женщина не ушибла ее.

Потом капитан повернулся к бойцу, указывая на женщину, брезгливо сказал:

— Отведите ее в Бугаево, что ли. Скажете в сельсовете, пусть устроит ей теперь жить негде.

И боец увел кричащую женщину.

Вечером эта женщина снова пришла к капитану. Она подошла к нему и сказала тихо:

— Вы простите меня, товарищ, я просто была какая-то ненормальная.

Капитан сказал тоже тихо:

— Я понимаю вас.

Потом женщина поставила на стол крылку с земляникой и сказала:

— Вот, может, покушаете? — Помолчав, она сказала: — Я почему-то кричала. Вы думаете, хату жалко? — и совсем тихо добавила: — У меня до там оставалась. Ихой ее звали.

Все молчали. И это молчание было очень тяжелым. Женщина поправила платок, потом молча попрощалась со всеми за руку и ушла.

А земляника в крылке еще долго стояла в блиндаже, и на эту крылку бойцы смотрели так, как верующие на икону.

Всю ночь шел дождь, наводняя тоску. Капитан сидел на нарах, баюкал пленную руку и все курил. Бойцы тоже не спали и тоже все курили. И знали, что у капитана не так болит рука, как сердце. А разве такое

твом утишишь! И бойцы ждали рассвета, потому что с рассветом должно было начаться наступление, и уж тогда они знали, как можно будет добыть пренкое утешение.

На рассвете немцы стали бить из минометов по высотке, где был расположен наблюдательный пункт. Они решили выбрать сначала во что бы то ни стало глаз у русской батареи.

Немцы очень спешили, их торопили, наверно, и они сразу открыли огонь из трех минометных батарей.

Но капитан не обращал внимания на огонь минометов, он сидел на складом стуле, отвернувшись от стереотрубы, и, склонив голову, перебирал холодные, бескровленные пальцы раненой руки. Капитан ждал.

В 7.10 начался штурм.

Плоскиская потертыйми, как лемехи на плугах, траками, качаясь на рытвицах, поползли танки. За ними катились серые, кричащие волны пехоты. Как черные лезвия, пронеслись над передним краем немцев наши штурмовики.

А капитан все сидел, склонив голову, и, казалось, только прислушиваясь к биению своего сердца. Капитан сосредоточенно ждал того острого мгновения, когда от него, только от него одното будет зависеть все это огромное живое движение боя.

За кровь падающих бойцов, кровь танкистов, полуоглохших от бешеного докольного звона брони, по которой колотились немецкие снаряды, за кровь, за труд, мольбу, скорбь, разгневанные надежды родины и даже за этот кувшин с землянкой — за все должен ответить он. Или он выиграет поединок, или те, кто атакует сейчас врата, защищая свою родную землю, в то мгновение, когда радостное слово победа еще не отлетит с их губ, будут накрыты этим грозно притаившейся сейчас вражеской батареей.

Раздался глухой удар. Капитан насторожился, мельком бросил взгляд на часы — 7.30. Он встал, вынул папиросу, помял пальцами табак, дунул в мундштук. Движения его были замедлены — капитан отсчитывал секунды полета снаряда.

Лопающийся взрыв потряс почву. Ветер разрыва донесся сюда тугой, душной волной. Ветер, ушибающий насмерть, крутящий стальные осколки, словно черные осенние листья. Это был пристрелочный выстрел. За ним последует второй и даже, может быть, третий.

В интервалы между выстрелами, пощелкивая линейками, наклоняясь над таблицами, немецкие офицеры будут сверять свои данные с данными звукометрической станции. Они самоуверенны, эти сволочи. И тоже, наверное, любят жрать русскую землянку, и чтобы сразу же зарезать русскую старую пищницу, они предусмотрительно одевают на клинок ножны и только после этого бьют по голове. О, у них методика во всем!

Раздался первый залп.

Капитан, наклонившись к телефонисту, слушал донесения передовых разыскивательных постов и кивал головой. Зажав коленями коробок, он чиркнул спичку и прикурил.

Прозвучал второй залп.

С батареи донесли, что снаряд разорвался в расположении тракторов. Одна машина выведена из строя.

Трое бойцов взвода управления стояли навытяжку у стены блиндажа и с

укором смотрели из команда, недоумевая, почему он до сих пор еще не крывает огня.

Капитан встал, прошелся по блиндажу, продолжая слушать донесения разведчиков. Почти все ясно. Нехватало только одного, но очень важного доказания. Капитан ждал. Он был спокоен.

Раздался третий залп.

С батареи сообщили, что у одного орудия перебито колесо. Орудие осеняя набок, по огонь можно вести. И почти тотчас с переднего поста сообщили нехватавшие капитану данные.

Капитан на мгновение задумался. Все. Испо. Шагнув к телефону, он поднял руку.

По телефонист, безуспешно стуча рычагом, повернулся к капитану искаженное лицо.

— Связь, — приказал капитан, обернувшись.

Боец, наклоняя голову, выскочил наружу. Но когда он поднялся из ходо сообщения, ударила пулеметная очередь, и боец свалился обратно в трапезу. Прижимая обе руки к животу, виновато улыбаясь, он попытался подняться и снова упал.

— Связь, — снова повторил капитан.

Другому бойцу удалось почти пробежать открытое место. Но и он упал пополз, волоча перебитые ноги.

Воля команда, упорно хранимая, несгибаемая ни разу при тысяче и ступков, она сейчас только одна простой и ясной своей сплошной заставляла сдержать то, что дано человеку совершить один раз в жизни.

Капитан обернулся к единственному оставшемуся связному и встретился с ним глазами.

Это был Алексеев. Ему было двадцать лет. Как-то он сказал капитану краснея:

— Знаете, товарищ капитан, я вместе с вашим сыном учился в одноклассе.

— Да? — сказал капитан. И лицо его потемнело, словно от боли. Но тут же пришло обычное выражение. — В таком случае вам следует работать в числителем, — сказал капитан. — Туда нужны грамотные люди.

Встречаясь с капитаном, Алексеев не сводил с него обожающих, преданных глаз. Для него капитан был человеком, духовному облику которого хотел подражать. Он даже научился улыбаться так, как капитан, — однажды губами.

Два раза его вместе с капитаном выкапывали из-под обломков дома, который они занимали под наблюдательный пункт. Однажды капитан вытащил его из сарая, подожженного зажигательным снарядом, где он лежал, задохнувшись, без сознания, возле телефонного аппарата.

А когда Алексеев вернулся из госпиталя и стал благодарить капитана, капитан сделал ему резкое замечание за то, что он явился к нему, не зная как следует прокрашенной одежды.

Шагнув теперь к капитану, Алексеев хотел сказать, что он хочет умереть за родину, что капитан, вспоминая его, будет гордиться им, что он...

Но капитан нетерпеливо поплевавши плечом, и Алексеев, резко повернувшись на каблуках, вышел.

Капитан поглядел ему вслед долгим взглядом.

Пехота ворвалась вслед за танками. Бойцы дрались в трачнеях врукопашную. Накинув ремень на ствол немецкого пулемета, бьющего из блиндажа, какой-то боец оттягивал его в сторону. Другой, широко расставив ноги, раскачивал связку гранат, прежде чем высыпнуть ее внутрь блиндажа. Немецкие солдаты дрались отчаянно. Они знали, что, покинув укрепления, они попадут под огонь пулеметов. Танк «КВ», забравшись на кровлю ДЗОТа, затормозив одну гусеницу, вращался на одном месте, стараясь продавить перекрытие. Выкатив орудие, немцы вели огонь по танку. Но к расчету бежали панические солдаты с винтовками наперевес.

И вдруг, когда еще немецкие солдаты не отступали и их было больше, чем панах, пригнувшаяся немецкая тяжелая батарея бросила залп из всех орудий. Напервничали, поторопились немецкие офицеры. Не выдержали. Устрашась, они закрылись стеной огня, убивая своих же солдат. Вздыбленная земля заколебалась.

Но в то же мгновение на русской стороне вздохнула русская батарея, и, рассекая воздух, спаряды понеслись туда, в глубь немецких расположений, где находилась эта тяжелая батарея.

Залпы русских орудий слились в единый могучий, трохочущий гул. Казалось, это грубым и непонятным голосом кричала сама наша земля.

Там, где находилась немецкая батарея, поднялась черная туча.

Тонко продуманный, вымеренный, заранее расписанный замысел немцев паткнулся на то, что невозможно вычислить и предвидеть.

Тактика артиллерийского наступления. Мгновенно возникшая атака тяжелых эшелонов, почти догоняющих друг друга в воздухе спарядов, — эта тактика не выдумана.

Но вот капитан, отложив телефонную трубку, вытер ладонью лоб. И, странно, такого легкого человеческого движения было вполне достаточно для того, чтобы вся эта непомерно могущественная ревущая сила огня подчинилась ему.

И стало тихо. И стало слышно, как осыпается земля со стена блиндажа и как гудит в блиндаже толстая бабочка с густо папуренными белыми крыльями.

Капитан взглянул на часы — без пяти восемь. Он наклонился и записал время в записной книжке с изношенным переплетом. И эта цифра, ставшая рядом с другими цифрами, ничем уже не отличалась от них.

Светило солнце. На пустынном лугу росли цветы и пахали. Река синего цвета текла мимо высокого леса. Сухо стучал кузнечик во ржи, высокой, блестевшей золотом; мягкие облака плыли в небе.

А там, выереди, лежала еще одна очищенная пядь нашей родной земли, обугленная, исковерканная, полита кровью, по родная и любимая более, чем жизнь!

Генерал-лейтенант Е. ШИЛОВСКИЙ

РАЗГРОМ НЕМЦЕВ ПОД МОСКОВЬЮ

Неудача первого наступления немецких войск на Москву

В первой половине октября 1941 года на московском стратегическом направлении развертывались широкие маневренные действия. Они явились результатом нового, крутого наступления, начатого немцами 2 октября на советско-германском фронте. Немецко-фашистское руководство возлагало большие надежды на это наступление. Гитлер заявил в приказе по Восточному фронту:

«Создана, наконец, предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага... На этот раз планомерно, шаг за шагом, шли приготовления, чтобы привести противника в такое положение, в котором мы можем теперь нанести ему смертельный удар. Сегодня начинается последнее большое, решающее сражение этого года».

Октябрьское наступление немцев осуществлялось на широком фронте и преследовало решающие цели: поражение и уничтожение Красной Армии, захват Москвы и других важнейших промышленных районов на севере и юге и, как следствие этого, — быстрое и победоносное окончание кампании войны.

Для достижения намеченного плана фашисты двинули огромные массы войск и боевой техники. В частности, на московском стратегическом направлении наступала центральная группа армий генерала Бока в со-

ставе двух полевых армий и танковых армий (групп). Им поставлена задача — разбить и восточные силы советских войск, владеть Москвой.

Борьба с самого начала приобрела напряженный и острый характер. Противнику удалось в начале октября прорвать наш фронт, вернее и южнее направления Беленск, Вязьма и вскоре продвинуться восточнее Вязьмы. Германское информбюро кричало о блестящих победах и об уничтожении Красной Армии. Иностранным наблюдателем представлялось, что теперь путь в Москву открыт и следует ожидать стремительного броска главной силы немецких подвижных сил кратчайшему направлению: Вязьма, Гжатск, Можайск, Москва.

Но германское командование, идя на весь мир победных реций, видимо, несколько иначе ценивало для себя сложившуюся становку. На основе опыта боев Красной Армии враг с постным нованием мог предполагать, что Москву будет жестокая и упорная битва. Вступать в это сражение Подмосковный, при наличии уже усиленных и понесших потери войск, растянувшись тылом, ведя лобовое наступление на узком фронте, кратчайшему направлению к столице, видимо, германскому командованию представлялось рискованное. Немцы учитывали возможность фланговых ударов Красной Армии в борьбе за Москву, которые в условиях могли сыграть краеугольную роль.

Поэтому, следуя указаниям германского полевого устава — сначала взвесить и рассчитать, а затем уже итии на обоснованный риск, — немецкое фашистское руководство пошло наступление на Москву по широкому задуманному плану. Одновременно с выдвижением частей «сил прямого на Можайск и далее к Москве» противник развел активные операции на флангах, по обеим сторонам от столицы, на Калинин и на Тулу.

Эти действия имели целью:

Захватить Калинин и Тулу, разъединить Москву с севером и югом, изолировать ее;

— обезопасить свои фланги, занять выгодное охватывающее положение на широком фронте в отношении столицы;

— затем концентрическим наступлением с трех сторон (от Калинина, Можайска и Тулы) овладеть Москвой.

Однако ход событий в октябре опрокинул эти коварные планы врага. Хотя в половине октября немцам удалось стремительным ударом захватить Калинин, но дальнейшее наступление не получило развития. Их войска под Калинином оказались в длительный срок связанными упорными боями с частями Красной Армии и не могли быть использованы для нового удара на Москву с севера. На юге 2-я танковая армия Гудериана тщетно пыталась овладеть Тулой. Город-герой крепко держалась и отражал все атаки фашистов. Борьба под Тулой приобрела заданный характер, и фашисты не смогли через Тулу, Серпухов и Каширу (как они намеревались) прорвать с юга руку к Москве.

Лишьная, таким образом, поддержка с флангов, центральная несущая группировка во второй половине октября на Можайском направлении имела сравнительно небольшое продвижение. Помимо сопротивления наших войск, стойко оборонявших подступы к столице, лесистая местность и неблагоприятные климатические условия затрудняли наступление врага. Казалось, сама Московская природа — столь чистая и родная — в памятные дни второй половины октября 1941 года стала против ненавистных чужеземцев.

В результате октябрьского наступления немцы все же значительны продвинулись вперед. Пока войска, после ожесточенных боев, нанесли нес游击队 тяжелые потери, отошли и закрепились на новом рубеже восточнее Волоколамска, Можайска, Малоярославца, Калуги. Но фанаты стам не удалось достичь ни одной из тех целей, которые они перед собой ставили при начале наступления: Москвы они не взяли, Красной Армии не уничтожили. Попрежнему штурм к столице преграждали наши доблестные войска, усилившиеся прибывающими подкреплениями и готовые дать должный отпор ненавистному врагу.

Первое наступление немцев на Москву провалилось. Ни в октябре ни 7 ноября (новый срок, назначенный Гитлером для взятия Москвы) фашистские войска не вступили в столицу.

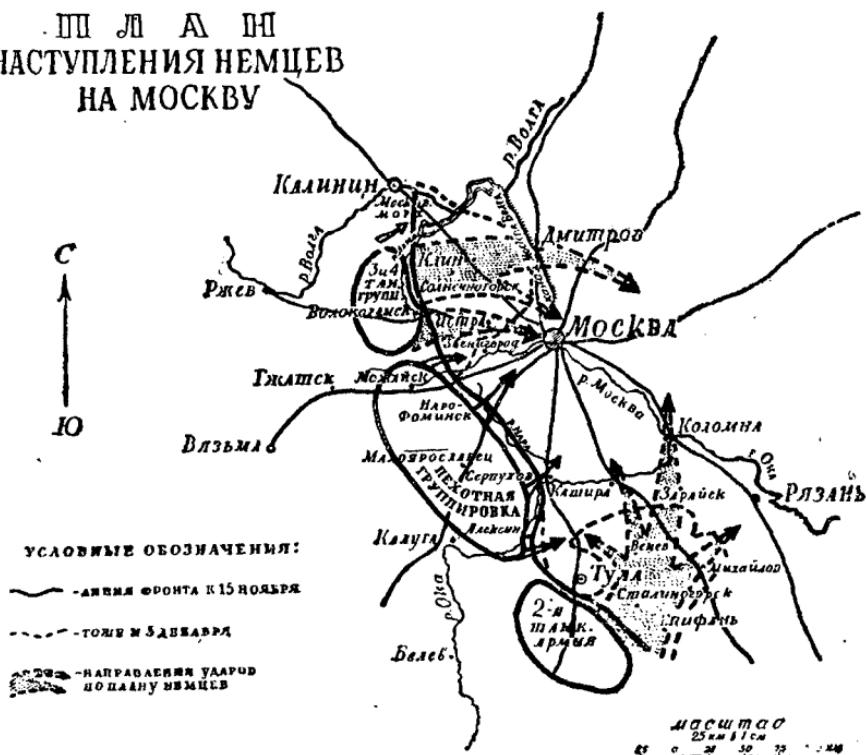
В этот день великий вождь советского народа и Верховный Главнокомандующий товарищ СТАЛИН принял парад войск на Красной площади Москвы. Иностранная печать оценила это как блестящую победу советов.

План «второго» генерального наступления немцев на Москву

Вынужденные остановиться на дальних подступах к столице, немцы стали готовить новое «генеральное» (как они заявляли) наступление на Москву. В начале ноября по целому ряду признаков и поступавших данных можно было заключить, что враг производит перегруппировки, собирает свои войска, подтягивает тылы и стремится занять выгодное исходное положение для нового решительного удара.

Сопоставляя эти данные с последующим фактическим ходом событий, можно сделать вывод, что оперативный замысел фашистского командования сводился к концентрическому наступлению на Москву с трех сторон: с северо-запада, запада и юго-запада. Главный удар должны были наносить мощные танковые группировки, сосредоточенные на обеих заходящих крыльях,

ШЛАНИ
НАСТУПЛЕНИЯ НЕМЦЕВ
НА МОСКВУ



севернее и южнее Москвы. Задача этих танковых групп (армий) заключалась в том, чтобы прорвать фронт Красной Армии, волнах глубокие «каньи» в наше расположение и сократить кольцо окружения к востоку от столицы.

В центре немецкого построения находилась основная пехотная группировка, которая должна была сначала сковать наши центральные армии на кратчайших путях к Москве и не позволить им маневрировать против обходящих фланговых групп. В дальнейшем, по мере развития охватывающего удара на обоих крыльях, пехотным корпусам предстояло прорвать наш фронт в направлениях на Звенигород и Наро-Фоминск, окружить войска Красной Армии, защищающие столицу с запада, и выйти к Москве, раскалыв наше Западный фронт на изолированные и окруженные неприятельскими войсками куски.

Мы видим в этом плане типичную для немецкой армии операцию на окружение, причем здесь намечалось осуществить двойные «каньи»: большое кольцо окружения образовывали фланговые танковые группировки, действовавшие севернее и южнее Москвы, а малое кольцо (малые «каньи») создавалось на Можайском направлении путем прорыва нашего фронта на Звенигород и Наро-Фоминск и последующего выхода немцев на московскую автостраду.

Советское Информбюро так сообщало об этом наступлении:

«С 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. Противник имел целью путем охвата и одновременного глубокого обхода флангов фронта выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу, Калугу, Рязань и Коломну — на юге, далее занять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров — на севере и потом удастся на Москву с трех сторон и занять ее».

Для этого были сосредоточены: в тылу нашего правого фланга, а Клинско-Солнечногорско-Дмитровском направлении, третья и че-

твертая танковые группы генералов Гоот и Хюннера в составе 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й, 10-й и 11-й танковых дивизий, 36-й и 14-й мотопехотных дивизий, 23-й, 106-й и 35-й пехотных дивизий; против левого фланга, на Тульско-Калужско-Рязанском направлении, — вторая бронетанковая армия генерала Гудериана в составе 3-й, 4-й, 17-й и 18-й танковых дивизий, 10-й и 29-й мотопехотных дивизий, 167-й пехотной дивизии; против центра действовали 9-й, 7-й, 20-й, 12-й, 13-й и 43-й армейские корпуса, 19-я и 20-я танковые дивизии противника».

Таким образом удар на Москву с северо-запада наносился семью танковыми, двумя моторизованными и тремя пехотными дивизиями. С юга наступали четыре танковых, две моторизованных и одна пехотная дивизия. В центре, на кратчайших путях к Москве с запада, была развернута в основном пехотная группировка: шесть армейских корпусов и две танковых дивизии. Всего на Москву наступала 51 дивизия; из них к началу операции было в первой линии около 40 дивизий и в ходе наступления было выведено еще до 10.

Этот оперативный план, взятый сам по себе, с внешней стороны был не хуже и не лучше других подобных планов германского командования, которые в иных случаях имели успех. По своему замыслу и построению он, на первый взгляд, как будто бы отвечал уровню развития военного дела и современной техники. Были собраны большие силы; они занимали выгодное исходное положение и были концентрически направлены на столицу Советской страны. Прямыми движениями перед собой они выходили во фланги и тылы войскам Западного фронта, окружали Москву. И немецко-фашистскому руководству казалось, что созданы все предпосылки для последнего, решающего удара, который должен еще до наступления зимы решить судьбу Москвы, всей кампании и даже войны.

Оборонительное сражение под Москвой

К половине ноября наши армии Западного фронта вели бои местного значения, укрепляли свои пози-

ции и наносили частные контрудары по врагу, препятствуя сосредоточению сил и осуществлению его агрессии пламенем.

В таком положении Западный фронт под командованием генерала армии Жукова принял на себя удар огромной массы людей и боевой техники, брошенных немецко-фашистским командованием 15—16 ноября во второе «генеральное» наступление на Москву.

15 ноября противник повел наступление по обеим сторонам Московского моря, стремясь оттеснить здесь наши войска за Волгу, чтобы притерпеться на севере этим водным рубежом. На следующий день фронт неприятельского наступления расширился к югу и захватил Клинское и Волоколамско-Истринское направления.

Войска Красной Армии оказывали упорное сопротивление, переходили в контратаки, но под написком превосходящих по численности сил врага вынуждены были отходить от рубежа к рубежу, изматывая противника и нанося ему потери. Среди многих примеров высокого мужества и самоотвержения, проявленных отдельными бойцами и целыми частями при борьбе за Москву, особо выделяется подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев.

Испытавшая в боях, по крепкая духом 316-я стрелковая дивизия — ныне 8-я гвардейская — вела бой с немецкой пехотой и танками, прикрывая своим «Левофланговыми частями» Волоколамское шоссе и путь на Истру и Москву. С утра 16 ноября противник перешел в наступление, пытаясь прорваться здесь по шоссе на Москву. Группа бойцов, под командой сержанта Добробабина, заняла укрытую позицию в районе разъезда Дубосеково (7 км юго-восточнее Волоколамска). Фашисты вскоре атаковали группу наших бойцов ротой пехоты при поддержке 20 танков.

Встреченные внезапным, но точным огнем храбрых гвардейцев, немцы потеряли до 70 человек убитыми, несколько танков и остановились. В промерзшем окопе у разъезда Дубосеково бойцы поклялись друг другу биться с врагом до последней капли крови. Среди них были твердые русские люди, крепкие, веселые

украинцы; лихие колхозники Таласа; казахи из Алма-Аты. Их «свое» товарищество, скрепленное кровью, стало воплощением боевого единства и непримиримой дружбы родов нашей страны, поднявших на своего смертельного врага.

Героев было двадцать восемь. Двадцать девятый, оказавшийся прорванным трусом, был тут уничтожен самими гвардейцами. Бой с танками длился свыше четырех часов, и фашистские танки смогли прорвать оборону доблестных защитников. Часть героев были убиты и тяжело ранены. Но никто, оставшийся не дрогнул и не расстался. В это время в атаку двинулись еще 30 танков. В тяжелом, равном бою было вновь подбито 11 вражеских танков. У сложных защитников вышли все боеприпасы. Политрук Ключков-Диев, будучи у ранен, подвесься на себя связку гранат, бросился под танк и подорвал его.

Бесстрашно борясь до конца, 28 гвардейцев погибли смертью храбрых. Они нанесли противнику крупный урон, выведя из строя ловину всех боевых машин, и допустили прорыва массы фашистских танков по Московскому шоссе. Гвардейцы дали время нашим врагам укрепиться на новом рубеже и организовать оборону. Прославленные советские люди — они стали подлинными народными героями великой страны, вставшей на защиту своей независимости, чести и свободы.

В последующие дни жесткая борьба развернулась за Клинский район Истры, за Истринское водохранилище. В результате боев на войска, начиная сеприятелю сильный урон, отошли к востоку от этих пунктов. Продвигаясь вперед сильными танковыми дивизиями, поддержаными пехотой и авиацией, наступающие к 1 декабря находились уже линии канала Москва — Волга, Кривая Поляна, Крюково и север Звенигородца. На юге они окружили Тулу, захватили Стalinогорск, Туров, Михайлов,двигались на Калугу и Рязань.

Положение под Москвой было ключительно серьезным и опасным. Над столицей и советской родиной нависла грозная опасность. Только путем полного напряжения

всех сил можно было остановить и разбить столь опасного врага. Бро-
нированные немецко-фашистские
войска, преодолевая мужественное
противление наших войск, рвались к Москве. Вся многомиллионная страна, затаив дыхание, следила за ходом великой битвы под Москвой. Центральный орган нашей партии — «Правда» огненными словами поднимал массы на борьбу с захватчиками, вселяя в них уверенность в нашей конечной победе. Вот заголовки передовиц и лозунги «Правды» в тревожные дни конца ноября:

21/XI — «Отечественная война рождает героев».

Сейчас нет более важной задачи, чем задача отбить и победить врага.

22/XI — «Стойко защищать родную Москву».

«Ни шагу назад!

Не подпускать врага к столице!»

24/XI — «Ни тени беспечности, выше бдительность и организованность!»

Надо во что бы то ни стало остановить врага, отстоять Москву и тем самым положить начало разгрому гитлеровской армии.

25/XI — «Сокрушить военную мощь врага!»

27/XI — «Под Москвой должен начаться разгром врага».

Борьба в Подмосковье вступила в решающую фазу. На севере немецко-фашистские войска, обрупившиеся на правое крыло Западного фронта, принудили наши армии в результате жестоких двадцатидневных боев отойти к востоку. Немцам удалось прорваться вперед на 80—90 км, даже выйти к каналу Москва — Волга, севернее столицы. Но оперативный фронт Красной Армии не был прорван. Враг имел перед собой несокрушимую стену из наших войск. Вместо ожидавшегося немцами оперативного прорыва и разгрома нашего правого крыла получилось лишь глубокое вдавливание фронта Красной Армии.

Продвижение в глубину расположения противника выгодно, если оно приводит к поражению части неприятельского боевого порядка и прорыванию прорыва, раскалывает

фронт, позволяет осуществлять ма-
невр в оперативной глубине и нано-
сить удары по образовавшимся флангам противника, уничтожать от-
дельные куски боевого порядка
окружать его с тыла. Такое продви-
жение, питаемое резервами, дает большие преимущества наступаю-
щему.

Но если сильный и активный про-
тивник не дрогнул, если он не раз-
бит, фронт его не прорван, а в ре-
зультате наступления только обра-
зовалось вдавливание линии фрон-
та — «пузьры», обращенный в не-
приятельскую сторону, если не
имеется поблизости достаточных ре-
зервов у наступающего, то в таком
положении обстоятельства могут по-
вернуться к невыгоде для него.
Прорыва нет, а есть мешок, внутри
которого войска оказались в небла-
гоприятном оперативно-тактическом
положении. Если обороняющийся со-
хранил силы (или получил подкреп-
ление), если он достаточно активен
и смел, то он может поставить вой-
ска, оказавшиеся в мешке, в тяже-
лые условия для продолжения
борьбы.

Правое крыло Западного фронта Красной Армии вынуждено было уступить противнику значительную территорию, но оно не было раз-
громлено, не распалось под жесто-
ким наискоком врага и свою ответ-
ственную роль в московской опера-
ции сыграло полностью. Северная
ударная группировка немецких войск,
стремившаяся охватить и окружить войска Красной Армии, фактически
сама оказалась «хваченной» с трех
сторон. Она находилась в оператив-
ном мешке, имея перед собой силь-
ного и активно действующего про-
тивника. Войска Красной Армии пе-
реходили в контратаки, наносили
неприятелю большие потери, все
время вырывали у него инициативу
из рук. В результате этого, а также
следствие понесенных немцами по-
терь и усиления Красной Армии
свежими резервами, оперативное по-
ложение северного ударного крыла
германских войск стало ухудшаться
и к 5 декабря обратилось в невы-
годное.

Не лучшее сложилось для немцев
оперативная обстановка и на про-
тивоположном, ложном, крыле. Гуде-
риан сначала хотел пройти на Мос-

ку через Тулу. Но город герой остановил немцев. Он явился опорным пунктом нашей обороны и последующего контрнаступления на левом крыле Западного фронта. Все попытки окружить Тулу и овладеть ею были ликвидированы. Не имея возможности захватить Тулу, немцы вынуждены были обходить ее. Их 2-я бронетанковая армия двинулась в обход Тулы с востока, в образовавшийся разрыв. Ей удалось проникнуть в оперативную глубину и, как предполагало немецкое командование, выйти на маневренный простор. Однако это в конечном счете лишь ухудшило положение противника, так как войска левого крыла Западного фронта в этой трудной обстановке попрежнему сохраняли организованность. Фронт под Тулой и севернее Тулы держался, и все попытки немцев разгромить его комбинированными ударами с фронта и с тыла были отражены. От Капиты немцам наименее контрудар 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова. С востока от Рязани, занимая выгодное оперативное положение на фланге немецких сил, развертывались и готовились двигнуться вперед войска генерала Голикова. Тула также активизируется и начинает сама угрожать флангу и тылу немецких войск, проникших в район к северо-востоку от города. Гудериан, намеревавшийся ударом через Коломну замкнуть кольцо окружения красных войск востоку от Москвы, сам оказался в начале декабря в оперативном окружении. Так в ходе ожесточенной борьбы переменилось соотношение сил и положение сторон на левом крыле Западного фронта. Бронетанковый кулак, которым немцы хотели наложить сокрушительный удар через Тулу на Москву, фактически разжался, он вынужден был растянуть свои пальцы в сторону Рязани, Заряска, Капиты, Лаптева и Тулы.

На обоих флангах Западного фронта развертывались яркие волнующие события. Они играли основную, решающую роль. Они как бы оставляют в темноте наши серединные армии. Роль нашего центра, который стоял на мосте, на первый взгляд менее заметна, но она все же весьма значительна. Без устойчивого центра нельзя было бы успешно

выдержать столь упорную борьбу на флангах, нельзя было бы провести успешную большую операцию. Центр центра закрыли своей группой, кратчайшие пути на Москву. Оприняли на себя и отразили удар пехотных группировок противника, усиленных танками. Устойчивый центр явился надежной опорой для всего материка на флангах, обеспечил их связь и единство всей фронтовой операции. Чтобы правильно уяснить эту важную роль центра в московской операции, достаточно представить себе, как уложнилась бы обстановка для Центральной Армии, если бы центр другого в то время, когда крылья Западного фронта под нацистским противником откатаивались на восток.

Но волна разбилась о берег. Наш центр стоял крепко. Он удержал рубеж по р. Наре, он уничтожил отдельные прорвавшиеся части противника, он не допустил раскола нашего фронта. И в том очень важном обстоятельстве, что под ожесточенным нацистским врагом Западный фронт, хотя и подался назад на флангах, весь изогнулся, как бы собираясь силами для контрудара по неизвестному врагу, но остался единым, цельным, взаимодействующим всеми своими частями, способным к нанесению новых, более сильных и сокрушающих ударов, — в этом важном обстоятельстве не малая заслуга принадлежит нашим центральным армиям. Оба центральных фланговых клина оказались разделенными нашим обширным устойчивым центром: они не могли войти в оперативное взаимодействие, предоставленные каждый сам себе, не смогли достигнуть своей цели. Немецкий центр оказался не в состоянии справиться с поставленной ему задачей. Центральные армии Западного фронта выполнили свою задачу в московской операции.

В процессе борьбы на подступах к Москве силы и мощь Западного фронта нарастили, а силы немецких армий уменьшались, таяли дивизии, выбывала техника. В течение 20 дней непрерывных боев не потеряли убитыми (по нашим данным) около 55 000 человек. Этот же период нашими войсками были уничтожено и захвачено (не считая действий авиации):

танков — 777, минометов — 119,
автомашин — 534, пулеметов — 224,
орудий — 178 и т. д.

Вместо концентрированных, целево-
целенаправленных ударов бронированных
группировок на Клинско-Сол-
нечногорском и Венев-Каширском
направлениях противник вынужден
был вести напряженное сражение от
Московского моря до Тулы и Вене-
ва на фронте в 350 км.

Назревал кризис операции, ее по-
рекоммendedный момент.

Контраступление Красной Армии

Политическая и стратегическая об-
становка, в которой протекала вели-
кая битва под Москвой, была уже
изменена, более благоприятная для Крас-
ной Армии, чем в первый период
войны. Стало сказываться результа-
ты предшествовавшей пятимесячной
борьбы Красной Армии и всего со-
ветского народа под мудрым руковод-
ством товарища Сталина против фа-
шистских захватчиков. Неприятель
понес уже большие потери, был
измотан и ослаблен. Немецко-фа-
шистские войска, продвинувшись в
глубь Советской страны, оказались в
враждебном им окружении. Их коммуникации были разори-
ты на 800—1000 км и находились
под ударами партизан и авиации.
В этих условиях оперативная не-
удача — проигрыш сражения — могла
иметь для немцев далеко идущие
стратегические последствия.

Как показал весь последующий
ход борьбы, немцы под Москвой про-
читались. Они явно недооценили
силы сопротивления Красной Армии
и были у нее глубоких и многочис-
ленных резервов.

Сталинский план разгрома немцев
под Москвой предусматривал:

1) создание в глубине страны
мощных стратегических резервов,
способных противостоять неприя-
тельскому наступлению;

2) организацию прочной и активной
обороны в Подмосковье; изна-
чение достаточных для этого сил,
опиравшихся на целую систему
крепленных рубежей;

3) изматывание и обескровливание
противника путем упорной борьбы
на ближних и дальних подступах к
Москве;

4) выбор удобного момента для
перехода в решительное контра-
ступление с целью разгрома фаши-
стов.

Замыслы и плац Верховного Глав-
нокомандующего товарища Сталина
получили талантливое осуществле-
ние на Западном фронте под коман-
дованием генерала армии т. Жукова.

Как было отмечено, оборонитель-
ное сражение под Москвой протека-
ло в более благоприятной для Крас-
ной Армии стратегической обста-
новке, чем в первый период. Однако
благоприятная стратегическая об-
становка способствовала достижению
оперативного успеха и его дальней-
шему использованию, но сама еще
не предрешала победы на поле сра-
жения.

Сражение нужно было выиграть
у сильного и искусного противника
в тех жестоких и упорных боях, ко-
торые гремели по полям и лесам
Подмосковья поздней осенью 1941
года. Это была нелегкая задача!

Войска Западного фронта дрались
героически. Они понимали, какая
великая историческая ответствен-
ность лежит на них. Братское един-
ство народов нашей страны, их
готовность защищать до конца род-
ную Москву были прекрасно выра-
жены в письме узбекского народа
товарищу Сталину:

Врагу под Москвой не сносить
головы,
Защитников много у нашей
Москвы:

Казах и туркмен, белорус и
грузин,
Украинец, русский, таджик,
как один,
По вражеским полчищам станут
разить,

Огнем и мечом их палить и рубить...

Все с фашистскими захватчиками
под Москвой приняли особо оже-
сточенный и упорный характер.
Борьба шла за каждую льдяную
землю. Немецко-фашистское
командование, несмотря на большие
потери и отсутствие резервов, гнало
войска вперед, стремясь любой ценой
взять Москву до наступления
зимы. Они приблизились на 25 км с
северо-запада к Москве. Немцы
были уверены в успехе! Германское
информбюро сообщало в начале де-
кабря:

«Германские круги заявляют, что германское наступление на столицу большевиков продвинулось так далеко, что уже можно рассмотреть внутреннюю часть города Москвы через хороший бинокль».

На 2 декабря в Берлине было приказано редакциям газет оставить пустые места в газетах для помеще-
ния сообщения о взятии Москвы.

По сопротивлению Красной Армии нарастало. Ожесточенные бои с не-
ременным успехом шли на севере —
на Дмитровском, Клинско-Солнечно-
горском, Истринском и Звенигород-
ском направлениях. На юге развер-
нулись упорные бои в районе Тулы.
Под прикрытием этих действий на-
ших войск, стойко драющихся на
фронте, проходило сосредоточение
стратегических резервов. Они на-
правлялись к тем участкам фронта,
где должна была решиться участь
этой великой битвы, занимали заранее
указанные им места в общем
оперативном построении.

Немцы, стремясь обеспечить силу
первого удара и быстрый темп про-
движения, наступали без резервов,
вытянув все свои войска в одну
линию. Командование Красной Ар-
мии, несмотря на исключительно
трудные условия борьбы с бронирова-
нными клиньями врага, сохранило
свои резервы для решающего манев-
ра, ожидая выгодного момента.
И в то время, когда немцы находи-
лись почти у стен Москвы и готовы
были торжествовать победу, делая последнее усилие, — тяжкий меч воз-
мездия опустился на голову фа-
шистских захватчиков. Сталин дри-
нул резервы и приказал войскам
перейти в контрнаступление.

Когда немцы поняли, что оба их
«клини» попали в подготовленные
для них «клещи» и оказались за-
жатыми в них, — было уже поздно.
Войска Красной Армии атаковали
немцев с разных сторон: с севера,
востока и юга. Их поддерживала
наша авиация. Стояла зима, а фри-
цы были одеты по летнему, рассчиты-
вая зимовать в теплых квартирах в
Москве. Фашистская техника, не под-
готовленная для работы в суровых
зимних условиях, также стала сда-
вать. Почуя наступающую ката-
строфу, немцы, пытаясь найти путь

к отступлению, замотались, крысы, попавши в мышеловку.
На севере гвардию войска уже о-
жали Клин, заходя в тыл врага.
Дорога от Клина на Волоколамск
была забита отступавшими в бе-
порядке неприятельскими колоннами
автомобилей, обозов, войск. На-
виация нашла исключительно
годные цели для своих бомб и п-
Вскоре посёлки были завалены тру-
ми людей и лошадей, разбиты
броненосными тушами и головами.
На чоге Гудерман, также оказавши-
ся в окружении, дал приказ снять
машину и спешно отступать.
штаб едва избежал плена.

Советское Информбюро так от-
шало об этих событиях:

«6 декабря 1941 года войска на-
го Западного фронта, измотав, п-
тивши в предшествующих бо-
перешли в контрнаступление про-
его ударных фланговых груп-
пок. В результате начатого наст-
лания обе эти группировки разо-
и поспешно отходят, бросая техни-
вооружение и неся огромные поте-

К исходу 11 декабря 1941 года
имели такую картину:

а) войска генерала Лелюшев-
сбивая 1-ю танковую, 14-ю и 36-ю
мотопехотные дивизии противника
и заняв Рогачев, окружили г. Клин.

б) войска генерала Кузнецова
захватив г. Яхрому, преследуют
ходящие 6-ю, 7-ю танковые и 23-ю
пехотную дивизии противника
вышли юго-западнее Клина;

в) войска генерала Власова, про-
следуя 2-ю и 106-ю пехотные див-
зии противника, заняли г. Солнеч-
горск;

г) войска генерала Рокоссовского
преследуя 5-ю, 10-ю и 11-ю танковые
дивизии, дивизию «СС» и 35-ю пехо-
тную дивизию противника, заняли
г. Истра;

д) войска генерала Говорова про-
рвали оборону 252-й, 87-й, 78-й и
267-й пехотных дивизий противника
и заняли районы Кулебякино, Коткия;

е) войска генерала Болдина, про-
бив северо-восточнее Тулы 4-ю танковые дивизии и полк
(«Великая Германия») противника
развивают наступление, тесня и
захватывая 296-ю пехотную дивизию
противника;

ж) 1-й гвардейский кавалерий-

и групп генерала Белова, последовательно разбив 17-ю танковую, 29-ю мотошершотную и 167-ю пехотную дивизии противника, преследует их остатки и занял города Венев и Стапеногорск;

3) войска генерала Голикова, отбрасывая на юго-запад части 18-й танковой и 10-й мотошершотной дивизий противника, заняли г. Михайлов и г. Елифань.

После перехода в наступление с 6 по 10 декабря частями наших войск занято и освобождено от немцев свыше 400 населенных пунктов.

С 6 по 10 декабря захвачено: танков 386, автомашин 4317, мотоциклов 704, орудий 305, минометов 101, пулеметов 515, автоматов 546. За этот же срок нашими войсками уничтожено, не считая действий авиации: танков 271, автомашин 565, орудий 92, минометов 119, пулеметов 131. Кроме того захвачено огромное количество другого вооружения: боеприпасов, обмундирования и различного имущества. Немцы потеряли на поле боя за эти дни свыше 30 000 убитых.

Преследование разбитых и отступающих немецких войск продолжалось. Северная группировка противника (остатки 3-й и 4-й танковых групп), стараясь задержать наступление Красной Армии, отходила на запад, на рубеж рек Ламы и Рузы. В центре, после попытки прорвать фронт обороны противника на реке Наре, нацистская армия во второй половине декабря преодолела сопротивление немцев и также начали продвигаться вперед. Левое крыло имело наиболее быстрые темпы. Наши войска левого крыла в конце декабря уже форсировали рубеж реки Оки между Калугой и Белевом и развили наступление в глубину. Перед ними открылась перспектива дальнейших быстрых успехов.

Заключение

Переход от обороны и отступления к решительному, долгопрацтудленнию в широком оперативно-стратегическом масштабе, с разгромом действовавших сил врага, является однажды из наиболее трудных и сложных операций. Они предъявляют исключительно высокие требования

к моральной крепости и доблести войск, к качеству командования и управления войсками. Восинная история знает не много операций, подобных московской.

Здесь слились воедино, ставшие непреодолимыми для врага, сталинское гениальное предвидение и мудрое руководство, великий патриотизм советского народа, мужество и искусство Красной Армии.

В результате дебабрского контрнаступления Красной Армии немецко-фашистским войскам было нанесено тяжелое поражение. Политические и стратегические последствия победы под Москвой огромны. Близкий результатом явился первым кампания 1941 года в благоприятную для нас сторону: Красная Армия перешла от стратегической обороны к стратегическому наступлению. Надежды немцев на «молниеносную» войну были похоронены. Миф о «непобедимости» германской армии был окончательно рассеян. Москва была освобождена от непосредственной угрозы врага; также была освобождена от фашистов значительная часть советской земли. Оперативно-стратегическое положение Западного фронта резко улучшилось, он вновь приобрел свободу действий, которую немедленно и успешно использовал.

Непосредственные оперативные результаты одержанной победы были также очень велики. Центральной группе немецких армий было нанесено столь тяжелое поражение, что она принуждена была в дальнейшем отказаться от активных действий и отсиживаться до весны под продолжавшимися ударами наших войск. За период с 6 по 25 декабря войсками Западного фронта было захвачено: танков 1098, орудий 1434, пулеметов 1615, автомашин 12233 и много другого военного имущества. Количество убитых, раненых и обмороженных немцев в московской операции определяется сотнями тысяч человек.

Великая битва под Москвой представляет собой одну из наиболее ярких и захватывающих страниц отечественной войны. Она войдет в мировую историю как один из бессмертных образцов упорства в борьбе, мужества и воинского искусства Красной Армии и ее руководителей.

И. ЭВАВИЧ

ВОЗВЫШЕНИЕ И ГИБЕЛЬ ФРИЦА ТОДТА

1

Когда ученик реального училища в маленьком баденском городке Пфорцгейме Фриц Тодт стал впервые сознательно осмысливать жизнь, государственная граница проходила уже далеко от родного города. Пфорцгеймский округ примыкал к столичному округу Бадена — Карлсруэ, который в свою очередь непосредственно соседствовал с великой рекой Германии — Рейном. А за Рейном простирались новые, недавно приобретенные немцами земли — Эльзас-Лотарингия; три десятилетия перед тем эти земли были отняты у всевогового врага — Франции.

Дед Фрица, деревенский кулач, проделал кампанию 1870—1871 г. фельдфебелем и охотно рассказывал мальчику о том, как германские войска пошли в поход на запад во главе с пруссаками. Старик недолюбливал пруссаков, но отдавал им должное. «У этих людей с севера есть твердая воля; они ни перед чем не останавливаются и не похожи на наших мямлей с Рейна и Неккарса». Дед высказал свое удовлетворение тем, что у мальчика прусские учителя; уж юги научат его дисциплине, не то, что в прежние годы, когда в воспитаннице Царилла «Бемутlichkeit» — пресловутая южно-немецкая мягкотелость. И старик неодобрительно поглядывал в сторону своей невестки, матери Фрица, типичной южанки, откармливавшей мальчика кухенами и рассказывавшей ему задушевные сказки старого Шварцвальда.

Отец Фрица, переселившийся в город и открывший в Пфорцгейме бо-

гатую ювелирную мастерскую, в астучаях повторял: «Чего ты хочешь отец, от женщины? Ведь наизборе зал: область женщины — чет «К» — Kinder, Kirche, Kleider, Kinde (дети, церковь, платья, кухня «Я хочу, чтобы Лотта не испортит мне мальчишку», — говорил дед, и еще недовольно смотрел на невесту. Но после сытного обеда, за стаканом доброго рейнского вина, бывший фельдфебель размякал и вместе с сыновьями напевал: «Ein rheinisch Mädchen beim rheinischen Wein, — kann auf Erde himmlischer sein» («С рейнской девочкой да с рейским вином живешь на земле, ка-раю). Но горе подмастерью или нику, если тот осмеливался, силой мастерской, подпевать старому ханну, голос которого доносился столовой. «Вам не о девочках мать, вам работать надо», — громко прикрикивал старик на молодых бочих, как некогда кричал он на вобранцев из швабских сел. Совсем по хозяевам и слугам разрешал петь только сугубо патриотично: «Стражу на Рейне». И тогда все, девятилетнего Фрица в новеньком мундирчике реалиста до старшего фельдфебеля в зеленой шляпе с ром, затягивали: «Отечество, ты же хочешь стать спокойно, твердо стражка на Рейне».

Фриц Тодт родился в 1891 г. год перед тем вышел в отставку Фридрих канцлер Бисмарк, и выражением интересов молодого и already германского империализма стал император Вильгельм II. В 1900 г., когда Фрица приняли в реальное училище, император Вильгельм пролил на свою прутственную речь немецким со-

м, отправлявшимся с карательной экспедицией в Китай:

«Так же как гуны под предводительством Аттилы тысячу лет тому назад завоевали свою репутацию, живущую в исторических преданиях, так же пусть сейчас имя Германии станет в Китае настолько известным, чтобы и через тысячу лет ни один китаец не осмелился даже косо взглянуть на немца... Никакой пошады, никаких пленных, каждый, кто попадет вам в руки, пусть будет вашей жертвой... Раз навсегда расчистите путь для цивилизации!»

Учителя истории реального училища в Пфорцхайме прочитал речь кайзера всем ученикам и заставил выучить отрывки из речи наизусть. Когда маленький Фриц сбежался и неправильно произнес имя гуннского предводителя Аттилы, его заставили переписать двести раз в тетрадке остроконечными готическими буквами: «Аттила», «Аттила», «Аттила». Учителя хватило терпения при Фрице проверить всю тетрадку с «Аттилой» и пересчитать все слова до одного. Но так как дома Фрицу тоже были шагоняй за «Аттилу» и отец прошелся раз десять ремнем пониже спины мальчугана, то Фриц постукино переписал двести раз трудное собственное имя и еще один раз, двести первый, добавил уже от себя, дополнительно, на всякий случай. Учитель остался доволен.

Когда Фрицу минуло четырнадцать лет, ему довелось видеть и слышать кайзера лично. В апреле 1905 г., только что вернувшись из Танжера, куда он ездил с целью произвести эффективную политическую демонстрацию в мировом масштабе, кайзер Вильгельм отправился в инспекционную поездку по западной границе Германии. 27 апреля 1905 г. кайзер прибыл в Карлсруэ, где его встречали верноподданные баденцы. Фриц и его родители отправились в Карлсруэ на «Ausflug» — экскурсию. Кайзер говорил с балкона городской ратуши, и Фрицу с площади хорошо была видна его фигура. Кайзер выглядел далее не так величественно, как того ожидал Фриц, но обстановка была очень торжественной, кайзер держал себя самоуверенно, и мальчику зачаровавшись напыщенным выражением лица с усами, лихо закрученными вверху, и висевшая плетью левая

рука в перчатке, которую кайзер усиленно, но тщетно старался скрыть от взоров публики. Вместе со всеми Фриц аплодировал, когда кайзер сказал: «Я надеюсь, что день, когда мы сочтем необходимым вмешаться, чтобы обеспечить Германии место под солнцем, застанет всех нас, немцев, единными и сплоченными».

Затем кайзер принимал явившихся со всеподданнейшим приветствием членов городского муниципалитета Карлсруэ и старост баденских ремесленных цехов. После грозной речи с балкона кайзер хотел расположить кайзан к себе и даже спросил баденского гохаймрата, господина фон Вреде, изобразив на лице подобие улыбки: «Ну, а социал-демократы здесь у вас в муниципалитете имеются?» Тут к вящему ужасу гохаймрата единственный социал-демократ адвокат Клемпе выскочил вперед и сказал: «Я вашего императорского величества социал-демократ» («Ich bin Euer Kaiserlichen Majestät Sozial-Demokrat»). Но выступление господина Клемпе не только не прогнало улыбки с лица кайзера, но, напротив того, даже способствовало хорошему настроению Вильгельма. «Очень хорошо, очень хорошо», — сказал он и даже повторил: — «Нашего императорского величества социал-демократ» («Unserer Kaiserlichen Majestät Sozial-Demokrat») «Великолепное выражение изволили вы употребить, господин юстиции советник («Ein vortreffliches Wort haben Sie da geschmiedet, Herr Justizrat»). Я надеюсь, что когда наступит «тот день» («der Tag»), мои социал-демократы будут сражаться в рядах моей армии, как и все мои верноподданные». Юстиции советник Клемпе, почтительно сгибаясь, изъявил готовность соответствовать предначертаниям императора. Так об этом рассказал дома бывший на высочайшем приеме отец Фрица, представлявший цех ювелиров Бадена.

2

В 1910 г. Фриц Тодт вступил вольноопределяющимся в артиллерийский дивизион в Карлсруэ. Его приняли охотно: мальчик представил диплом реального училища с отличными отметками по математике и физике, и, кроме того, отец догадал-

ся послать полковнице фрукты в серебряной вазе старинной шварцвальдской работы. «Фрицу будет легче служиться», — сказал отец. — «Он оправдает наши расходы. Директор говорит, что из мальчика выйдет толк. У него умные руки».

Правда, лицо молодого Фрица Тодта нельзя было назвать одухотворенным: это было заурядное лицо южно-немецкого бурша с правильными чертами, белесовато-серыми глазами, только с натяжкой называемыми стальными, острой линией рта, жесткими губами да жидкими усиками, которые вольноопределяющейся Тодт беспрекословно сбрыл по приказу военного начальства. Но руки у Фрица в самом деле были умные: они умели лиху отдавать честь, быстро и точно производить все необходимые ружейные приемы, сбрасывать и разобрать винтовку. Руки были приучены к порядку, действовали, как хороший автомат. Впрочем Фриц был не глуп, он имел несомненные способности к математике, в школе превосходно решал задачи на построение, и вольноопределяющимся отдали его с тем, чтобы уже через полтора года Фриц мог поступить в высшее техническое училище в Мюнхене.

Осенью 1911 г. вольноопределяющийся Фриц Тодт получил, наконец, возможность облачиться в студенческий мундир. Перед отъездом в Мюнхен Фриц показался дома, в Пфорцгейме, и все нашли, что в студенческом мундире и в корпорантской шапочке он выглядит не хуже, чем в военной форме. Напевая песенку, слышанную им от товарищей в казарме: «Это девушки все обожают, от принцессы до крестьянок простых», Фриц чувствовал, что способен покорить если не весь свет, то по крайней мере Мюнхен и во всяком случае Пфорцгейм.

Столица Баварии, накануне войны 1914—1918 гг., считалась немецкими Афинами, средоточием муз, скопищем искусств, кладезем знаний. Великолепные картинные галереи вначале привлекали к себе Фрица, и он любил бывать на выставках, но товарищи-корпоранты подсмеивались над его тяготением к изобразительному искусству: «Хватит с тебя, что ты отлично чертишь, а за художеством пусть гонятся мо-

лодые еврейчики, которым все мы не дадим стать инженерами же, немцы, — люди дела, а людяла вся эта «Kunsttabli» — мавки к чему».

Однажды, когда Фрица Тодта дели в литературно-артистиче кафе близ Карлстор, его вы даже к инспектору высшей технической школы, который пожелал узнать, где Фриц бывает, с встретился, имеет ли знакомыди евреев и среди мюнхенской бмы. Весьма прозрачно инспектор мюнхенул, что руководство школы тово смотреть сквозь пальцы обычные шалости молодых людей, развлечения в пивных и кабаках, дуали, столы обычные в корпорантской среде, на близкие отношения какой-нибудь мюнхенской инспектора о последнем, инспектор упился. Но дирекция школы категорически возражает против опасных коммюнистов со всякими радикально-ляющими интеллигентами, которые Мюнхене и без того слишком много «Связь с такого рода людьми» бы позором для ваншей почты семьи и могла бы повредить в дальнейшей карьере. Многие физики приглашали к себе на работу выпускников нашей школы, — сказал инспектор, — спрашивают нас об их повинии в студенческие годы. Sapienti. В училище вы проходили курс лекций, Тодт? (С мудрого достаточн

Когда Фриц был уже на втором курсе, в Мюнхене нашумела истоска одной русской девушкой, учившейся не в технической школе, куда девушек не принимали, а в мюнхенском университете. Русская девочка — красавица брюнетка с длинными черными косами — училась отлично, но кто-то из студентов-корпорантов расстроил слух, что девушка еврейка. И вот в корпорантской школе было принято решение: вытеснить еврейку. В одно прекрасное утро занятия семинара корпоранты били косы девушки гвоздями в паде; когда девушку вызвал профессор и она попыталась встать, она всплыла от боли, а корпоранты с ужасом покидали ее. «Judia» (еврейка, еврейка). Девушка помогли освободить ее волосы, но не могла сесть. После этого в университете она не посмела. В этот вечер

нических пивнушках Тодт вместе с другими буршами пыл за то, чтобы в высшие школы Мюнхена был воспрещен вход «евреям и собакам». Выяснилось, что девушка не была еврейкой, а носила промкую фамилию князь Шаховской, вследствие чего вору университета было сделано представление от русского консула, он в полном параде ездил извиняться в консульство. Но корпорантам ока что выразили свои истинно германские чувства.

Фрицу Тодту не удалось закончить полного курса; война оборвала его занятия, и он был призван в ряды войск.

Технические знания позволили Фрицу Тодту перейти из артиллерии в новую отрасль оружия — авиацию. Он стал в 1916 г., после немногих месяцев фронта и обучения в авиационной школе, летчиком-наблюдателем. Судьба была к нему благосклонна; вплоть до самого 1918 г. он оставался цел и невредим. Только в августе 1918 г., когда на западном фронте союзники получили значительное превосходство в воздухе, самолет, на котором в качестве наблюдателя летал Тодт, был сбит, а сам Фриц ранен.

Таким образом поражение Германии и заключение перемирия застали Фрица Тодта в госпитале. Надо было думать о дальнейшем.

Оправившись от раны, прибрел Фриц Тодт домой. Войска недавних противников, французов, бельгийцев, греков, находились на территории Германии и оккупировали левый берег Рейна. В Майнце стояли французские союзнические отряды из африканцев. В Карлсруэ был англо-бельгийский отряд. В Пфорцхайме никого не было. Но горечь поражения была невыразима. Юстиции советник темпце был председателем городской управы, а подмастерье Габенхих из величайшей мастерской старого Тодта — членом муниципалитета.

Отец сказал: «У меня кое-что приносено на черный день. Мои деньги были хорошо помечены — в золото и серебро, в венчи и недвижимость. Ты, Фриц, будешь продолжать образование. А там станешь инженером, будешь зарабатывать и поработаешь тем, чтобы мы, немцы, добились

реванша. Не вышло один раз, выйдет в другой».

Фриц Тодт вернулся в 1919 г. на студенческую скамью, а в 1920 защищил дипломную работу на тему: «Источники ошибок при строительстве дорог из асфальта и смолы». «Дороги нужны всегда, и в годы мира, и в годы войны. Хочешь победы, готовь дороги», — сказал молодой инженер, Фриц Тодт, на защите своей работы в Карлсруэ. И члены совета Института техники в Карлсруэ сдержанно, как того требовали их возраст, чин и звание, аплодировали молодому человеку. «Вы были на военной службе?» — осведомился председатель совета. И на утвердительный ответ нового дипломированного инженера, имевшего чин лейтенанта в отставке, председатель совета одобрительно покачал головой.

3

Инженер Фриц Тодт снова в Мюнхене. Столица Баварии только что пережила взрывы: генералы с Каппом во главе пытались с помощью нескольких воинских частей взять власть в свои руки и, опираясь на Баварию, прогнать обосновавшуюся в Берлине коалицию фрака и подрясника, коалицию левобуржуазных адвокатов и католических попов вместе с их социал-демократическими спутниками в пиджаке и кепи. Но время для диктатуры сабель и пистолетов еще не пришло; рабочие помешали капповскому путчу. Пришлось прятаться, — искать защиты под маской баварского партикуляризма.

Инженер Тодт предлагает свои услуги баварскому правительству. Бавария — одна из тех областей Германии, на которые приходится относительно наименьшее количество железных и шоссейных дорог. Надо строить, строить во что бы то ни стало, говорит Тодт; ведь и так важнейшие пути международного значения проходят мимо Баварии.

Но молодому инженеру было объявлено, что касса баварского казначейства пуста. Не может быть и речи о строительстве дорог теперь, когда с Германией взимают reparations, теперь, когда из последних средств Германия платит пенсии стольким участникам прошлой войны.

ны. «Эти господа в Берлине патеф о палец но хотят ударить, чтобы могла быть восстановлена твердая власть. Нет и тысячу раз нет — Бавария от дорог пока воздержится — до лучших дней».

Фриц Тодт возмущен. Он надеется, что в Берлине его поймут лучше. И он едет в Берлин разговаривать на ту же тему с министром Ратенау. Да, этот человек все понимает, и деньги есть у него, руководителя имперского министерства хозяйства, и, что еще важнее, председателя правления Всеобщей компании электричества, знаменитой АЭГ. Ратенау говорит: «Побежденные на поприще военном, мы будем продолжать сражение в области экономической. Германия будет строить дороги, по которым пойдут самые быстрые в Европе поезда и автомобили; Германия будет строить самые лучшие машины для себя и для своих соседей. Германия поставит у себя самое лучшее сельское хозяйство и обеспечит себя сама, вот увидите, всем необходимым. Конечно, reparations тяжелы, но, нет худа без добра, reparations платежи осуществляются за счет товаров, вывозимых за границу, и Германия с перазительной быстрой восстанавливает свой вывоз. К тому же после 9 ноября мы как никак перестали платить всем этим коронованным бездельникам Гогенцоллернам, Виттельсбахам, Брауншвейгским, Саксен-Кобург-Гота и прочая и прочая, также их прихлебателям в придворных и военных мундирах. Они съедали, чего доброго, не меньше, чем стоят reparations».

Инженеру Тодту становится не по себе. Этот еврей-министр называет кайзера бездельником, — наглец! Правда, как будто он дело говорит: для реванша нужна экономическая основа, а баварское кулачье этого не понимает. Но Ратенау слишком умничает, добром это не кончится. И Тодт берет от министра техническое поручение: разработать доклад о скоростном строительстве шоссейных дорог в горных областях.

Тодт возвращается в Мюнхен и узнает из газет о гибели Ратенау. Министр-еврей, столь неосторожно высказавшийся насчет бездельников в коронах и мундирах, убит неизвестным. Усердно поговаривают, что

убийцы находятся в Мюнхене и рены в полной безнаказанности.

Тодт на всякий случай осторожно помалкивает, от кого именно и чии он свое поручение. К тому из министерства приходит подписание: его предварительный доклад получен и признан вполне удачным. Пусть господин Ратенау Тодт разработает теперь вопрос об организации привлечения рабочей силы к строительству горных дорог. И под письмом стоит подпись нового статс-секретаря — чисто мецкая подпись знакомым готическим шрифтом, а не теми латинскими квадрами, которыми писал убитый министр-космополит. Так должно случиться. Фриц Тодт не уляется слушаю с Вальтером Ратенау.

Вскоре, в той самой пивной, десять лет перед тем зеленым юном Тодт пил с другими корпоративами, он знакомится с небольшой шумной компанией. Во главе компании странный, несколько уравновешенный, субъект с маленькими черными усиками и маниакально устремленными в одну сторону глазами. Этот субъект, его зовут Адольф Гитлер, часто ораторствует, ударяя по мраморному столику сивной кружкой, которую не в силах разбить даже мюнхенский пойл из пивной: «Раньше голова разлеталась на части от пивных паров, разбояется от удара по столу из моих добрых глиняных кружек», говорил хозяин. Адольф Гитлер знакомится с Тодтом, которого ему комендуют хозяин пивной, как постоянного посетителя в течение десятка лет; Гитлер расспрашивает Тодта о военной службе, о взглядах на вещи, рассказывает женеру о том, что за них Гитлер стоит группа, партия. Он дает ему пять, что это не только забудь на все готовые ребята, которых Тодт видит здесь, нет, его. Гитлера, держиваются и вполне порядочные люди, на деньги которых он может себе кое-что позволить. Он просит инженера зайти к нему потолковать.

Наедине Гитлер не кричит, пивной; он любезен и даже чарив. «В нашем движении наше место и для вас, коллега Тодт», говорит он. — Вы нам нужны. Могу

рители, господин барон Крупп
и Болен и генерал Эрих Люден-
дорф, настаивают, чтобы я подобрал
людей посолиднее. Мы будем вас до-
броры до времени держать в тени,
и коллега Тодт, но вы можете быть
уверены, что ваша карьера будет
ти как по маслу, само собой разу-
чается, если вы примените к нам.
там настанет и ваше время выйти
авансцену. Мы будем рассматривать
вас, как бомбу замедленного
действия.

Тридцатидвухлетний инженер
Фриц Тодт слушает внимательно.
этот субъект упомянул имя Круппа
фон Болена. Оно говорит само за
себя. Круппу принадлежат гигант-
ские заводы в Эссене; он — влиятельнейший из германских промыш-
ленников, перековавший под надзором
союзнической комиссии мечи на
плуги, но, наверное, сохранивший
все возможности для производства
средств вооружения в будущем.

Тодт продолжает слушать странного
субъекта с черными усиками.
«Нам нужно, — говорит Гитлер, — чтобы
вы работали над заданной вам в
министерстве темой — о рабочей си-
ле. Жаждет, он хорошо осведомлен,
елькнуло в голове у Тодта). Хоро-
шо будет, если вы будете давать
ам копии ваших докладов для ми-
нистерства. Если они даже узнают,
чи закроют глаза. У нас там есть
вон люди. Нас интересует вопрос о
введении трудовой дорожной повин-
ности. Как вы строили бы дороги,
если бы обладали даровым трудом,
также, трудом сотни тысяч рабов». —
«О, если бы!» — невольно вырвалось
у Тодта.

«Я рад, что вас не пугают слова, —
говорит Гитлер. — Разве я не имею
права затратить миллионы жизней
на войне и в труде для того, чтобы
обеспечить Германию мировое гос-
подство, для того, чтобы я и мои
покровители, да и способные люди
вас, нашли свое настоящее
в качестве руководителей, в
качестве хозяев жизни. А народ —
то стадо. Ему нужен бич».

Тодт не возражает. Субъект с чер-
ными усиками, пожалуй, не обладает
ругозором Вальтера Ратенау, не он
лучше подходит для немцев и зна-
ет, чего хочет. И Тодт соглашается
править свои доклады не только

в министерство, но и, по указанию
Гитлера, его ближайшему помощни-
ку, красивому молодцу с дерзкими
глазами и неслышней кошачьей по-
ходкой — Рудольфу Гессу.

4

Однако в 1923 г. Тодт едва не по-
кидает движение, к которому только
что присоединил. Его смущает неудача
гитлеровского путча, арест и тюрем-
ное заключение «фюрера». Тодт, по-
добно многим другим негласным
членам новой политической партии,
не принимает непосредственного уча-
стия в выступлении, и его никто не
привлекает к суду. Но, спустя всего
два месяца после путча, Тодт полу-
чает напоминание о присылке оче-
редного материала; корреспондент,
неизвестный Тодту, ссылается на
полномочия от завсегдатая знакомой
ему пивной. И Тодт на всякий слу-
чай остается негласным сотрудни-
ком в движении. К тому же Тодта
привлекает одна сторона гитлеров-
ского движения, без которой ему,
получившему определенное воспита-
ние, жизнь не в жизнь.

Почти всю свою жизнь,плоть до
демобилизации, Тодт помнит себя в
мундире или в форме. Вначале это
был мундирчик реалиста. Затем —
форма военноопределяющегося ар-
тиллерийского дивизиона. Затем
Тодт сменил военную форму на сту-
денческий мундир и шапочку корпо-
ранта. Когда пришла война, Фриц
Тодт вновь облачился в военную
форму и снял ее по необходимости
после поражения и демобилизации.
В условиях республики дипломанты
носили уже студенческой формы,
а с окончанием высшего учебного
заведения, став человеком свободной
профессии, инженер Тодт одел бур-
жуазную визитку, которая давила
его, мешала ему и которую он с во-
сторгом сменил бы на что-нибудь
форменное, что делало бы его чле-
ном корпорации, группы, отряда.

Гитлеровцы носили коричневые
рубашки. И Тодт, негласный член
организации, заказал, однако, себе
парочку коричневых рубах и
приобрел коричневого цвета костюмы,
шляпы, галстуки, ботинки.

Прошло несолько лет в работе
для министерства. Тодта стали при-

влекать, по рекомендации влиятельных и, как он, начальственных членов в муниципальных дорожных подрядах в Брауншвейге, где гитлеровцы ранее всего приобщились к правительствуенному аппарату, а затем в Баварии. Посмеиваясь, руководитель одного из баварских округов сообщил, что дорога строится на американские деньги, полученные в виде займа. «А между тем, дорога, как это вам, конечно, хорошо известно, коллега Тодт, имеет немалое военное значение, ибо соединяет наши химические заводы, занятые производством жидкого топлива, с городами на западной границе, где предполагается в будущем сосредоточить войска. Но об этом извещать господ японии мы не будем», — усмехнулся муниципальный советник.

«Хочешь победы, готовь дороги», — вспомнил свои собственные слова на защите дипломной работы Тодт. Он был молод тогда и не знал еще, что война должна подготовляться втайне.

В 1931 г. Гитлер вызвал Тодта для беседы. «Наступило время, когда вы можете перестать скрываться в тени. Наша партия является теперь одной из наиболее многочисленных. Я назначаю вас, коллега Тодт, начальником отряда (Scharführer) и поручаю вам официально технический отдел «Коричневого дома» — нашего штаба в Берлине. Да, кстати, вам надлежит представиться этим господам, моим доверителям. Кое-кто из них уже знает вас по вашим докладам. Вам обеспечен хороший прием. Но вы должны произвести наилучшее впечатление. От этого зависит ваша судьба».

Тодт уже раньше слышал о «Клубе господ», влиятельной, очень ограниченной по числу членов организации, в которую входили виднейшие аристократы, крупнейшие промышленники, высшие военные, дипломаты, банкиры. Теперь Фриц Тодт был приглашен сделать в «Клубе господ» сообщение на тему: «Скоростные методы строительства автострад в их значении для хозяйства послевоенной Германии». Предстояло выдержать серьезный экзамен, показать себя человеком дела, организатором и реалистом.

Аудитория была очень небольшой — всего человек пятьнадцать.

Председатель клуба, господин Ф. фон Папен, представил это собравшимся, сказав: «Я надеюсь, что лодин доктор-инженер не станет ременять нас техническими лягами. Когда я руководил деятельностью господина фон Ринтлена в организации в Соединенных Штатах Америки, господин фон Ринт никогда не обременял меня техническими подробностями, а просил лишь одного: денег».

Слушатели рассмеялись. Ф. Тодт вспомнил, что Папен и Ринтлей организовали в Соединенных Штатах Америки целую серию экспериментальных актов по разрушению американских военных заводов, уничтожению кораблей, ставивших с грузом и пассажирами из Америки в страны Антанты. На мгновен у Тодта мелькнула мысль, что и будто его задача и задача Ринтлена различны: Ринтлен разрушал, Тодт, собирается строить, нет, ведь скоростное строительство автострад в Германии рассчитано прежде всего на то, чтобы позволить Германии в будущем быстро перебросить войска к границе, молниеносно ударить по врагу, разрушить центры его сопротивления и уничтожить господство Германии. Господин председатель правильно нанес основную идею доклада. Не на технических деталях; этим можно заняться в тиши лабораторий.

И Тодт приступил к докладу. Вычленение положенных ему тридцати минут Тодт ограничился двумя основными мыслями, которые пытались утвердить в сознании слушателей. Во-первых, скоростное строительство дорог является важнейшим условием для переброски больших военных масс в назначенные пункты их концентрации. Во-вторых, скоростное строительство дорог предполагает создание промышленных предприятий, готовых обслуживать дороги на необходимым материалом, машинами, автомобилями (средствами транспорта вообще). Исходя из первого суждения, расходы на строительство дорог должно принять на себя государство. Исходя из второго, выгод от строительства дорог получат частные промышленники, которым обеспечены доходы не только непосредственно от подрядов, но и косвенно от того производства, которое буде-

следствием развертываемого по намеченному плану дорожного строительства.

Доклад произвел хорошее впечатление. Один из слушателей, пожилой банкир с сигарой в зубах, осведомился о рабочей силе, и Тодт изложил, подбирая не столь резкие, но вполне ясные выражения, известные мысли Гитлера на тему о трудовой повинности. К удовольствию Тодта газдались аплодисменты. «Вы сделали удачный доклад, молодой человек, — обратился к сорокалетнему Фрицу Тодту банкир. — Вы покорили тощёльки, — вам остается теперь покорять сердца», — по-немецки увесисто, сострил банкир и повел Тодта в дамскую гостиную, где фешенебельное дамское общество ожидало имевшего успех докладчика-гостя.

5

В «Третьей империи» дела инженера Фрица Тодта сложились великолепно. В 1934 г. он был назначен обер-инспектором дорожного строительства всей Германии. В 1935 г. он был поставлен во главе технического отдела гитлеровской партии. В 1936 г. Тодту было поручено заняться вопросом о строительстве укреплений на западе Германии, и в этой связи создана организация технических работ, которая впоследствии получила наименование «организации Тодта».

342 тысячи человек работали днем и ночью над строительством дорог и укреплений в организации Тодта. 342 тысячи человек в куртках и брюках темнооливкового цвета с изображением свастики на рукаве по команде являлись на работу, исполняя по команде возложенные на них задания, по команде принимали пищу, маршировали, молились, пели, плясали и просыпались. И каждый из этих 342 тысяч человек в куртках и оливкового цвета был обязан к условиям подчинением обер-инспектору Тодту и верностию фюреру. Конечно, ведь и остальные немцы боязны были верностию фюреру; но 342 тысячи человек из них отвечал Фриц Тодт.

Случалось, среди тысяч людей в оливковых куртках встречались недовольные. О, их умели унять: им давали тяжелый урок, наказывали.

Было известно, что из организации Тодта есть только два выхода — смерть или концлагерь. Более дальновидные предпочитали смерть.

По западной границе Германии выстроены были укрепления. Их называли линией Зигфрида, в честь героя саги о Нibelунгах, любимого произведения Гитлера. Иногда укрепления называли также «Западной стеной» — «Westwall». Строили укрепления на скорую руку, без отдыха, днем и ночью. Инспектировать «Западную стену» приезжал Герман Геринг. 21 августа 1939 г. Геринг, выступая в Кельне, сказал: «В строительстве «Западной стены» применены все достижения новейшей техники. Я ручаюсь вам, что города Германии никогда не подвергнутся нападению с суши или с воздуха. Нет такой силы на земле, которая могла бы противостоять германской технике, германской авиации и германскому организационному гению». Тодт стоял около трибуны, с которой говорил Геринг. Смешанные чувства владели им. Тодт знал, что «Западная стена» строилась не слишком долго, знал, что многого за этот короткий промежуток времени сделать нельзя было, и знал, что обошлась эта линия укреплений очень и очень не дешево. «Пуши вместо масла» («Kanonen statt Butter»), как говорил тот же Геринг, отнимая изо рта у трудящихся кусок, чтобы заплатить за поставленные крупными промышленниками для строительства укреплений материалы.

Он высказал свои сомнения Герингу. Геринг, тучный, увешанный многочисленными орденами, рассмеялся, и складки жира образовались на его лице. «Вы прекрасный техник, коллега Тодт, но еще начинающий политик. Без того, чтобы прихвастинуть, прилгнуть, ни одна речь не говорится. А, впрочем, — и лицо Геринга помрачнело и стало серьеозным, — если дело дойдет уже до преодоления линии Зигфрида, то нам будет крышка, и тогда все равно, что бы я ни говорил. Тогда мы с вами будем «вместе пойманы, вместе повешены», — так ведь говорит старая пословица? Но теперь очень важно, чтобы национальным противникам, да и нашим собственным верноподданным, «Западная стена» казалась неодолимой. Это

испугает соседей и укрепит первы у нас дома. Моя речь — тот же донинг». И улыбка вновь появилась на бальном лице Геринга.

Не раз вспоминал Фриц Тодт эти слова Германа Геринга. Он вспоминал их тогда, когда немецко-фашистские войска ринулись в Польшу, а союзники Польши стояли, как зачарованные, перед «Западной стеной» и не делали даже ни одной попытки прощупать пояс германских укреплений. Слова Геринга пришли Тодту на ум вновь, когда весной 1940 г. были покорены Голландия, Бельгия, Франция. Назначенный в 1939 г. по совместительству с должностью обер-инспектора дорожного строительства также министром военного снаряжения, Фриц Тодт поехал в оккупированную Францию познакомиться со строительством линии Мажино. Он постукивал пальцем по стенам глубоких казематов укреплений, сооруженных французами военными инженерами на линии Мажино, и думал о том, что предательство позволило преодолеть эти укрепления в очень короткий срок, а, между тем, они были не хуже, а лучше, может быть, немецких укреплений.

Когда Гитлер вороломно напал на СССР, Тодт был официально назначен генералом. Он возглавлял теперь инженерную службу германской армии на советско-германском фронте. Геббельсовская печать писала: «Организация Тодта будет следовать за армией, прокладывать дороги, по которым пойдут обозы со снабжением войск и, в обратную сторону, грузы, предназначенные для Германии — хлеб, скот, трофеи из плодородной России. А если суждено по соображениям военно-стратегического характера временно приостановить наступление на том или ином участке громадного фронта, тянувшегося от Баренцева до Черного моря, организация Тодта построит укрепления, непрступные для варваров Востока».

Организация Тодта официально выросла до одного миллиона человек — военных и штатских. В районах, временно захваченных у СССР, люди из организации Тодта сгоняли местное население, стариков, женщин, подростков. Не было средств, да и не было необходимости одевать их в темнооливковую форму организации. Им давали знак — деревянную

бирку с обозначением деревни и рядковым номером. Человек терял свое имя, приобретал бирку и портфельный номер раба; его дело было строить для германской армии дороги и укрепления. Русские погибли на работах сотнями; на их мес немцы стояли новых, устраивая облавы, карательные экспедиции.

Молниеносная война на Востоке не удалась. На организацию Тодта было возложено строительство укреплений и дорог в большем масштабе, чем первоначально предполагало Организация натолкнулась на неожиданные препятствия. Русские в войну не по тем правилам, которые изобрели для себя немцы. Земля рела у немцев под ногами, и партизаны разрушали немецкие коммуникации в тылу. Среди насилий, совершенных на строительство людей,казалось бы, достаточно напуганным зверским обращением со стороны немцев, партизаны встречали поддержку.

Зимой, когда немецкие солдаты зарылись в землю, выстроили траншеи с глубокими ходами и дзоты, оборудованные по последнему слову немецкой техники, русские стали оттуда выбывать. В январе 1942 г. Тодт совершил поездку по линии восточно-германского фронта. Ему ставили протокол допроса нескольких военнопленных. На вопрос немецкого офицера русский лейтенант, захваченный в плен раненым, ответил фразой, которую Тодт перечел тетради.

Русского лейтенанта спросили: «Как можете вы надеяться взять бою немецкие укрепления, построенные по последнему слову техники? Русский ответил: «Не так страшна крепость, как ее малютят. Нет таких крепостей, которых не могли взять большевики».

«Нет таких крепостей, которых могли бы взять большевики». Тодт сообщили, что большевики овладели рядом хорошо укрепленных пунктов на Западном фронте и продолжают наступать. А что, если действително «нет таких крепостей, которых могли бы взять большевики»?

Тодт пришел к выводу, что должен поставить о своих сомнениях в известность фюрера.

5 февраля 1942 г. Фриц Тодт, генерал германской армии, министр

нного снаряжения и обер-инспектор по дорожному строительству «Третьей империи», делал доклад на собрании высших функционеров национал-социалистской партии в Берлине в присутствии Гитлера и Гиммлера. Он коснулся налетов английской авиации на города Рурской области, осторожно напомнив о речи Геринга в августе 1939 г. Он рассказал о «бешеном» контратакующем Красной Армии на западном участке советско-германского фронта, об оставлении немцами Калинина. Он затронул вопрос о борьбе партизан против коммуникаций германской армии. И, в самом конце, как передавали потом, он привел слова русского лейтенанта.

Наступило стеснительное молчание. Против ожидания Тодта, никто не задал ни одного вопроса. Лишь Гиммлер, косо поглядывая на докладчика, наклонился к Гитлеру и прошептал ему на ухо несколько слов. Шведский журналист, сообщивший об этом заседании ряд подробностей, которые могли тогда показаться досужим вымыслом, но полностью подтверждились позднее, отмечает, что германский посол в Турции, многоопытный фон Папен, вызванный фюрером в Берлин и присутствовавший на заседании, как бы случайно рассказал вполголоса своему соседу, как в старой Турции султан посыпал провинившемуся визирю шелковый шнурок.

— Ну, в наш век прогресса можно найти другие не менее остроумные средства.— заметил собеседник.

8 февраля 1942 г. официальное сообщение германского правитель-

ства известило мир, что генерал Фриц Тодт, министр военного снаряжения, обер-инспектор по дорожному строительству, погиб в авиационной катастрофе. Подробностей сообщено не было, но в иностранной печати с уверенностью утверждали, что Гитлер велел убить Тодта по за неудачную фразу в докладе, а за высказанные им решительные сомнения в победе Германии и в руководстве фюрера.

12 февраля 1942 г. в помещении имперской канцелярии состоялась торжественная панихида по погибшему. Рейхсканцлер и фюрер Адольф Гитлер произнес приличествующую случаю речь, в которой возводил должное заслугам покойного, обрисовал его жизненный путь и участие в борьбе, которую ведет Германия за господство над миром. У тела Тодта был выставлен почетный караул из виднейших чинов гестапо. Гиммлер получил специальное поручение фюрера сообщить фрау Тодт, что ей и ее детям назначена пенсия.

Газета «Нью-Йорк Таймс» 10 февраля писала: «Гибель Фрица Тодта стоит потери десятка германских дивизионных генералов. Целом жизни покойного было строительство линии Зигфрида. Будущее покажет, в какой мере эта линия окажется устойчивой перед лицом наступления, проводимого со всей силой и энергией. Боевой опыт храбрых русских показывает, что нет таких немецких укреплений, которые были бы неодолимы».

Сентябрь, 1942

Р. Миллер-Будницкая

КНИГИ ИЗГНЯННИКОВ

Это книги европейских писателей — французов, голландцев, венгерцев, написанные в изгнании. Почти все они изданы в Англии и Америке. Они — живая история второй мировой войны. Замыслы книг, их первые наброски родились в окопах, в полевом госпитале, в тюремной камере, в лагере военнопленных.

Имена авторов занесены в проклятийные списки, их преследуют во всех странах агенты гестапо. Они разлучены с семьями; их близкие остались заложниками в руках фашистов. Дома разорены, имущество разграблено, рукоюси уничтожены.

К нам эти книги пришли далекими круглыми путями. Они прозвучали словом боевого братства, вестью о том, что в порабощенной Европе все ярче разгорается пламя борьбы против фашизма.

О некоторых из этих книг мы расскажем здесь.

История Ганса Габе — история одного из многих беглецов Европы.

Ганс Габе — эмигрант-журналист, венгерец. С начала второй мировой войны Габе, находившийся тогда в нейтральной Швейцарии, вступил добровольцем в ряды французской армии. Он был зачислен в Двадцать первый полк иностранных волонтеров. После поражения Франции и отступления армии Габе вместе с остатками своей разбитой части попал в окружение. Ему угрожал расстрел на месте: немцы не брали в

плен иностранных волонтеров. В следний момент удалось получить товарища-француза новый опознательный жетон. Долгое время Габе томился в концлагере под чужим именем. Там он узнал муки голода и вспышки эпидемии, издаваемства. Неотвязным коммарам приводила угроза разоблачения. Ни крушения многих замыслов по нему удалось бежать, и с помоему французских патриотов он перешел в неоккупированную зону гестапо, заочно приговорившую к смертной казни, преследовало, и ему удалось перейти испанскую границу и на пароходе отплыть в Америку. Видные американские общественные деятели помогли получить разрешение на выезд в США. Там и вышла его книга «Тысячи падут»¹.

Вместе со своим полком Габе шел весь путь отступления французской армии. Он видел безлюдные деревни; покинутые, рушенные города; дороги, забеженцами, отступающими войска, усеянные брошенным оружием, снаряжением. Ему суждено было стать очевидцем преступления, совершенного над великой нацией. Он написал свою книгу, чтобы содействовать и требовать суда над преступниками.

Чем была для французского народа вторая мировая война? — спрашивает Габе. И ответ его таков:

¹ «Тысячи падут» Габе напечатан в журнале «Интернациональная литература» №№ 6 и 7 за 1942 г.

а не только франко-германская война, но и борьба Франции против Франции, — Франции патриотов против Франции предателей и изменников.

Перед нами раскрывается весь цартизм французского солдата, этого Жака Простака, человека из народа, облаченного в национальный кундир и посланного на смерть и плен, худший, чем самая смерть. Его повели, как скот, на бойню. Его бросили в бой необученного. Ему дали устаревшее, негодное оружие. Его лишили транспорта, нагрузили, как вьючное животное. Усталостью, холодом, холодом терзали его тело, и самый дух пытались сломить страхом страха. Его морально разоружали, запугивая призраком врага, сбивая с толку, вытаскивая чувство обреченности и бессилия, чтоб, связанным по рукам и ногам, бросить на милость победителя. Так поступали с французским солдатом правительство и верховное командование Франции. Они сделали все, чтоб обратить свои войска в армию поражающих.

И Габе рисует нам лицо этой армии. «Через деревушку Мортом (мертвый человек) шли мертвцы будущего». Лица покрылись свинцовой бледностью. Стерты, опухшие ноги сочились кровью сквозь носки и башмаки. Солдаты отчаянно цепляются за старые, изношенные грузовики и волочатся за ними по земле, вались с ног и засыпают под дождем в лужах ледяной воды. Это армия бродяг, участников голодного похода. Разве такая армия может сражаться и побеждать?

Так разыгралась двойная трагедия французского солдата: перед лицом врага, с которым ему не дают сражаться, и перед лицом народа, который ему не позволяют защищать.

Одна из самых драматических сцен этой трагедии разыгралась в маленьком городке Сент-Менегульда.

В этом городе шли уличные бои. Бойцы защищали каждую площадь, улицу, дом. Немцы двигались сплошным потоком танков, бронированных машин, мотоциклов. Самолеты бомбили город с воздуха. Но Французы вышли против танков с ручными гранатами. Наскоро были построены противотанковые заграждения. На крыших домов были уста-

новлены пулеметы. Солдаты, поставив пулеметы за трупы погибших товарищей, обстреливали врага со всех сторон.

Но героические защитники Сент-Менегульда заранее были обречены. Французское командование оставило нетронутым северный мост, открывавший неприятелю вход в город, и взорвало южный — единственный путь отступления французов. Кто не смог переплыть канал, — остался в плену. В городе была устроена кровавая резня. Французские солдаты истекали кровью, по их живому телу прошли тяжелые гусеницы, они были раздавлены немецкими танками и броневиками. Так было задумано и совершено преступление в Сент-Менегульде.

И так было повсюду. «Островки сопротивления» смыкались общей волной капитулянтства. Героические части истреблялись, их командиров спасали с постов.

Но дух сопротивления был только парализован, а не укручен до конца. Можно было заставить отступить армию, но французский народ не отступил. Для этого надо было бы «оторвать французов от Франции».

Вторая часть книги «Записки из концлагеря» — история пленца и побега Ганса Габе. Она раскрывает лицо немца — хозяина порабощенной Франции, носителя «нового порядка».

Немцы унижают французов как нацию, пытаются сломить их дух рабством и террором, вытравить чувство национальной чести и гордости, заставить забыть славные страницы прошлого. Они забираются в дома французов, заставляют своих собак спать на постели хозяек. Они врываются в магазины и лавки, устраивая бесприютные драки из-за куска шелка, из-за ящика шоколада. Они рассматривают женщин Франции, как свою добычу.

Издаваясь над покоренными народами, немцы прививают им яд национальной и расовой ненависти. Так, они изолируют пленных непров-марокканцев, словно прокаженных или зачумленных. Они превращают эту часть концлагеря в обезьяник, куда бегают не только немцы, но и французы позабавиться над негром за решеткой. Они лишают негров мыла, потому что те «все

равно черные», и превращают лагерь в очаг заразы.

Рассказ о побеге Ганса Габе — одна из страниц ежедневной и ежечасной подпольной борьбы. На каждом шагу беглец встречает руку друга. Незнакомая компания студенческой молодежи в ресторане, которой Габе доверяется в момент безысходности, дает ему направление, имени и адреса и провожает на вокзал. Старик фермер, ветеран первой мировой войны, кавалер Почетного легиона, вместе с сыновьями переправляет его через границу. Но ту сторону рыбачка принимает ого, кормит и одевает с ног до головы: он — тридцатый, кому она спасает жизнь, делится последним — хлебом и птатьем. Никакие репрессии, штрафы, высылки, аресты не в силах остановить это общенародное движение.

В эти страшные годы Ганс Габе узнал многое. Он увидел своими глазами позор и падение Франции; разбойничье хозяинчанье гитлеровцев; начало борьбы французского народа против поработителей. Он приобрел большой политический и боевой опыт, он прошел школу войны, тюрьмы и подполья, которая закалила его дух и подготовила к грядущим боям.

Этой Франции патриотов, Сражавшейся Франции де Голля, посвящает свою книгу волонтер и подпольщик, рядовой великой армии «незримых людей Европы», Ганс Габе. Он кончает ее словами:

«Я возлагаю все свои надежды на тех, кто несет вперед знамя, выпавшее из наших рук».

* * *

Дэвид Корнелль де Ионг вырос в эмиграции. Он происходит из семьи голландских эмигрантов в Америке, некогда старинного купеческого рода. Но Голландия, страна детства и ранней юности, оставалась для него далекой и прекрасной родиной. Она вдохновляла все его творчество. Он знал и любил ее историю, искусство, культуру, образы ее поэтической старины. Он писал на чужом языке, но голландский язык был для него материнским. Он рос голландским патриотом.

Весть о вторжении Гитлера в Голландию потрясла его. По ту сторону океана он услышал зов обще-

щенной родины. И он откликнулся на этот зов. Он написал книгу «Судный день».

Сам де Ионг так рассказывает зарождении замысла этой книги.

Ему вспомнилась картина недавнего прошлого. Он вновь увидел себя вместе с группой друзей, родных и близких на восточной границе Голландии, летом 1939 года. Там где, раньше, согласно вековой традиции, не было заграждений и растягивались открытые зеленые лужайки, теперь тянулась колючая проволока в восемь метров высотой. Они стояли у пограничного столба, угрожающе повернутого в сторону Голландии черной свастикой и именем «Deutschland». На стороне же обращенной к Германии, было нацарапано голландцами старинное национальное изречение «Пусть дружба восстановит то, что разделила границы». Дружбой и человечностью заклиниала Голландия агрессора, у своих границ.

Эта группа у пограничного столба с призывом к дружбе теперь представилась де Ионгу символом голландского народа, доброго и мужественного, но обманутого и преданного, символом человечества в лице его лучших представителей, людей мысли и труда, павших жертвой чудовищной агрессии. И он, который раньше ненавидел нацизм разумом, сейчас возненавидел его сердцем и кровью.

С любовью и теплотой де Ионг рисует картины Голландии захваченной второй мировой войны. Перед нами встают пейзажи страны труда и мира, зеленющие пастбища, колоссящие нивы, маленькие опрятные фермы, ветряные мельницы на краю проселочных дорог, рыбачьи хижины на дюнах, лодки, выезжавшие на рассвете в хмурое северное море, древние ветхие дома у тесных каналов, старые корабли, стоявшие на якорях в заброшенной гавани...

Но в этой цветущей миротворческой стране тайно работала нацистская «пятая колесница», подготавливая нападение Германии. И в книге де Ионга показано, как шпионы под видом «туристов» наиводили города и окрестности, занимаясь диверсиями и террористическими актами, как немецкие самолеты, нарушая границы

ку, следили за строительством укреплений.

И вот враг, зерломно нарушив все договоры и гарантии, вторгся в пределы страны. Завыли сирены, бомбовозы закружились над городами, танки ползли по дорогам, вражеские десанты стали высаживаться на голландской земле. Диверсанты сигнализировали немецким летчикам во время воздушных бомбардировок, сообщали врагу секретные сведения, помешали открыть все шлюзы. И во мгновение ока Голландия была брошена в адский котел «многолетней войны».

Но маленький народ, веками мирной жизнью отученный от войны, перед лицом великого бедствия окончил попытку сопротивления. Голландцы успели взорвать некоторые плотины и затопили поля и луга, приводившие к морю столетиями труда. Они угоняли скот, уничтожали скелет на корню, чтобы ничего не досталось врагу. Они разрушали мосты и железные дороги на путях своего отступления. Но было уже поздно. Медлительность стала смертью на ходу. Слишком неравны оказались силы. Все было тщетно, и по радио было сообщено о прекращении военных действий. В несколько дней разыгралась трагедия голландского народа, и свободная Голландия престала существовать.

Глубокой скорбью дышат те страницы книги де Йонга, где описываются попытки сопротивления голландской армии, массовая эвакуация, бегство жителей из городов и деревень, ужас и негодование населения.

Молодая женщина Мэргрит ищет мужа среди развалин пылающего Роттердама. Словно лунатик, она бродит по лабиринту улиц, под распыленным каменным дождем, падающим с черного неба... Она пробирается ползком в узких переходах между качающимися многоэтажными зданиями, бежит вперед, спотыкается и падает в огромные воронки от хлама. Она ищет мужа в дыму и плачущих пожаров, среди раненых и борщевцев, среди беженцев с лицами цвета сажи и крови... Толпа увлекает ее к разрушенному вокзалу, где бежит по путям, усеянным разбитыми составами. И уже полумертвую от страха и отчаяния ее вталки-

вают в набитую людьми теплушку, и поезд мчится на север, прочь из этого царства ужасов...

Семья фермера Мэнте, спасаясь от вторжения, покидает дом и землю. Отец семейства, больной, борясь со смертью, лежит на дне крытой повозки. Еле шевеля запекшимися губами, Мэнте спрашивает: «Открыты ли шлюзы?» И, получив утвердительный ответ, едва в силах произнеся: «Поздно, слишком поздно...» Мэнте просит приподнять ему голову, чтоб в последний раз проститься с родной землей. Потрясенный гневом и болью, умирающий чувствует, как по щекам его катятся слезы бессильной ярости. Он стыдится их, но все плачут вокруг, и, скованный болезнью, он не в силах поднять руки, чтоб стереть эти слезы...

Де Йонг рассказывает, как в мирном народе пробуждается великая ненависть. Священники отказываются венчать, хоронить и крестить детей у людей, продающихся немцам. Горожане укрупняют английских пилотов на глазах у немецких воздушных патрулей. Фермеры и рыбаки истребляют немецких солдат и чиновников, подстерегая их ночью в пустынном месте, обрушивая на них сверху огромные камни.

Никогда не подчинится голландский народ фашистским угнетателям — как бы говорят нам юнги де Йонга. Недаром некогда маленькие Нидерланды восстали против мировой державы — Испании, и в конце концов победил дух патриотизма и свободолюбия.

«Судный день» назвал де Йонг свою книгу. Но мы знаем, что и для Германии придет ее день Отважного суда, и над делом победы и возмездия трудятся все те же «незримые люди Европы», подпольщики Голландии.

Настоящее имя Андре Симона¹ стояло третьим в списке гестапо, найденном швейцарскими властями у немецкого агента Веземана, похищенного в Базеле немецкого эмигранта-журналиста Бертольда Якоба. Гестапо охотилось за Симоном по всем странам Европы.

¹ Симон — псевдоним.

Андре Симона называют рыцарем документа, фанатиком факта, детективом антифашистского подполья. Отовсюду, по всем каналам подпольных организаций к нему стекаются материалы. Его помощники и агенты похищают документы из секретных архивов и из сейфов частных лиц. Переодетые шоферами и лакеями, они поступают в услужение к любовникам нацистских дипломатов и сановников. Они постоянно переходят границу, перевозя материалы в виде миниатюрных фотокопий или мелко исписанных на машинке шелковых лент, обмотанных вокруг тела. Иногда они заучивают наизусть страницы и главы текста. Эти документы добываются с величайшим риском, в буквальном смысле слова, ценой крови.

Андре Симон — один из авторов и издателей прогремевшей на весь мир «Коричневой книги» о поджоге рейхстага в 1933 г.; «Белой книги» об инъекции резне 1934 года, вышедшей сразу на пятнадцати европейских языках; «Коричневой сети», изданной в 1935 г., о нацистском шпионаже в Старом и Новом Свете; «Голубой книги рейхсвера», вошедшей в состав «Белой книги», и многих других.

Во время лейпцигского процесса в 1933 г. Симон вместе с друзьями организовал контрпроцесс, «суд» из девяти адвокатов разных стран, разоблачивший кровавую комедию в Лейпциге и вынесший оправдательный приговор Димитрову. После подавления фашистского мятежа в Барселоне в 1937 г. Андре Симон с помощью народной милиции захватил нацистский штаб в отеле «Колон» и обнаружил около 40 000 секретных документов берлинской «Ауслаендс организации», среди которых были документы, свидетельствовавшие о подкупе испанского генерального штаба и военного министерства, о подготовке мятежа. После падения Парижа в 1940 г. Андре Симон выступил с памфлетом «Я обвиняю», раскрывающим сеть шпионажа и измены в государственной и военной машине Франции.

Последняя книга Андре Симона —

«Люди Европы»¹, в своей центральной части — портретная галерея нацистских вождей.

Она открывается рассказом о своем столкновении Симона с фашистом.

«В октябре 1922 г. я присутствовал на праздновании «дня Германии» в Кобурге, небольшом средневековом городе Южной Германии. Успел я выйти из вагона, как увидел первый труп: тело на носилках, вонзнувшись в него — несколько человек в мундирах, плачущая девушка. Это была моя первая встреча с нацизмом».

За этой встречей последовали другие. Шаг за шагом Андре Симон следил за темной карьерой фашистских вождей — Гитлера, Розенберга, Ляя, Дарре и других. Он беседовал с Ремом, Геббельсом, Франко, записывая эти беседы в своих дневниках. В архивах полиции, милицерств и штабов он разыскивал документы, свидетельствующие о уголовном прошлом и психической неизменяемости этих извергов. В прямой печати он уличил Гитлера в кражах, совершенных в Вене в 1912 г., и Муссолини — в получении субсидий от французского правительства во время первой мировой войны. Ему удалось документально установить морфию и припадок помешательства у Геринга, падшего у Муссолини. С юропотливостью следователя, с беспощадностью прокурора он составлял обвинительный акт против каждого из этих преступников.

Книга Андре Симона содержит новые, ранее неизвестные разоблачения нацизма. Так, в ней впервые полностью вскрываются все шершни борьбы Муссолини за его империю с французскому правительству субсидиях, хранившиеся в сейфе д'Орсэ. В руках французского правительства они служили по-редко то приманкой, то шагом, средством уклощения империалистических аппетитов Муссолини. В 1938 г., во время Лавалья и Муссолини, они были обещаны д'Орсэ. В 1938 г., во время франко-итальянской войны

¹ Книга Андре Симона «Люди Европы» частично опубликована в журнале «Интернациональная литература» №№ 7 и 8—9 за 1942 г.

ского спора за колонии, письма были накануне опубликования, но вмешательство Даладье спасло дело. И наконец в 1940 г. возврат этих писем был поставлен одним из уставов герцогии с правительством Франции. Дальнейшая судьба их неизвестна.

Яркий свет проливается Симоном на диверсионную деятельность бюро Риббентропа, центра зарубежного нацистского шпионажа. Так, в одной только Барселоне пять испанских генералов, в том числе командующий барселонским районом, генерал Годед, и ряд чиновников военного министерства состояли на жалованье немецкой разведки. Одинадцать крупных газет и свыше пятидесяти журналов содержались в гитлеровцами. Агентами гестапо было совершено более десяти тайных террористических актов над испанскими и немецкими антифашистами. Через ветровую электростанцию в Барселоне, служившую секретным передаточным пунктом, было направлено в Мадрид накануне маятника 38 000 винтовок, около 1 800 револьверов и громадное количество боеприпасов. Центром контрабандного ввоза оружия и нелегальной литературы было германское консульство.

Блестяще сделан Симоном также анализ «Майн кампф». Черносотенные речи Георга фон Шенкера, лидера австрийской «пангерманской» партии; приключенческие романы Карла Мая; художника германского империализма; лживая социальная драматогия Карла Люгера, мэра Вены и главы «Христианской социалистической партии» — таковы некоторые ~~члены~~ этой «библии нацизма».

Адом и желчью написаны портреты нацистов.

Фюрер. В кровавом тумане маятника над Европой искаженная яростью чаплинская маска диктатора. Бульварное лицо, низкий убегающий лоб, широкие скулы, приглажденный пробор, коротенькая торчащая щетка усов. Хриплый лающий голос выкидывает истерические речи. Что заставило выплыть из мрака вековых прущоб, из мира подонков этого завсегдатая noctilожек, бездарного художника-фальсификатора, отвергнутого и осмеянного, карикатурного герострата, этого ефрейтора, мелкого

шпиона мюнхенской разведки, неудачливого путчиста, ландсбергского узника? Ясно одно: ставленник крупного капитала, он поднят той волной необузданного шовинизма, которая охватила Германию после Версальского договора. «Адольф Гитлер, — замечает Симон, — это имя собирательное, псыевдоним крупного капитала, военных кругов и всех тех сил, которые ведут войну на стороне Германии».

Вот тот, кто несет ответственность за развалины Роттердама и Ковентри, за бомбы, сброшенные в европейских столицах, — это министр авиации и начальник воздушного флота Герман Геринг. Он наркомат, морфинист, в прошлом буйный помешанный, судом лишенный права отцовства. Его именем называется каждая глава в летописи преступлений фашизма. Он создатель гестапо и коричневого террора, инсенировщик поджога рейхстага, инициатор июльской резни и убийца Рема.

Здесь и фашистский «культуртрегер», верховный лжец и демагог, погромщик интеллигенции и поджигатель библиотек и музеев, доктор Иозеф Геббельс. И нацистский Торквемада в черной форме эсэсовца с черепом и костями на рукаве, обер-палач и супер-тюремщик в европейском масштабе, начальник гестапо, Генрих Гиммлер. И ученый жандарм, черносотенный философ, белогвардейский «гений», идеолог плахи и топора», Альфред Розенберг. И «посланник» Гитлера, «дипломат-парашютист», Рудольф Гесс. Гангстер и атап, завсегдатай кабаков и притонов, рецидивист с пятикратной судимостью, глава «Германского рабочего фронта», доктор Роберт Лей. Организатор голода в Европе, проводовольственный диктатор и главный рабовладелец, посадивший 100 миллионов на тюремный пакет, Рихард Вальтер Дирре; обер-шпион, глава «пятой колонны» фашизма во всем мире, министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп.

Талантливый публицист, неутомимый собиратель документов, беспощадный обличитель, — Андре Симон, как историк нацизма, все же оставляет в своей книге пробелы. Так, из поля его зрения выпали: расхождение среди правящей верхушки и обстоятельства, вызвавшие июльскую

резю 1934 года; влияние Версальского договора и последующего кризиса на сознание немецкой мелкой буржуазии; противоречия между генералитетом армии и нацистским руководством.

И все же книга Андре Симона — один из лучших антифашистских памфлетов в мировой литературе, написанный с swiftовской холодной иронией. Она рассказывает также и о той самоотверженной подрывной работе, которую ведут против фашизма лучшие люди интеллигенции. Она вспыхивает веру в будущее Европы, освобожденной от поработителей, и зовет к борьбе за это будущее.

* * *

В январе 1941 г. впервые появилась в Париже на стенах домов буква «V». Как известно, она означает «Victoire», «Победа» и «Vengeance», «Месть». Этому знаку суждено было войти в историю символом антифашистской борьбы в завоеванной нацистами Европе.

Прошло два года, и в конце 1942 г. в США публикуется «Книга V», «V—Book», документальный сборник, хроника и летопись борьбы за знак V.

Вот о чем рассказывает эта книга.

В городах Франции, на тротуарах и фасадах зданий, на окнах и дверях домов — всюду постриг буква V. Большие V разрисованы разноцветными красками, маленькие наспех начерчены мелом, чернилами, карандашом. Жандармы ходят и стирают их мокрыми тряпками, домовладельцы тщательно очищают их, но буквы появляются заново и вновь. Когда английское радио объявило воскресенье днем буквы V, в одном только Париже было арестовано свыше двух с половиной тысяч человек. В Муллене все стены покрылись знаками V; на город был наложен штраф в 40 000 франков.

Жизнерадостный дух французов, их любовь к изяществу и культу формы поэтизируют букву V: она становится символом весны, свободы, традиционным праздником освобожденного народа. В день 1 мая проходили продевают в шелтицы по две веточки ландыша, сложенные стебельками в виде V. Они вырезают этот знак на садовых скамейках, на стволах молодых деревьев. Цветоч-

ницы упрашивают корзины и тележки витрины киосков и магазинов бусами и гирляндами, сплетающимися в V. Садовники выращивают на клумбах цветочные узоры, образующие V, подстригают цветущие изгороди и кустарники в форме V.

В Лотарингии молодые люди приветствуют друг друга восклицаниями «Elf!», «Es lebe das Frankreich!». Одной из эмблем V здесь служит лотарингский крест. Некогда этот крест красовался на знамени Жака д'Арк; ныне он избран де Голлем, как символ французского патриотизма, как боевой знак Сражавшейся Франции.

Вся подпольная печать Франции и оккупированных стран проходит под знаком V. V горит на заголовках многочисленных нелегальных газет: «Valmy», «Vérité», «La voix du Peuple» и многих других. Знаком V отмечены листовки и прокламации, V сопровождает французского патриота на его крестном пути от тюрьмы и зала суда до эшафота. Стены тюремных камер, несмотря на избранность, испещрены буквами V.

Обетом меести, прознам предостережением врагу, огненными письменами «Мене Текел Фарес» — вспыхивает знак V. Когда в пустынных ночных закоулках полиция находит трупы убитых немецких чиновников и военных, — возле них на асфальте кровью написано V. На местах катастроф и железнодорожных крушений всюду виднеется V. Невзорвавшаяся бомба, снаряд, испорченный патрон — носят где-нибудь в уголке наспех выцарапанное V. После расстрелов и казней знак V появляется на стенах немецких казарм и штабов полицейских участков. Стереть его невозможно, он появляется вновь и вновь, как невозможно смыть кровь мучеников. Он бессмертен, как бессмертны свободолюбивые народы, их воля к борьбе и победе.

Кампания за знак V была одной из первых ступеней антифашистской борьбы в Европе. Здесь начал свое воплощение дух французского народа, его ирония и юкса к фронде, его жизнерадостное, искрящееся остроумие. И в то же время здесь выразился также глубокий оптимизм народа, его неумирающая вера в победу.

Но с тех пор антифашистское движение, и в самой Франции, и особенно в других странах Европы, развило и окрепло. В Югославии, Италии, Греции, на севере Норвегии вспыхивает настоящая парти-

занская война, где народ с оружием в руках восстает на своих по-работателей. Решающие битвы за свободу Европы еще впереди. А «Книга V» останется дорога нам, как память о первых днях этой борьбы.

В. Александров

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

Новые стихи Леонида Мартынова

Леонида Мартынова называют «краевым писателем», и это правильно. Он — «краевой», разумеется, не по значению своему, а в другом, более не ограничительном, хорошем и ценном смысле этого слова. И «края» его, конечно, не одна только Сибирь.

В одном из своих стихотворений¹ Мартынов вспоминает слова: дым отечества сладок. Есть под Москвой станция Кунцево; оттуда нужно обратиться к Татарову; там разыскать Серебряный Лог. У этого лога развести костер.

И глины горючей в огонь ты добавь,
И сладким ты дымом надышишься
въявь.
Горят эти комья. Ты понял? Горят!
Ярко горя, издают аромат.
У да! Никакого тут нет волшебства,
Просто, где плещет волною

Москва,

Где есть обнажения юрских слоев:
Ветов отпечатки, надкрылий жуков,
Рыбных чешуек, и игол сосны —
Все есть в этих глинах. И сладость
весны,
Осени горечь... Но где на земле
Запах цветов ощутил бы в золе
Фризшей земли! Где пылает она,
Даря ароматом пьянею вина!

¹ Леонид Мартынов. Мы приедем. Огиз. Омск, 1942, стр. 52.
1 р. 25 к.

Так местная черта, географическая подробность, приобретает большой человеческий смысл, а изречение о дыме отечества становится чувственной конкретностью, облекается плотью: этот дым и в самом деле можно вдыхать, и он действительно сладок.

Стихотворение показательное и характерное. Здесь — чувство местности и прошлого этой местности. Ведь не только у «края», у города или деревни — у всякого угла, хотя бы незаметного и ничем не знаменитого, — у лога, у родника, лощины, лесной заросли, — есть лицо, как у человека, есть своя восходящая к отдаленным временам биография. Отсюда, из этой биографии, возникает индивидуальность, вырастает то особенное, человеческое обаяние, которым охватывают нас эти уголки и заросли, полюбившиеся нам места; их влекущую силу, ощущение природных и культурно-исторических наследствий и наследствий писатель передает так, что и для читателя все это становится телесно, физически ощущимым.

Мы помним о всех народах, живших и трудившихся на нашей земле; мы узнаем родство, мы храним память о прежних культурах, об их связях и взаимных влияниях. Какое впечатление возникает у нас, когда, при стройке нового города,

под снятым грунтом обнаруживаются орудия и утварь неолитического человека; когда в Сибири находят скифские золотые украшения; где-нибудь на Урале — сассанидское серебро; около Камы — неведомо откуда взявшуюся металлическую пластинку с изображением медведя; под Пермью, ныне городом Мотовиловским, открывают — это было лет двадцать тому назад — деревянную скульптуру XVII—XVIII веков, замечательное искусство, сложившееся именно здесь, выросшее из земной почвы, в своих истоках связанное, может быть, с пережитками языческих культов, но с необыкновенным реализмом воспроизводящее облик земного человека; раскрашенная фигура заушаемого Христа в человеческий рост; поднятая правая рука закрывает лицо от удара — это же самого себя изобразил крепостной крестьянин-пермяк; это целая историческая эпоха. Каждый может вспомнить такую личную встречу с историей, такое нахождение и узнавание прошлого. Если не это, вы вспомните, может быть, белую, пыльную дорогу около Самарканда, высокие, сожженные солнцем тростники, и как подействовало на вас, когда вы узнали, что здесь проходил Александр Македонский!

Такие переживания были у всех. Среди тех поэтов, кто эти переживания выразил с особенной силой, хочется назвать, в частности, Хлебникова. Какой проникновенный исторический ландшафт создал он, изображая Волгу в «Хаджин-Тархане». Сколько здесь любви и понимания! Как в аллюзиях и сопоставлениях, порой неожиданных, может быть субъективных, открывается по-настоящему важное: связь с прошлым, взаимопроникновение культур, значение сродства и дружбы народов. И какая сосредоточенная ненависть к тем, кто не приемлет этой дружбы, кто враждебен труду и человеку!

Ты видишь город стройный,
белый.

И вид приволжского Кремля?
Там кровью полита земля...
Восток надел венок из зарев,
За честь свою восстала Русь...

Это — тот же Хлебников, который в «Ладомире» предсказывал:

И опять залграй, заря,
И зови за свободой полки,
Если снова железного кайзера
Люди выйдут железом реки.

У Мартынова хорошие стихи стране, которую элтины называют блаженной Гиппебореей, а арабы — землею Гога и Магога. Там живут в пещерах обдоры, менявшие меха и топоры. Эта страна — Лукоморье.

О Лукоморская земля!
Кто не ходил сюда в походы!
Здесь жили мирные народы,
И, их сокровища деля,
Здесь спорили князья с князьями.
И поднимали род на род,
Народ водили на народ...
Но вышло все наоборот,
Народы сделались друзьями!

По отношению к Хлебникову Мартынов не подражатель, а преемник; и это хорошая традиция. К большим ценностям приобщает такое восприятие «травы» и ее прошлого; многие очень существенные выводы следуют из того, что каждая местность имеет свою собственную ощущаемую историю; например, такой вывод:

Не слушай унылых душ,
Что вечно толнятся грустью;
Здесь, — говорят, — глушь,
Там, — говорят, — захолустье!
Каждый вершок земли, —
Видишь: там и тут, —
Место, где прошли
Или еще пройдут
Сотни, тысячи ног.
Верь мне, Я не лгу!
Есть перекрестья дорог
Всюду, на каждом шагу.

Нельзя уничтожить работу монумента поколений, нельзя стереть следы. В этом сознании преемственности своего единства с прошлыми поколениями шутят, начиная с тех, первыми добывали огонь и делали кремневые наконечники для стрел, уверенность, спла.

Травой тропа заастет,
Снегом ее заметет,
Зальет ее вода,
Но не навсегда!
Там, где ступила твоя нога,
Где побывал ты хотя бы раз,

В сад превратится там тайга,
Ворь, придет час!

Там, где коснулась твоя рука —
Рука большевика,
Вырастет кровля, горда, высока!
Вырастет дом на века!

Из-под льда, из-под воды
Выступят вновь весной
Воли твоей следы!
Знай — воздвигтай, строй!

С таким опущением истории и
гигиографии, с таким пониманием их
Мартынов обращается к теме своего
сочинника — военной теме, к теме за-
щиты страны, защиты культуры.
Что такое понимание оказывается
органичным и плодотворным, можно
судить уже по тем стихотворениям,
выдержки из которых мы сейчас
приводили; это не какая-то «фило-
софия вообще», эти стихи не вне про-
странства и времени написаны. В
них именно о нашем времени говорится.
И от стихотворения о путях
и дорогах, от той веры, которая там
утверждалась, естественный переход
к другому стихотворению:

Мы придем!
Мы дойдем до Карпата,
Н потому что остался там брат.
Брат зовет: «Возвращайтесь назад,
мы вас ждем!»
Мы придем!

Любовь к стране не есть любовь к
кому-то отвлеченному, она необходимо
включает в себя также любовь к «краю», к городам и дерев-
ням, к той истории и природе, с ко-
торыми сродился, без которых не
может жить; а настоящая любовь к
«краю» не может замкнуться в пре-
делах одного этого края; она не-
обходимо распространяется на всю
страну.

Ущденные от «края», как сквозь
прозрачный хрусталь, воспринятые с
этим «историческим чувством мест-
ности», события не суживаются, не
бездноят; наоборот, такое восприятие
войной обнаруживает в них какую-
нибудь яркую и новую черту.

Под Тулой встречаются два стрел-
ка: один уралец, другой с Ямала.

Раз комиссар зачем-то
Зовет к себе стрелка.

Поговорили...

«Ладно, или себе пока!»
Уйти хотел ямалец,
А комиссар: «Постой!
Скажи, тебе известен
Писатель Лев Толстой?» —
«Да. Знаю про Толстого», —
Стрелок ему в ответ,
«А голову оленю
Ты видел?» — «Как же нет!
Олений в тундре много,
Их видел что ни день!»
Но комиссар промолвил:
«Олень-то, друг, олень,
Но ты стреляешь метче,
Чем кто-нибудь другой.
Так приготовься к встрече
С «Оленьей головой».

«Оленья голова» — так называлась
фашистская дивизия, ворвавшаяся в
Ясную Поляну. Стрелкам «обидно за
оленя».

Сказал стрелок с Урала:
«Эй, спрячь рога в карман!
Ты на олена мало
Походишь, шарлатан!»
Сказал ямалец:

«Дерзкий
И гиусный тут обман!
А этот немец мерзкий
Ни дать, ни взять — шаман!
Космато и рогато
Чудовище — дикарь.
Шаманы-то когда-то,
У нас такие встарь.
Перевелись уж ныне —
Ведь время-то течет! —
Но, видимо, в Берлине
Им ласка и почет!»
Берлинские шаманы!
Стрелок был трижды прав,
Под обликом фашистским
Шамана угадав.

Для ямальца и олень и шаман —
конкретности; и образ шамана-фаши-
ста становится точным и вырази-
тельным.

Идут бои под Клином, бои под
Калинином. Наши бойцы гонят вра-
га из леса. В лесу шум ручья.

Глубок покой чуть видных троп,
На месте древний сруб...

Это — просто. Но пробивающийся из земли сквозь глубокие толщи родники всегда вызывает у нас какое-то особое чувство.

Трудно сказать, в чем тут дело. Может быть, потому, что таинственными кажутся эти недра, что это живая вода, начало, «источник жизни», что роднящиеся с природой люди думают о себе над этой говорящей жизнью, вышедшей из темноты, пробившей преграды, бегущей навстречу другим потокам, из малого рапущей в большое, — не знаю. А здесь не обычный ручей, проникший с боями к этому роднику человек встречается с одним из тех открытий, которые придают «месту» неожиданную значительность:

...Течет из-под пола ручей,
Что Волгу породил.
Вот здесь!
Склонившись к роднику,
Что в срубе из тесин,
Приветствуя Волгу мать-реку,
Боец, как добрый сын!

Историческая память, не как отвлеченность, а как дыхание эпохи, как образ, увязывающий множество смежных воспоминаний (тут и о Кизах, тоже воспомнишь, и о многих других сказаниях), смыкается с современностью:

Сегодня вся Русь за твою спиной,
А ты впереди над неизмой стеной.
Ты понял! Ты здесь оказался не зря!
Над древней стеною багряна заря.
Стена нерушима вовеки веков!
И в грохоте танков и в звоне подков
Увидел ты Русь в ее вечной красе,
Увидел судьбу на Можайском шоссе.

Гербы «малых» городов; геральдика, притупленные, разноцветные знаки (опять-таки — не абстракция, а конкретный, насыщенный, органический образ), за которыми живая история.

Храним наследье минувших столетий.
Ничто да не исчезнет без следов!
Я наблюдал:

Рассматривают дети
Гербы старинных русских
городов...

Вот герб Боровска с «сердцем лавровом венце», другой герб Козельска:

Кресты, щиты... Кресты и вновь щиты.
И черные они и золотые,
Червленные на черни там и тут.
Написано:
«Во времена Батыя
Козельского посада добрый лод
Решил с ордою беспощадно битье
Хоть че вел их в битву юный
князь.
Рекли козельцы: «Чем в плену
томиться,
Пойдем умрем, с ордою поборясь!»
...истории забытая страница,
Молчит дитя, над книгою
склоняясь...

Совсем другой своей стороной историческая география и ее символы обращаются к гитлеровцам. Для гитлеровцев все это лишь напоминание о тех, кого они пытались обезличить, поработить, стереть с лица земли; это — образ вождия.

Зима, ночь, ель на холме, пожаренная войной. Два ландскнехта разговаривают друг с другом:

— Как ясно звезды русские горят! —
Вскричал другой. — Они, как виноград,
Ты посмотри: все небо в жемчугах!
Вот Новый год! Встречай его в снегах,

Рождественской шестрой
шнуром
Опутана едва ли эта ель.
Уверен, золотая канитель
Там не висит...
Ты не заметил главного: флагков!
Прислушайся. Ты слышишь шелест?
Да!

Начинается бред, они замерзают.
Одному мерещится пять флагов: немецкий, итальянский, венгерский, финский, румынский.
Другой видит больше: флаг СССР, флаг Англии, сорок две звезды флага США, цвета Чехословакии, Польши, Греции — они не умерли.

Но говорю тебе я: двадцать шесть
Знакомых и неведомых земель!
Она страшна, рождественская ель.
Она в огне!

Рядом с сильными стихотворениями — несколько слабых.

Не разлучила их война...
Верна любовь бойца.

На фронте он, в тылу она,
Но вместе их сердца!

Эти стихи не живут, такая стихотворная пропись не дойдет до сердец, которые здесь упоминаются.

Совсем неудачно и стихотворение Зевакина:

Но, немец, спросят сын тебя и
дочь,
Узрев портрет Шинкльгрубера в
музее:
— Ведь он же был животное
точь-в-точь.

Как вы могли в делах ему помочь?

Чего же вы зевали, ротозеи?

Если бы Германию населяли «ротозеи», если бы дело сводилось к тому, что они «прозевали» Гитлера, все было бы несравненно проще.

Как видим, не всегда Мартынов требователен к себе. Порой даже в хороших стихотворениях есть примесь риторики.

Хорошее все же перевешивает настолько, что мартыновский сборник можно причислить к лучшим стихотворным сборникам, выпущенным за время войны. Жаль, что областные издания оседают обычно в областном центре, а для других городов и областей превращаются в библиографическую редкость. Талантливая и умная книга Мартынова заслуживает более счастливой участи.

Н. Мацуев

ЛИТЕРАТУРА О ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

Тема защиты отечества посвящена целая серия библиографических указателей, издаваемых Всесоюзной книжной палатой.

В этих указателях не только зарегистрирована литература о великой отечественной войне, но и даются сведения о ранее вышедших книгах и статьях, относящихся к истории борьбы нашего народа с иноземными врагами.

Первый справочник, появившийся еще в начале войны, носит название *Массовая оборонная литература*. Он содержит краткий список книг и статей, вышедших в основном в последние годы, и охватывает целый ряд самых основных вопросов, связанных с защитой отечества (Учение Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина о войне и армии. Красная Армия и ее боевой путь. Воснное прошлое русского народа. Советский патриотизм. Великая отечественная война). Предназначенный для массового читателя, этот справочник наряду с указанием популярных работ дает и списки произведений художественной литературы.

Прямым дополнением к этой книге является *Указатель антифашистской литературы*. Отделы указателя (Фашизм, его возникновение и характеристика. Фашизм — это война. Оккупированные страны под пятой фашизма. Борьба народных масс против фашизма и др.) показывают, что справочник всесторонне освещает вопросы сущности фашизма и борьбы с ним.

Вышедшие вслед за тем библиографические указатели как бы развязывают отделы первых двух справочников, дополняя их вновь появившимся литературным материалом.

Свод высказываний Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина о войне содержит указатель *Марксизм — ленинизм о войнах и защите социалистического отечества*. «Назначение его, — говорится в предисловии, — дать пропагандисту, агитатору, активисту необходимый минимум литературы, опираясь на который он смог бы уяснить себе руководящие идеи марксистско-ленинского учения о войне». В справочнике приведена и

литература о войнах в странах Западной Европы, и об освободительных войнах русского народа.

Великим полководцам-патриотам — Александру Невскому, Димитрию Донскому, Кузьме Минину, Дмитрию Пожарскому, Александру Суворову и Михаилу Кутузову — посвящена книга: «Наши великие предки». Материал указателя разбит на отделы по именам полководцев, отмеченных в исторической речи товарища Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 года, и содержит списки как научно-исследовательских работ, так и популярной и художественной литературы, относящейся к их жизни и деятельности.

Несколько особняком стоит указатель «Войны русского народа 1558—1878 гг.», в котором подобрана литература (воспоминания, дневники, письма), вышедшая до 1917 года. Не имея непосредственной, органической связи с современным моментом (в нем не нашла отражения историческая и военная литература даже таких изданий, как «Военно-исторический журнал», «Красный архив» и др.), этот справочник тем не менее является ценным пособием при изучении войн русского народа, поскольку в нем заключен большой и передко мало известный исторический материал. Так, например, вместе с более новой литературой справочника «Отечественная война 1812 г.», имеющего разделы: Классики марксизма-ленинизма об отечественной войне 1812 года. Мемуарная литература. Монографии и научно-исследовательская литература. Массовая литература. Художественная литература, — читатель располагает, если и не исчерпывающей, то во всяком случае предоставленной с достаточной полнотой библиографией о 1812 году.

Специально борьбе против немецких захватчиков посвящен указатель «Когда и как русский народ был немецкими захватчиками (1242—1918)». Справочник дает небольшой литературный материал по истории борьбы русского народа с немцами почти за семьсот лет, уделяя главное внимание Ливонской

войне (1558—1583), Семилетней войне и первой мировой войне (1914—1918). Большое место в справочнике занимает раздел о борьбе народа против немецких оккупантов в 1917—1918 гг. (защита Петрограда в 1918 г., разгром немцев на Украине и т. д.). Приводится и литература о народных героях: Щорсе, Пахоменко, Котовском. Материалы этого раздела вышли и в отдельном издании под названием «Борьба советского народа против немецких оккупантов 1917—1918 годах».

Задачей самого большого из авторов — «Великая отечественная война советского народа» — является регистрация книг, статей, постановлений, указов и других материалов, имеющих connection к настоящей войне и опубликованных в печати за период с 23 июня 1941 г. по 1 июля 1942 г. Материал справочника разбит на несколько основных отделов, с общим количеством мелких подразделений. В тех случаях, когда название книги или статьи не дает представления о ее содержании, снабжены краткими пояснениями отчасти заменяющими аннотации. Все это облегчает ориентировку большом материале справочника.

В заключение следует сделать несколько общих замечаний, относящихся ко всем упоминаемым здесь указателям. Основная особенность и ценность этих справочников в актуальности тематики и наличии самого разнообразного по характеру и степени доступности заключенного в них материала. Это делает интересными, полезными и даже необходимыми для читателей разной квалификации. Правда, в книге рецензируемой серии можно найти ряд недочетов. Например: только один из справочников имеет указатель имен авторов. Справочники успехом выполняют поставленную Книжной палатой задачу: помочь читателю ориентироваться в военной истории нашего народа и в наиболее актуальных вопросах, связанных с героической борьбой советского народа за свое социалистическое отечество.

26000-5p.